

КОНТИНЕНТ 52

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ



Андрей Дмитриевич Сахаров
Москва, декабрь 1986

Главный редактор: Владимир Максимов
Зам. главного редактора: Наталья Горбаневская
Ответственный секретарь: Виолетта Иверни
Заведующий редакцией: Александр Ниссен

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов · Ценко Барев · Ален Безансон
Николас Бетелл · Энцо Беттица · Иосиф Бродский
Владимир Буковский · Армандо Вальядарес
Ежи Гедройц · Александр Гинзбург
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Пауль Гома · Милован Джилас · Пьер Дэк
Ирина Иловайская-Альберти · Эжен Ионеско
Оливье Клеман · Роберт Конквест
Наум Коржавин · Эдуард Кузнецов
Николаус Лобковиц · Эрнст Неизвестный
Амос Oz · Ярослав Пеленский · Норман Подгорец
Андрей Сахаров · Андрей Седых · Виктор Спарре
Странник · Сидней Хук · Юзеф Чапский
Карл-Густав Штрём

Корреспонденты «Континента»

- Израиль Авраам Бен-Яков
 Avraham Ben-Yakov
 6, Hagana str.
 Jerusalem 97852, Israel
- Италия Сергей Рапетти
 Sergio Rapetti, via Beruto 1/B
 20131 Milano, Italia
- США Эдуард Лозанский
 Edward D. Lozansky
 508 23rd Street N. W.
 Washington, DC 20037, USA
- Япония Госуке Утимура
 Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7
 189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Название журнала «КОНТИНЕНТ» – © В. Е. Максимова



КОНТИНЕНТ

**Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал**

52

**Издательство «Континент»
1987**

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХИ ИЗ РОССИИ:

Алексей Г р и д н е в – «Сквозь щелки воспаленных век...». Вступительная заметка <i>Иосифа Косинского</i>	8
Сергей Р а е в с к и й – Батумские капрично	24
Зоя М а р т о в а – «Пусть говорят мне: пусты небеса...»	33
Константин Б о г о л ю б с к и й – Стихотворения 1985 – 1986 гг.	42
Александр А л о в – «Когда расплывшиеся строчки...»	48

Юз А л е ш к о в с к и й – Из новой книги «Похмельные повести». Маленькая повесть об одном безумце и сломанной собаке	57
Дмитрий Б о б ы ш е в – Жизнь Урбанская. Стихи	96
Исаак Ш а п и р о – Васылева гора. Рассказ	103
Бахыт К е н ж е е в – «Один не услышит, другой не поймет...». Стихи	112
Феликс К а н д е л ь – Слеза в дыму. Притча с извлечениями из хроник. Окончание	124

СТИХИ

Апри В о л о х о н с к и й, Савелий С е н д е р о в и ч, Юрий К о л к е р, Александр К о л ч а к	173

РОССИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

В. Н. С о й ф е р – Чернобыльская катастрофа, загрязнение окружающей среды и наследственность человека	191

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

Милован Д ж и л а с – Вечность и временность свободы	221

ЗАПАД – ВОСТОК

Дора Ш т у р м а н – О солидарности и противоречиях	235

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

В. П. (Москва) – Новый самиздат. Вступительная заметка <i>Н. Горбаневской</i>	253

ЭКОНОМИКА

- Анатолий Федосеев** – Социальное равновесие.
(Теория современного общества) 265

ИСТОКИ

- Рута У.** – Боже, как еще хотелось жить. Перевод
с латышского **Элхонона Иоффе**. Предисловие
Евгения Селги 283

ИСКУССТВО

- Соломон Волков** – Юрий Любимов в Вашингтоне 309
Николь Ламонт – Владимир Овчинников 326

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

- Амос Оз** – Есть ли общий знаменатель в ивритской
литературе 331

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 345

НАША ПОЧТА 351

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

- М. Михайлова** – Вперед, войне навстречу... 363
Кира Сапгир – «Тричетвертная луна в мандроле» 368
Юрий Тувим – Торжество банальности 372
Галина Келлерман – Палачи ведают, что
творяют... 375
А. Краснов – Реабилитация нашего современника 381
Димитар Бочев – Психология зла 388
Михаил Лемхин – Инопланетянин Лимонов 393
К. Померанцев – «Иди на Голгофу» 397
Максим Кротов – Что такое шпалера? 401
Майя Муравник – Не рано ли петь отходную... 405

КОРОТКО О КНИГАХ 411

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ 417

НАША АНКЕТА

- Интервью с академиком **Андреем Дмитриевичем**
Сахаровым (с участием Елены Боннер).
Ведет лорд **Николас Бетелл** 425

Стихи из России

Странный заголовок – словно и без того чуть не в каждом номере «Континента» не найдешь стихов с пометой «Рукопись получена из России». (А сказать правду, так в архиве редакции этих рукописей еще больше: к публикации авторов «оттуда» мы применяем те же критерии, что и к стихам поэтов-эмигрантов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, например, печатающиеся в этом же номере Дмитрий Бобышев и Бахыт Кенжеев выступили в «Континенте», еще живя в России, и остаются нашими постоянными авторами, оказавшись в эмиграции.)

Однако сейчас – по случайному ли совпадению обстоятельств или по какому-то особо благоприятному для поэзии расположению звезд – мы получили, одну за другой, подборки нескольких, несомненно одаренных, разных, обладающих каждый своим голосом поэтов. Самый старший из них, Алексей Гриднев, успел отсидеть в сталинских лагерях, самый младший, 23-летний Константин Боголюбский (псевдоним), служит после института в армии. Остальные относятся к поколению, которое и должно бы определять лицо сегодняшней русской поэзии, но о котором по советским публикациям впечатления составить нельзя. Зосе Мартовой, научному работнику из Подмосковья, – 35 лет; Сергею Раевскому (псевдоним) – 31 год; Александру Алову (псевдоним) – 27 лет. Только в рамках советской литературной жизни поэты в возрасте старше погибшего Лермонтова еще полтора-два десятка лет ходят в «молодых», «начинающих», «подающих надежды». А те, кто отказывается носить свои стихи по редакциям и, в лучшем случае, попадать в эту сомнительную категорию, обречены на узкий круг друзей и знакомых, на их и свои оценки, на замедленное или подчас искаженное развитие.

Предоставляя свои страницы пяти поэтам из России, мы делаем это в равной степени для наших читателей и для самих поэтов: возможно, эта публикация станет для них важной вехой на творческом пути, позволит лучше увидеть себя и свои возможности, как нашедшие воплощение, так и еще не осуществленные.

«Континент»

«СКВОЗЬ ЩЕЛКИ ВОСПАЛЕННЫХ ВЕК...»

Вступительная заметка Иосифа Косинского

Тридцать пять лет назад, в 1952-м, в глухом вологодском лагере судьба свела меня сразу с несколькими молодыми людьми моего возраста (а мне было тогда 23 года), пишущими стихи. Не знаю, многие ли из них продолжали это занятие, выйдя из лагеря, «остепенившись», вписавшись в «советский образ жизни», обзаведясь семьями.

Георгий Орлов? Едва ли. Его лагерные стихи не поднимались выше уровня наивных, ординарных и, по сути, безадресных сетований на судьбу:

У вас – семья, свой теплый угол,
Уютный маленький мирок.
А я, как прежде, одинок,
Недоотёсан, недоструган.

Виктор Петухов? Тоже едва ли... Вот разве что очень одаренный юный литовец Антанас Цыбульскис, попавший в тюрьму прямо со школьной скамьи, – но, собственно, о его стихах я мог судить главным образом по прозаическим переводам, которые звучали по-русски часто излишне выпячено.

Во всяком случае, в печати эти имена мне никогда не встречались. Не довелось нам больше и увидеться. Но Алексей Гриднев, мой ровесник и товарищ по вологодским, а в дальнейшем – башкирским лагерям, разыскал меня после освобождения, знакомил со своими новыми стихами, и наши встречи прервались только в 1981 году – я уехал за границу, он остался.

В полученном мной из Ленинграда письме он сетует: как ему не повезло – до него дошел солженицынский «Пир победителей», так вот, там выведен особист по фамилии Гриднев; значит, теперь его фамилия, начини он печататься, всегда будет напоминать читателям об этой одиозной личности? Он никогда ничего не публиковал в Советском Союзе – так, может быть, обращаясь со своими стихами в «Континент», ему лучше взять псевдоним?

Я ему отсоветовал. Фамилия у него не такая уж редкая, о чем, кстати, свидетельствует и случайное совпадение с фамилией солженицынского персонажа; и вообще – пусть стихи его сами говорят за себя. Никто из читателей, полагаю, не усомнится, что они принадлежат не служителю советского режима, а его противнику и жертве.

Наш лагерный кружок нередко упрекал Алексея в «недосказанности», недостаточной конкретности его стихов. Помню, доставалось, в частности, такому стихотворению:

Стынет охваченный ветром сад,
снег с ветвей осыпается черных...
Бледная женщина у крыльца.
Мимо опять ведут заключенных.

Не отворачивайся, гляди,
медленно вдаль провожай глазами:
может быть, сын твой идет впереди,
в сумерки утра уходит с нами.

– Что же, он один из нас, и это – стихотворение о несчастной матери лагерника? – спрашивали слушатели. – Или о матери охранника, вертухая? Невозможно понять...

– А какая разница? – отвечал вопросом на вопрос Алексей, и все мы вскипали негодованием: «Ну, знаешь

ли!...» Но теперь, спустя много лет, я думаю, что прав был в этом споре Алексей: горе народу, из которого одинаково легко набрать и сколько угодно заключенных, и сколько угодно охранников, надзирателей, сексов! Тяжко быть матерью узника, но не позавидуешь и доле матерей и жен этих псов режима.

Эта как бы недосказанность, непрямолинейность отличает и более поздние стихи Алексея Гриднева. Например, он пишет о том, как одинок в старости обласканный Крёмлем лауреат и классик, таджикский писатель Садриддин Айни. Нет в стихотворении ни слова впрямую о том, что Айни в критические дни трусливо отвернулся от своих молодых, бесспорно одаренных учеников, за которыми захлопнулись тюремные двери. Самыми многообещающими были юные самаркандцы – братья Абдулло(евы), Ганй и Рашид. Один из них много лет спустя вернулся из северных лагерей; другой в знак протеста против беспричинного ареста и истязаний на допросах начал бессрочную голодовку – и погиб в тюремной камере. Вот Айни и расплачивается за свое равнодушие к их судьбе, за совершенное когда-то предательство полным одиночеством в старости, когда другие окружены учениками и продолжателями дела своего «устода» (мастера)...

Да, но если посмотреть поглубже – Айни ли тут вина? Скорее – беда в бесчеловечном строе, а трусость одних, бессилие других, подлость и предательство третьих – это все вторично, это всё производные сталинского режима.

Впрочем, в некоторых своих вещах Гриднев далеко не столь деликатен. Так, когда появилось слащавое и фальшивое стихотворение Матусовского «С чего начинается родина», положенное затем на музыку и ставшее популярной в СССР песней, – он дал свою интерпретацию, свой ответ, предельно четкий и, думается, пророческий:

С чего начинается родина?
С решетки в тюремном окне?
С танкетки, грохочущей улицей,
В едва не фанерной броне?

А может, она начинается
С июньского долгого дня,
Когда нас подмяла нерусская,
Чужая и злая броня?

С тех пор она всё поднимается,
Да только – какую ценой?
Войною она начинается,
И кончится тоже войной.

Не могу точно припомнить, к каким годам какие
стихотворения Гриднева должны быть отнесены. К
сожалению, они пришли ко мне в Нью-Йорк без дат.
Единственное, что я смог, – это расположить их в при-
близительно хронологическом порядке.

* *
*

Розовый свет заката
Лег на седой гранит.
Здесь ведь я жил когда-то –
Память мне говорит.

Город холодных красок,
Город бледных цветов,
Город зловещих масок,
Город голодных ртов...

Всё-то мы прошлым бредим!
Как судьба ни крута,

Я завещаю детям,
Чтоб вернулись сюда –

Плача, от солнца жмурясь,
Снова вдохнуть могли б
Воздух знакомых улиц,
Запах всё тех же лип.

Дети дожить не чают?
Выход есть, не беда:
Внукам пусть завещают,
Чтоб вернулись туда, –

Так же, как мы, волнуясь,
Тоже вдохнуть могли б
Воздух приневских улиц,
Запах российских лип,

Как на другой планете,
В смертный увидеть миг
Там, на седом граните,
Солнца розовый блик.

HEREIN!*

Где-то в дальнем-предальнем души уголке
эти окна, Причастные Тайн,
эта дверь, и горящая свечка в руке,
и ласкающий голос: herein!

Неизвестно мне: замок? собор? монастырь?
Но я знаю, что в жизни земной
не однажды входил в эту низкую дверь
и она затворялась за мной.

* Входи! (нем.)

В позапрошлой ли жизни? Иль в прошлой? Как знать!
Само Время скрывает ответ,
само Время безжалостно ставит печать
и стирает из памяти след.

Город сумрачный предан огню и мечу,
кровь на камне свежа, как герань, –
но приду, и в знакомую дверь постучу,
и с тревогой услышу: herein!

Не пытаются пароля, не знают имен –
каждый раз просто ждут вдалеке,
той же милой ладонью огонь заслонен,
та же теплится свечка в руке...

И не раз, и не два, и не три – без конца
предстает перед каждым в свой срок
эта низкая дверь – чтоб смирить гордеца,
чтоб коленями стал на порог.

Но, уже наклонясь, уже падая ниц,
оглянусь – чтоб запомнились мне
эти крыши крутые в крови черепиц,
виноградник в осеннем огне!

* *
*

Держава брам, держава крат,
держава лагерей!..
На койке месяца квадрат
всё ярче, всё острей,

ну что же, если мир таков
и ветер, точно плетъ

над синим лезвием снегов, —
к чему о нем жалеть?

Но ловит, ловит человек
глазами свет окна.
Сквозь щелки воспаленных век
решетка не видна,

ему сдается, что за ней
не вышки вовсе, нет, —
пирамидальных тополей
знакомый силуэт,

течет небесная река
вперед... вперед... вперед...
там всё... не так... там жизнь... легка,
там всё наоборот,

там точно сахар облака
и ветер словно мед.

Ни этих крат*, ни этих брам*,
Господень лик в углу,
и время ласковое там
стекает по стеклу.

А тут — несется время вскачь,
подстегнуто луной,
встает у двери, как палач,
и пляшет за спиной.

Уже почти не видит он,
что снег запорошил
село, в котором был рожден,
страну, в которой жил, —

* Брама — ворота. Крата — решетка (укр.)

там для него шумят сады,
синицы гнезда вьют,
там клены в бурю до звезды
ветвями достают,

и в туч разрывах всё ясней
манящая звезда –
идет он к ней, спешит за ней –
неведомо куда,

ее он продолжает звать,
он мечется в бреду.
«Украина-мать! Украина-мать!
Иду к тебе! Иду!»

Идет. Кругом него звенят
весенние ручьи,
хоть этот дом и этот сад –
не наши и ничьи.

Идет. В снегах невидим след.
Стих ветер. Месяц желт.
Глаза небесный ловят свет.
Он дома. Он пришел.

* *
*
*

Я должник, не платящий по счету.
Мне его еще не принесли:
всё несут – с островов Соловецких,
с невеселого края земли,

всё несут – из отцовского дома,
из далеких глядящего лет...

С каждым годом длиннее дорога,
да и дома того уже нет.

Я-то знаю, где счет этот давний:
люди – помню я их имена –
повелели построить то здание,
где прикажут хранить его вечно.
Вот он там и хранится, конечно,
и оплачен он будет сполна!

* *
*

Мы все по-своему евреи –
все виноваты без вины:
мы на одних кострах горели,
одной бедой породнены –

судьба внезапным поворотом
нас уравнила навсегда:
над гитлеровским эшафотом,
над сталинским эшафотом –
шестиконечная звезда!

* *
*

Солдатская шинель, тюрьма, больница –
судьба девятих из десяти!
Пора понять, привыкнуть, примириться –
извечные российские пути!

Но нет, не объяснить, как ни стараться,
зачем всё вновь их повторяем мы,

в дни мятежей, в дни войн и эмиграций
судьбу лихую избираем мы...

Быть может, страх – всего лишь непривычка?
А нам привычны посох и сума,
скит, петля, монастырь, психиатричка,
солдатчина, и ссылка, и тюрьма.

* *
 *

Ты войдешь и скажешь,
пыль несчетных дорог
отряхая беспечно с сапог:
ты видел прекрасные города –
Норильск... Воркута... Караганда...

Но я не поверю тебе никогда,
мне не забыть до седин –
Норильск, Тайшет, Магадан, Воркута –
огромный концлагерь один.

м ы эти строили города,
твоими дорогами шли,
и наши ноги уже навсегда
в дорожной этой пыли.

ШУТКА

Изобилье – от дьявола, скудость – от Бога.
Нынче листьев кленовых подозрительно много –
на песке и асфальте, траве и брусчатке...
Не иначе, как дьявольских лап отпечатки!

И ученый, взглядевшись, сказал: «Любопытно!
Кто, наивный, придумал, что у чёрта – копыта?!

На основе следов, что везде натоптал он,
я могу констатировать, что пятипал он!»

* *
 *

Меня ведут по каменным ступеням.
Чуть брезжит день. Торопится конвой.
На волю, к свету, к облакам весенним
иду я с непокрытой головой.

Между железной дверью и машиной
всего полшага – на секунды счет.
Но за секунду запах тополиный
мне с набережной ветер донесет,

и май листочком жалким и бесценным
среди камней, возле глухой стены
холодным утром, во дворе тюремном
мне скажет о могуществе весны.

* *
 *

Берег отлогий в ромашковом сне. Вереск и зной.
И, удаляясь, уже в стороне движется бой.

Пушка молчит. Остывает металл. Речка течет.
Руки средь белых цветов разметал мертвый расчет

Пусть им приснится за Летой-рекой берег земной –
Те же ромашки и тоже такой дымчатый зной,

Только не надо, чтоб танки и там пёрли на них,
Тысячью жерл извергая металл на четверых,

Чтобы там ветер над полем бродил, горек и прян.
Чтобы там пальцем по карте водил Гудериан.

Пусть отдохнут. Заслужили они этот покой –
Чуть не полвека не будет войны тут, над рекой!

* * *

Дорога опять из металла
и ветер над ней без конца,
но полночь нам губы сковала
и сжала тревогой сердца,

и только в немолкнущем звоне
дороги, промерзшей до дна,
сквозит нетерпенье погони, –
а так бы была тишина.

Не бойся! – леса не чужие,
не бойся! – луна не продаст,
и как бы они ни спешили –
дорога, дорога за нас!

* * *

Наяву и во сне – всё мне слышится шорох скользящий,
точно в мокрых плащах вдоль границы крадется патруль:
продолжается дождь, третьи сутки подряд моросящий –
затяжными дождями кончается нынче июль.

Мне такая погода не кажется вовсе хорошей.
Я бы солнце, и зной, и янтарную сушь предпочел,

и неспешный полет отягченных медвяною ношей,
набродившихся вволю над розовым вереском пчел.

Я всё так же никто. Без профессии. Просто мечтатель.
Приближается день. На заре оживляется клев,
травы пахнут дождями, и в памяти вовсе некстати
воскресает прочитанный в детстве еще Гумилев –

муза странствий в окне ожидает рассвета бесстрастно,
парус ветром наполнился, руки ложатся на руль...
Приближается день, и в груди просыпается астма –
затяжными дождями кончается нынче июль.

Это не для меня – руль послушный и рвущийся парус,
я хриплю о свободе, не зная, к чему мне она:
там останутся те же тоска, и болезнь, и усталость,
будут вечно со мною концлагерь, блокада, война.

РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ

Никого-то не знаем из них, но молва
всех расставила четко и смело:
по одной стороне –
Анна Вырубова.
Душа черная. Белое тело.

.....

По другой стороне – всё святых имена,
ни в какой там синодик не глядя:
Оболенская Вера...
Мать Мария,
в миру Кузьмина...

.....

Аллилуева Надя.

САДРИДДИН АЙНИ

На базаре, над горсткой инжира,
Пальцы стяннутся сами в щепоть –
Вот и всё, что приемлет от мира
Стариковская ветхая плоть.

Он проносит согбенные плечи
В расступившейся разом толпе –
Ее больше порадовать нечем,
Он сказал уже всё о себе.

Те, что живы, – услышать успели,
Что он выбыл давно из игры.
Ему кажется мягче постели
Золотая земля Бухары.

Сухо палка стучит из самшита.
Сам судья себе; сам адвокат...
Так же звездами небо расшито,
Так же радостен стрекот цикад,

Как в ту ночь, когда стала машина
В переулке у дома Айни, –
В ночь, когда забирали Рашида,
В ночь, когда уводили Ганй.

Дни мелькают, проносятся годы,
И на палке с утра сплетены
Прежде цепкие пальцы устода,
Вечно руки его холодны...

Пиалу бы горячего чая,
Чтоб рука ощутила тепло, –
Обернется – но нет за плечами
Молодого Ганй Абдулло,

Неустанно жужжащий, как трутень,
В европейской своей суетне
Этот новый проспект неуютен –
И откуда здесь быть чайхане?

Звезды яркие, и вечер хороший,
И старик никуда не спешит.
Погоди-ка, помедли, прохожий!
Ему кажется – это Рашид.

Не луна – электричество светит,
Ярче яркого эти огни,
Но кого он у дома ни встретит,
Всё сдается – вернулся Ганй.

* *
*

Отпусти меня, батюшка-царь! Отпусти – принимаю я
схиму.
Со смиренной молитвой, как встарь, я московскую
землю покину.
Нашептали тебе брадобрей и твой лекарь,
бессовестный фрязин,
Что я грамотен, точно еврей, и поэтому, дескать,
опасен,
Что монахи по монастырям, что слепцы по проезжим
дорогам
Оттого и опасны царям, что бесстрашны и знают о
многом.

Но что знаю я, сам посуди? И какой из меня царедворец?
Оглянись – моя жизнь позади: страстотерпец я, не
страстоборец.
Я в глуши, за лесами, в скиту, отрешаясь от мира, отрину
И большую твою правоту, и твою непомерную кривду.

Тебе шепчут: не прост я, не прям... Но не верь –
не просты они сами...
А монахи по монастырям уже всё про тебя написали.
Среди тысяч познавший тюрьму, среди многих
познавший опалу,
Что бы я ни прибавил к тому – это всё до ничтожного
мало!

Мне природа когтей не дала и клыками не выгнула
зубы,
Нет на мне плавника и крыла, не ношу нестареющей
шубы.
Не могу ни взлететь, ни нырнуть – в небо, в облако,
в чащу лесную, –
Краток мой человеческий путь – рядом царь, и палач
одесную...

Отпусти меня, батюшка-царь! Пока живы мы – что там
за счеты!
Лихо свищет по травам косарь, тяжким медом
наполнены соты,
Тускло светит зерно в закромах, ты сияешь вверху,
ровно месяц, –
Чем тебе негоден монах? Чем опасен тебе летописец?
Не монахом предстану я т а м, не царем подойдешь ты
к престолу:
Будет плач пробегать по устам, будут очи опущены
долу,
Не проронит ни слова судья – как и в жизни земной,
нелюдимый.
Отпускаешь меня? – это я! Отпускаешь меня,
подсудимый?

БАТУМСКИЕ КАПРИЧЧО

И. К. всем пловцам

Чудесные пловцы! Что за повествованья
Встают из ваших глаз – бездоннее морей!
Явите нам, раскрыв ларцы воспоминаний,
Сокровища, каких не видывал Нерей.

Умчите нас вперед – без паруса и пара!
Явите нам (на льне натянутых холстин
Так некогда рука очам являла чару) –
Видения свои, обрамленные в синь.

Ш. Бодлер. Плаванье

1. ностальгическое

субтропики в феврале удивляют не меньше,
чем чай с молоком и гренки в КПЗ.
темно-зеленые магнолии, кипарисы
и прочие излишества южной флоры
видны из окна гостиницы, наполовину
закрытого шторой. павлин с обтрепанным
хвостом орет по утрам. звук его голоса
похож на клаксон старого автомобиля,
какой теперь увидишь
разве что в немом фильме. завтрак в одиночестве
на пустом пляже. прогулка по набережной.
выхожу на центральную улицу Сталина.
особняки некогда живших здесь магнатов,
держателей акций, негоциантов,
их жен, любовниц, дочерей и гувернанток.
предприимчивые и деловитые мужчины,
они умели ценить неспешную грациозность

своих женщин. к этому располагал климат.
чувствительная, цвета слоновой кости
кожа южных дам своей матовой белизной
оттеняла, как нельзя лучше, игру бриллиантов
и мягкий блеск жемчуга; она была
мягче, чем бархат футляров, в которых
хранились одеваемые вечером драгоценности.
игра в карты, рулетку,
казино, шансонетки.
биллиард в клубе, дым сигар.
марочные вина.
перстень на указательном пальце.
армяне, греки, евреи – коммерсанты.
нефть, хлопок, колониальные товары.
прелести Альфонсины, парижанки.
турок с маслянистыми кофейными глазами.
зрачки грузинки, распахнутые внутрь,
как балконная дверь в жаркое безмолвие спальни.
южная ночь, лебедь, либидо, запах магнолий.
портовый город и развлечения буржуазии
благодатная тема для воображения.

2. променад по улице Сталина

галифе Иосифа Виссарионовича. танго.
усы, на которые можно облокотиться,
как на плечи друга.
бананы на приморском бульваре.
физкультурница с мячом. жизнеутверждающая
парковая скульптура. атлеты с гантелями.
в виде бюста обозревает аллею основоположник
пролетарской литературы М. Горький.
выкрашенный в салатный цвет,
он неподвижно, как жена Лота, стоит
почти в каждом парке культуры и отдыха.
иногда его замещает Пушкин.

здесь влюбленные назначают свидания.
он трепетно ее ждет.
куда они пойдут культурно отдыхать?
кататься на лодке? в планетарий? в городскую
библиотеку, –
«Любите книгу – источник знаний».
на кинокомедию «Свинарка и пастух»?
влажный батумский воздух доносит звуки
духового оркестра и запах мимозы.
ее летнее крепдешиновое платье
оставляет открытыми руки и шею.
он и она в беседке. фотография.

Иосиф Виссарионович, противник несообразности и лени,
великий кормчий и рулевой, смотрел с портретов
в каждом учреждении, магазине, школе.
слегка прищуренные, мудрые, глаза вождя, учителя,
отца.

ох, нелегко было нерадивым ученикам
списывать контрольные и играть в кости под партой,
когда вы строго смотрели с портрета над классной
доской.

такого взгляда не выдерживали классовые враги.
сами приходили и сдавались.
они признавались в коварных замыслах.
их побеждала великая сила ваших великих идей
и непоколебимых убеждений.
в кинохронике показывали, что, когда вы входили,
все присутствовавшие вставали.
вас очень уважали.

народ дарил вам подарки. их было слишком много,
чтобы держать дома, поэтому искусствоведы
организовали специальные музеи, где их хранили.
друг колхозника, академика и первоклассницы
(на школьном утреннике она пела посвященную вам
песню),

вы были всегда скромны: френч, галифе, сапоги.
вы курили трубку. о, сколько бы дали тысячи,
чтобы в ноздрах ощутить тот дым.
нет, вы не были святым. просто вас все очень любили.

по вашему плану преобразовывалась засушливая
природа, прорывались каналы, строились
водохранилища.
отважные исследователи Севера совершали открытия.
дирижабли и аэропланы поднимались в голубое
удивленное небо. доблестный В. Чкалов покорял
широты.

чудодей ботаники Мичурин вывел черешню
размером с дыню.
колхозное крестьянство из фильма «Кубанские казаки»
с песнями и танцами убирало рекордные урожан.
энтузиазмом и жаром молодых сердец
возводился город будущего Комсомольск.
вот так тогда было.

вы дарили вдохновение искусству.
поэты слагали о вас стихи.
композиторы писали на них народные песни.
живописцы и скульпторы воссоздавали ваш облик
на холсте и в бронзе.
ваш маленький далекий друг первоклассница
подросла и была принята в пионеры.
она писала о вас сочинения.
счастливая учительница литературы плакала,
когда их проверяла.
самое лучшее было напечатано в газете.
все вас очень любили. и взрослые, и дети.

победно трубили фанфары на спартакиадах.
время ударников и монументальной архитектуры!
в нем не было места неврозам, аллергии и радикулиту.
отношения между мужчиной и женщиной

были направлены на создание здоровой семьи.
к моральной чистоте призывал парализованный
Островский. незрячий, подобно Гомеру,
он воспевал подвиги героев,
окрепших в суровой борьбе,
служа своим искусством великой цели,
к которой шли народы мира.
природа не могла не ликовать со всеми.
представляю, как тогда пахли азалии в Батуми.
даже ранее не цветшие деревья, травы
и кустарники расцвели необычайными цветами
и благоухали, затмевая «Красную Москву»
и одеколон «Кармен».

3. я еду после прогулки по улице Сталина
в батумский аквариум, а оттуда на 1-м
автобусе на Зеленый мыс в ботанический сад.

в бассейне с круглыми окнами в вертикальных
стенах – чтобы лучше видно было для публики –
живет пара черепах. он и она.
его панцирь порос зеленой тиной,
и, когда он проплывает мимо иллюминатора, тина
колышется,

мягкая, как пух.

она поменьше.

а может быть, это мать и дочь –
счастливая Тортилла и осколок ее потомства,
погубленного противным продавцом пива

Дуремаром.

так или иначе, они иногда подплывают
к иллюминатору, и посетители,
я в том числе, рассматриваем подводных обитателей,
а они рассматривают нас.

«все двуногие на одно лицо», – возможно
говорят они друг другу.

из моря по трубам поступает морская вода.
компрессоры нагнетают воздух.
брожу вдоль стен круглого павильона
и смотрю в аквариум, как в зеркало.
парящие золотые рыбки – опущенные в воду лампочки
с елки.

камбала – плоская – как бессонница.
серебристые, как фольга, снующие по всем
четырем углам рыбы, их название по-латыни.
мертвый морской конек в отдельном аквариуме.
может быть, это самоубийство, и ведется
расследование?

кто ищет корм, глотает шарики воздуха, кто просто
прохаживается среди водорослей и ниточек
экскрементов,
похожих на выпущенные кишки.

«Большие рыбы поедают малых рыб».
нет, здесь все мирно. жабры поднимаются и опадают.
за стеклами течет жизнь, поддерживаемая
электричеством.
служитель в белом халате что-то делает с термометром.
в руках у него мензурки.

в ботаническом саду цветут камелии,
украшавшие корсаж героини Дюма-сына, –
красные, белые. на солнце блестят их широкие,
как губы негритянской певицы, листья.
темно-зеленые магнолии. кипарисы.
постарайтесь вспомнить впечатления
от посещения магазина «Березка» в первый раз.
так вот зеленые кроны в феврале удивляют не меньше.
правда, через двадцать минут привыкаешь к солнцу
и тому, что можно ходить без шапки,
и все это бесплатно. в сознании рождается
преступная мысль: что, если попросить климатическое
убежище у директора ботанического сада,
чей дом на пригорке похож на резиденцию губернатора.

я буду дружить с деревьями и птицами.
они внимательные и вежливые собеседники.
от них никогда не услышишь:
«не увиливайте от ответа! признавайтесь!
это в ваших интересах!»
признаться в чем?
в том, что люблю смотреть на море,
на синеву, переходящую на горизонте в небо?
безмятежно будут протекать дни
среди субтропических растений.
я буду гулять по дорожкам, посыпанным
желтым песком, и однажды, возможно, получу
приглашение
на чай от королевской пальмы.
отсюда открывается прекрасный вид,
морская гладь насколько хватает глаз.
баркас, скалы внизу, птицы,
от которых пахнет рыбой,
сидят на дереве над самым обрывом.
закрывать глаза.
ах, если бы я умел плавать как Дурмишхан Думбадзе!
синее море. синее небо.

4. ночь в Батуми

чувствую себя, как марионетка, удравшая
от хозяина кукольного театра. иду, куда хочу.
кум королю. да здравствует комедия дель арте!
южный город ночью. декорация.
площадь у фонтана. арлекинада.
минимальная иллюминация компенсируется
обильной луной. грузинский вариант неореализма:
мальчик с велосипедом заходит во двор,
увешанный простынями, как белыми флагами.
женщина жарит рыбу на ужин какому-нибудь Антонио.
на втором этаже слушают музыку по радио.

дверь, в которую могла бы входить Анна Маньяни,
самая красивая.

редкие прохожие на улице Ленина.

ночная жизнь Виа Венето, о которой я догадываюсь.

после богатого впечатлениями дня хочется спать.

из темноты возникает фасад гостиницы «Интурист»,

достойный элегантной фантазии Феллини.

номер. окно. кровать. когда-нибудь мне приснится

эта прогулка, похожая на фильм.

5. Finale

рейс задерживается.

аэропорт закрыт из-за сильного ветра.

полосатый колпак или чулок на шесте. метеослужба.

колонияльное здание управления аэропорта.

стиль, называемый теперь ретро.

пальма посередине клумбы.

где-нибудь в Тамбове, занесенном снегом,

в кадучке на тумбе произрастает фикус,

но мне до него нет дела, пока я здесь,

в субтропиках, продуваемых сирокко и бореем.

читаю призывы, обращенные к работникам

гражданской авиации:

«Вперед, пятилетка, время вперед!» и

«Все выше и выше к далеким планетам!»

готов ли я лететь к далеким планетам?

за оградой аэропорта шумят вечнозеленые

мандариновые деревья.

этого ветра хватило бы, чтобы затрещали,

как на смуглых плечах корзины, полные винограда,

паруса всех греческих галер во время оно,

когда дельфин вынес на спине Ориона

на берег из волн Черного моря.

объявляют посадку. сейчас самолет развернется
и полетит на север. я возвращаюсь в зиму.
прощайте, субтропики!
море сверху похоже на каракуль.

в воздухе

Наталья Горбаневская

ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ

С т и х и

Осень 1982 – весна 1983

Париж, «Контакт», 1985, 63 стр.

ГДЕ И КОГДА

С т и х и

Июнь 1983 – март 1985

Париж, «Контакт», 1985, 54 стр.

Продаются в парижских книжных магазинах:

LES EDITIONS REUNIS – 11 rue de la Montagne Ste-Geneviève, Paris 5e;
MAISON DU LIVRE ETRANGER – 6 rue de L'Eperon, Paris 6e;
LIBRAIRIE POLONAISE – 123 bd. St. Germain, Paris 6e;
POLEMIKA – 49 rue Gay-Lussac, Paris 5e.

**Книги можно также заказать в издательстве
через «Русскую мысль»
(Kontakt c/o La Pensée Russe).**

«ПУСТЬ ГОВОРЯТ МНЕ: ПУСТЫ НЕБЕСА...»

ВОЛНЫ ЖИЗНИ

Земля набухла будущей травой, и дождевые черви,
как очумелые, ныряют на асфальт,
где их ногами давят пешеходы.

Природа нерасчетлива.

Вот так и саранча, в младенчестве бесхитростный
кузнечик,

своих фаланг безумную армаду
ведет на беззащитные поля.

И шевелится гиблая земля
от хруста ненасытных челюстей.

И тщетны все усилия людей.

Но выдохся стремительный набег –
кто жив, тот сыт остался. Стая
в обратный путь ложится против ветра.

И долго черной бурей земля
ее в ослепшем солнце провожает.

В какой пустыне, жаждущей признанья,
родился смертоносный ураган,
и что за страсть его обуревают?

Бессильно разума своекорысть.

Так по бескрайней тундре к кромке горизонта,
покинувши привычные места, кочуют лемминги.

И, словно под гипнозом Крысолова,
они влекутся к океанским фьордам,
чтоб жажду смерти в водах утолить.

И нет потерь, достойных сожаленья.

И нет преград, чтоб их остановить.

О волны бытия! Волнует ваша суть
И тайный трепет сердцу сообщает.
Вас не дано понять, и можно лишь вдохнуть
Запретный воздух проклятого рая,
Где ветхий согрешил Адам...

* *
*

Пусть говорят мне: пусты небесеса.
Но чьи в ночи я слышу голоса,
И кто пером бездушным по бумаге
Лица живые контуры чертит,
И кто скрижалей вырубил гранит?

Мысль вязкая колотится в виске,
Задушен лист в беспамятной руке.
Зачатье длится благодатною мукой.
И, как живот беременной, туга
Рожденью обреченная строка.

И шахтой из неведомых глубин
Она выносит залежь тайных глин,
Что не стяжали солнечного света.
И лепят губы медленный узор,
Судеб сплетая темный приговор.

Притоком наливается река,
Как мыслью – полноводная строка,
Взрывая русел клинопись немую.
И мысли воплощенные легки,
И за спиной неслышные шаги.



Вот и август на спаде. В тумане потеют стога.
И смородинных ягод застыло густое варенье.
Васильки помертвели в букетах. Лысеют луга.
Затихает шмелей неустанное в поле гуденье.

Вечереет. Хлопочут сороки о сытной еде.
Белка тащит в дупло раздобытые где-то орехи.
И пора уж, пора загореться падучей звездой,
Освещающей в куполе вечном земные прорехи.

Вечер снова дежурит, ночной совершая обход.
Караулит свою предрассветную верную смену.
И какой ему выйдет за эти тревоги доход?
Постоянство не в счет, но счетами оплатят измену.

Месяц вновь исхудал. Только желтые рожки торчат.
Видно, крутит роман с недоступной своей половиной.
Завершен трудовень, и его обладатели спят.
А дневная пора с головою приходит повинной.

Сразу мысли вразброд, словно чья-то судьба иль беда,
Словно больше невмочь, и напрасно по звездам гаданье.
Да концов не найти. Вспыхнет ярко чужая звезда,
Как ракета, тревоги ночной выполняя заданье.

Не по небу следить, а грехом распалить и избить
Все вины и грехи, что рассветной порой колобродят.
Только медлит рассвет свою верную стражу сменить,
И мятется душа, и забвенья ни в чем не находит.

* *
 *

Светлеет ночь. Темнеет день.
Зима опять сменяет лето.
И тень наводит на плетень
Всегда зловещая планета.

И так предполагая жить,
Вдруг обернешься ненароком,
А там синица просит пить,
Свистя над высохшим болотом.

* *
 *

Снова осень. Какая истома!
Клен к ветвям свои листья прижал.
Изразцы возле самого дома
Желтой охрой октябрь малевал.

О пора гениальных поэтов,
Ясность мысли и зрелость ума!
Слишком скоро кончается лето
Легкой рифмой сума иль тюрьма.

В карантине – запретная воля,
В западне – кислорода глоток.
Так последний кусок канифоли
Натирает охрипший смычок.

Дальше смерть. Недолга передышка.
На снегу черной кровью истечь,
И в осеннем дырявом пальтишке
У Амура легко умереть.

Сурик, охра, столетье свободы,
Карантины, опалы, кресты,
Два-три тома. Напрасные годы.
Вот и кончено – палят костры.

* *
*

Неутомимо трущие надкрылья
Кузнечики блаженству предаются.
И этот звон зовется тишина.
Над горизонтом мается луна,
И к диску облака бесстыдно жмутся.
Иллюзии не требуют усилья.

Как хорошо не мыслить, не страдать,
А просто в мироздании затаиться,
Смирив ополоумевшее «я».
Нирвана есть изнанка бытия:
Невидим ветер, только лист кружится,
И не дано бессмертное создать.

* *
*

Всё мрак, всё прах, всё нам нейдет,
Да бес лукаво ухмыльнется,
Да утром смята простыня
И душ мышьяная возня.

О чем печалимся и плачем,
Куда сквозные раны прячем,
Зачем прочней день ото дня
Лишь одиночества броня?



Боящийся в любви не совершен.
Крадется страх на скомканное ложе.
Его оков тяжелый душный плен
Желаний миг преодолеть не может.

Вотще! Сердечный угасает жар
Под пеплом суетливых опасений.
Сквозь пальцы истекает вещий дар
Природой освященных откровений.

Смещается таинственная грань:
Слабеет слух, и глаз теряет зренье.
Взимает страх невидимую дань,
По каплям отрезвляя вдохновенье.

И неизбежно настигает тлен,
Холодной кровью сердце остужая.
Боящийся в любви не совершен,
Хотя б на миг себя не забывая.

ОХОТНИЧИЙ СЕЗОН

Я перееду в область снега
Из области дождя,
Нигде не оставляя следа,
Везде пройдя.

Асфальты мокрых полустанков,
Платформы дней.
В сезон охоты крик подранков
Всего нежней.

Как дети, раненые зайцы
Меня зовут.
Но деревенеющие пальцы
Курки нажмут.

И уши с детским удивленьем
Раскинут на снегу.
И снег в своем грехопаденье
У них в долгу.

Последней судорогой тело
Душа сведет.
Сталь на стволах обледенела,
И снег идет.

СОЛОВКИ

На Секирной горе одноглавая церковь стоит,
Позолотой блистая над позднею зеленью леса.
И когда он горит, то глодают его языки,
И по купол скрывает его дымовая завеса.

Тянут корни к воде обгорелые дочерна пни,
И бескровною памятью страх на иссохших губах
шевелится.
Кто дал имя тебе, и кому в первый раз отсекли
Непокорную голову, чтобы заставить тюрьме
поклониться?

Ты стоишь на холме. Девяносто ступеней взойти.
За высоким забором заливисто лают собаки.
Чьи потомки беснуются там, шелудивые псы,
Затевают в наследственной злобе
Свои беспробудные драки?

Возвели на холме неприметном сияющий храм,
Как свидетель, за малых и сирых бессильный
вступиться,
Отдан был палачам на свое поруганье и срам –
Здесь пытали людей, не желавших тюрьме покориться.

Здесь в притворе монахов молящихся стерты следы,
Здесь на жердочках узников гроздь висели.
А студеное море крошило торосами льды,
И в поруганном теле надежды бессильные тлели.

Стекленеющий взгляд в алтаре силуэт различал.
То Зосима-заступник ступал в облачении белом.
Он безвинно распятого тихо по имени звал –
Грешный дух отлетал, покидая земные пределы.

Ну а тех, семижилых, кто память и дух сохранил,
Привязавши к столбам, по ступеням катили
бессчетным.

Ты, который в аду по терням все круги исследил,
Хорошо ли зажили твои вдохновеньем разбитые ребра?

Остров лесом порос. Храм над морем плывет осиян.
Крест лучится под солнцем. Здесь инок молился
Савватий.

Монастырские стены судов стерегут караван,
И земля шевелится от хрипов бесслезных проклятий.

* *
*

Ю. А.

Я зажимаю уши и глаза,
Бравурных маршей и речей не слышу,
Но я со всеми голосую «за»
И руку поднимаю выше, выше.

Лишь жалкие остатки естества
Иль совести запойная отрыжка
Диктует мне ненужные слова,
А это значит – скоро будет крышка.

И было б лучше сразу загреметь
Или, как Полежаев, спиться с круга,
Но, говорят, кому-то надо петь,
Чтоб рядом был надежный локоть друга.

А тем, кто не поймет моей судьбы,
Спокойней будет спать на этом свете.
От вас живу я в двух шагах ходьбы,
Но все равно что на другой планете.

Друзья мои, у вас свои дела,
Ведь трудно жить с открытыми глазами,
И локти заняты. А я уже ушла,
Давясь простыми бабьими слезами.

* *
*

И наша беззаветная эпоха,
Как урка на допросе, заблажит.
Но видит Бог, молчать не так уж плохо,
Раз голос от бессилия дрожит.

СТИХОТВОРЕНИЯ 1985 – 1986 гг.

БАЛЛАДА О РАДОСТИ

Переводим с радости на беду...
Дай мне радость, Господи, и тогда –
На беду ее я переведу,
Потому что здесь понятней беда.

На беду себе, на беду другим –
Тем, кого берегу и кого люблю;
Всё творимое мы на беду творим,
Снова сводим Радость Твою к нулю.

Да, мы Радость Твою не удержим никак,
Утекает Радость, остается тоска;
Вновь потеряна Радость, и вновь я бедняк,
Снова Радость Твоя от меня далека.

Весь в надеждах новый приходит год,
Удлиняя ушедших лет череду,
И опять я за новый сажусь перевод –
Вновь меняю Радость Твою на беду.

Оттого я и жду с нетерпеньем День,
На Него уповаю, Ему – мой труд,
Когда время сточит сей век-кремень,
И придет к нам Тот, Кого столько ждут.

В этот День Твоя Радость наполнит всех,
Над иным Вифлеемом встанет звезда,
И вернется к нам наш потерянный смех,
В пересохших душах заплещет вода.

Этот День стоит у ваших ворот,
Ждет, когда с ключами придет ключарь,
Тот ключарь откроет запертый вход,
Чтобы Он рассеял ночную хмарь.

.

И из всех земель, и с гор, из долин,
Соберется народ, запоем труба,
Потому что вернулся к нам наш Господин,
Хоть и Господин – а смиренней раба.

В этот День Господин наш отдаст приказ,
Чтоб печаль с нас смыла живая вода,
Чтоб беда навсегда оставила нас,
Ну а Радость меж нас пребывала всегда;

Чтоб из уст – суесловье, и зло – из сердец
В этот радостный День навсегда ушли,
Чтобы горестям нашим пришел конец,
И любила бы Радость детей Земли.

янв. 86

ТЕОЛОГУМЕНТ

Верую я – уж немало лет,
Знаю то, что быть по сему:
Тот, кто верует в Свет, – вознесется в Свет,
Все же прочие канут во тьму.

Для неверящих в Свет – спасения нет,
И Творцу они ни к чему...
Лишь живущие в Боге возносятся в Свет,
Остальные – уходят во Тьму.

янв. 86

* *
*

Чтоб слышать молчанье Храма,
Не нужен телесный слух;
Стойте пред миром прямо,
И сойдет к вам Господень Дух.

Руки сплетайте в кольца,
Чтоб любви сплести кольцо
И увидеть затмившее Солнце
Возлюбленное Лицо.

Нужна закваска для теста,
Чтоб выбродить до конца.
Каждому сыщется место
В трудах и садах Отца.

И поют небесные трубы –
Боже! Всех нас в Свой Дом возьми,
И шепчут усталые губы
Молитву о Светлой Любви.

И я склоняю колени
Перед Тобой, Господь!
За чужие долги и пени
Пусть моя расплатится плоть...

янв. 86

* *
*

Вновь молитвы желает душа,
И ничто не имеет значенья...
Лишь шептать, только б плыть, не спеша
Положившись на волю теченья.

Вновь согласное пенье звучит,
Многолюдье сегодня во храме,
И уходят печали и стыд,
И к кресту мне сейчас предстоит
Прикоснуться сухими губами.

85

ИЗБА

«Изба – колесница, колеса – углы...»

Н. Клюев

Беспризорная изба –
Как мертвец непогребенный,
Скорбно смотрит вверх труба,
Пыль – и нет в углу иконы.

Тени тех, что жили тут,
Вечерами ходят в доме,
Также мыши здесь живут,
И шуршат себе в соломе.

Дом исполнен тишины,
И в печаль обвит как в кокон,
И глядят вослед – темны
И страшны – глазницы окон.

Моет дождь, скребут снега
Крышу старую и стены,
Время – птица-пустельга
Дом ломает постепенно.

Распят дом, на окнах крест
(Жизни сломана основа),
Тихо в доме, пуст насест,
Не мычит в хлеву корова.

Перекошены венцы,
Сгнили стрехи и стропила,
Не дома – а мертвецы
Смотрят, смотрят вслед уныло.

И не нужно зряшных слов,
Что толочь слова пустые...
Сколько же т а к и х домов
Выросло по всей России?

85 – март 86

СВЕТИЛЬНИК

А. Б.

«И Свет во тьме светит,
и тьма не объяла его».

Ев. от Иоанна, гл. I, ст. 5

Кто прав до времени, тот виноват втройне...
Светильник я зажег, чтоб он светил в окне,

Чтоб путник, в темноте блуждающий без света,
Увидел вдруг огонь, в ночи зажженный где-то,

И вышел наконец на верную дорогу,
И, радуясь, вознес свою молитву Богу...

Светильник мой! Гори, заблудшим помогая,
Что путь вершат во тьме, блуждая и страдая,

Чтоб, увидавши свет, нашли бы верный путь,
И у меня в дому смогли передохнуть.

Пусть непогодь кругом и ночь пускай темна;
Горит светильник мой, и жду я у окна,

И верю, что не зря горит он ночью каждой,
Не зря течет родник, и всяк, томимый жаждой,

Значение его оценит и поймет,
Горит светильник мой, и в дом не заперт вход.

кон. 85 – нач. 86

* *
*

Века проходят смутной чередой,
Прошедшее теряется во мгле,
И, обернувшись, видим за собою –
Распятая стоят по всей Земле.

И умирают новые пророки,
И истина гонима, как всегда.
Опять звезда восходит на Востоке
И манит нас – неведомо куда.

И равнодушно смотрит Иудея,
Как вновь пророк вершит свой крестный путь,
Вослед идти желанья не имея,
Не смея даже на него взглянуть...

Но есть иные, мучимые дрожью
И ужасом – они клянут Судьбу,
Оплетены большой и малой ложью
И чуя Божью над собой трубу.

Да, есть иные, есть еще иные,
Покуда есть – сим дням не кончен счет;
И ради н и х Господь простит Россию,
Когда на Суд Архангел призовет.

«КОГДА РАСПЛЫВШИЕСЯ СТРОЧКИ...»

* *
 *

когда расплывшиеся строчки,
всё, что тобой пережито,
в саду забытыми находишь
и смотришь, словно что-то хочешь
исправить, и не знаешь что.

И запах полежалой мяты –
родной земли невнятный звук –
и обаянье теплых рук
путей асфальтовых, железных,
мощеных, крестных, непчатых,
завещанных для нас когда-то
от скоморохов, повитух, –
все наши истины, мой друг,
дороге испокон известны.

1982

* *
*

ночь пришла. Что-то делать пора,
– что же делать?
в подполье спускаться,
сундуки отпирать,
и молиться на завтра и брать,
чтобы с миром свободно общаться,
двадцать мер серебра.

8/5, 86

п е ш к а

охмелевший от жертвенных взоров,
заржавевший от просьб и обид,
каждый день он с бродяжьим укором,
как берущий и взятый измором,
открывал королевский гамбит,

каждый день с неизбежностью строгой
он ходил; им ходили потом,
превращался из пешего в Бога
и по неосторожности рока
пал, раздавленный черным конем.

0-0-0, 1982

о с е н ь

ты мой пароль, забытая отчизна,
сухой букет, увянувший зимой,
на подоконнике, как в октябре, лучится
Иван-да-Марья, клевер полевой,

как почка, полная дыханья,
чуть тронешь – рассыпаешься в бреду,
и я ловлю, ловлю твои рыданья,
моя отчизна, осень на лету.

1986

* *
*

как в первый день творенья
никто не занят рвеньем,
никто не ждет и не спешит,
и Змий с плодом в уединеньи
сидит в углу во искушеньи
и Еву не молит.
Забыл и я, кто я такой,
и день проносится хмельной
и не горит.
Но вот молчанья звук пустой
нарушит дым за той стеной
и замолчит.
Опять игры ненужный круг
и скучен, Боже, твой досуг.

с. Старосветское, 1982

* *
*

дом пустует. Я один
ночью ветренной измаян,
непоседа, нелюдим
в дымной сетке покаяний,
не избавленный никем
от вопросов и загадок,

в дымном сумраке лампы
жду раскаянья от стен.
Только нет, непониманье
между мною, между камнем,
вечер тайной омрачен,
но до сроку нету сладу –
коммунальная ограда
между мной и камнем сада,
тем, кто в стену заключен.

Нет, не долг путь, я знаю,
нас сроднит коса кривая,
он на грудь мою падет,
за ограду вместе ступим,
и цыганский медный бубен,
словно колокол, забьет,
блудный, блудный и бездомный
мир уйдет за поворот,
проводимый баснословный
путь укажет, да солжет,
и под бубен неустанный
снова мне брести черёд,
и вернется покаянный
угол у моих ворот.

ул. Пятницкая 12, 1982

п о д в е ч е р

сидит, посуду моет у окна на сундуке,
ругает кошек и читает книги,
и ждет весны и тишины и сына,
и смотрит, как согнувшись за окном
черемуха в поклоне расцветает.

1986



Дева (Зодиак)

под утро быстрое дыхание
уйдет в чадающий уголёк,
и вновь без знаков препинания
ты скажешь мне: покасвитание,
и крылья сложишь в узелок,

возмешь и бросишь неприкаянно
букетик плевелы сухой,
и не уйдешь, со лба нечаянно
смахнешь цветочек завитой,

и в старом зеркале метание –
снаружи ветренно опять,
ты прилетела, как желание,
а нынче как же улетать?

и там, за ртутью, в подсознании,
рождение праздное начав
и умирая от касания,
сонетом маясь, мучась манией
кровосмесительных забав,

владела мной. И я недвижимым
стал, зачарован, как скала,
и будто мама под Воздвижение
меня вторично родила.

сентябрь, 1986

* *
*

всё забыто давно, и закрыты глаза,
страсти спят, но мечтой журавлиною
бабья осень летит с паутиною
за леса,
тихо дышит и температурит роса,
и страдают поля скарлатиною,

то другая мечта, то другая любовь,
терпкость привкуса кофе со сливками,
на насесте яйцо облепилось опилками,
чисто падает лист за калиткою
и с багряно-ланитными ликами
скоро посуху ляжет Покров.

1986

* *
*

когда октябрь придет за мной
и год склонится ниц устало,
я возвращусь к себе домой
тропинкой путанной лесной,
я возвращусь к ее началу,

вот дом, который здесь стоял,
отчизны горстка – горстка праха,
здесь образ мальчика пленял,
здесь в печке он дневник сжигал,
дрожа от холода и страха,

и вдруг закружит, понесет
по узкой колее к вокзалу
и к шее поездной прильнет
тоска моя — ты пепел тот
тайком по буквам воскрешала!

и мой панический отъезд,
как будто прошлому довесок, —
печаль давно забытых мест,
осенний рукописный текст
в кострах сожгли за ближним лесом.

1986

* *
 *

дождливые долгие дни...
так можно соткать паутину
из слёз наилучших дождей
и чертишь опять на стекле
усталый портрет пилигрима,
блуждающего среди сетей.

седой дождевой мотылёк,
сломавший крыло,
как прохожий
ты в небо подняться не можешь,
а куколкой стать — невдомёк.

1986

* *
*

поля, заснеженные сны,
как ни гонись, а вам не сбыться,
когда за Сретенье случится
проглянет утренник весны,

не выжить снова нипочем,
так переполнит воздух душу,
что выйдешь к лесу и завьюжит,
запахнет пылью и груздём,

и пьяный мускус муравьиный
над рыжей чащей закружит,
и лес, напившись влагой винной,
забродит и заговорит,

и только в сумраке ветвистом,
чернея смоляным крылом,
уже нездешний и землистый,
покончивший самоубийством,
какой-то старый, зимний дом.

1986

* *
*

и день грядущий,
словно птица черная кружит,
и вьется тень ее во ржи
над долгим полем
демон сущий,
тебя настигнет он, идущий,
а ты его – скажи?

1986

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

На складе более 3000 наименований книг

Вышел из печати наш новый большой каталог 1985/86.
Высылаем бесплатно по первому требованию заказчика.

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis · Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 · Germany

ИЗ НОВОЙ КНИГИ «ПОХМЕЛЬНЫЕ ПОВЕСТИ»

МАЛЕНЬКАЯ ПОВЕСТЬ
ОБ ОДНОМ БЕЗУМЦЕ И СЛОМАННОЙ СОБАКЕ

*Памяти Володи Левина –
яростного любителя зеленых радостей,
веселого и верного друга*

*...живут и исчезают человеки...
(из стихотворения покойного
председателя КГБ Андропова)*

Замечательная эта во многих отношениях историйка произошла во времена уродливого предримпийского беспокойства, истерически обуявшего столицу нашей Империи.

Если бы было мне по силам, я с вдохновенной дошностью летописца засел бы за описание всего с ним связанного – настроений правительственных кругов и обывателя, уродливых гримас подготовки к самим спортивным играм, волнующих ожиданий болельщиков и карманников, крикливых репетиций всякого показушного момента и многого другого, продержавшего в постыдно-комическом напряжении столицу и ее окрестности больше четырех лет. Но кому под силу в наше время воспроизвести пером внимательным и беспристрастным – пером историка – образ поведения закрытого общества, решившегося впустить в себя, из соображений невысокого порядка и не без плебейской зависти к жизни открытых обществ, немного нервно контролируемого, не спертого свежачка? Решившегося впустить его, чтобы было у нас всё, так сказать, как у лю-

дей, но тут же очумевшего от принятого решения и превратившего жизнь обывателя в мелкий и вонючий коммунальный ад..

Какое уж тут «внимательное перо», когда Муза Истории брезгливо отвратила проникновенный свой лик ото всех покалеченных запретами властей российских повествователей, кроме одного лишь изгнанника, да и то мысленно находящегося еще в большем историческом отдалении от современных будней своего умне-постигаемого Отечества и гневно описывающего ужасную, кровавую, тупую, поистине, одним словом, дьявольскую кашу событий полувековой давности, одним из плодов коих и была, кстати, дебильно-помпезная Олимпиада...

Короче говоря, кому – история, а кому – историйки...

Некоторое время перед праздником Первое Мая пустую посуду можно было сдать в один момент, без долгих выстаиваний, топтаний, порчи нервишек, из-за страха влипнуть до сдачи в перерыв на обед, и без трепетаний насчет отсутствия тары под «Байкал» и «двойное золотое».

Произошло это затишье в подобного рода очередях из-за того, что по столице пронесся смерч убедительных слухов о готовящемся к открытию Олимпиады трагическом повышении цен на крепкие спиртные напитки. В местах скопления обывателей – на пустырях, в подворотнях, в подъездах, в общественных сортирах, в пивных барах, в банях и во многих других местах появились зловещие намеколожунги: **СТОЛИЦЕ ОЛИМПИАДЫ – ТРЕЗВОСТЬ, БОРЬБА С ЗЕЛЕНЫМ ЗМЕЕМ – ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО** и так далее.

Обыватель, чуткий к предвестникам стихийных бедствий, решил подстраховаться вместе с теми, кто привык безбожно богатеть на любимой игре правительства с народом в повышение цен на винно-водочные изделия. Таксисты, проводники вагонов, служители

общественных сортиров, контролерши кино и танцплощадок, уборщицы безалкогольных закусовых и даже завхозы средних школ и высших учебных заведений, не говоря уж о подпольных бандершах и просто запасливых мелких спекулянтах, бросились раскупать спиртное. Полки магазинов опустошены были за пару каких-то дней. Но вот прошло уже три томительных дня после публикации в центральном органе партии явно предупредительной передовицы, а цены оставались на водку и вина прежними. Покупать их многим стало просто не на что. Повышение цен ожидалось в ночь с понедельника на вторник, поскольку в воскресной «Правде» появилась легко расшифровываемая передовая статья «НЕОТСТУПНОЕ ВНИМАНИЕ ПАРТИИ И МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ – ЗДОРОВЬЮ НАРОДА».

Многим обывателям, не пропившим еще по каким-то причинам ума аналитического, а также тем фигурам, которые привыкли за годы Советской власти подкармливать манию преследования алкоголизма любой пищей, стало совершенно ясно, что правительство, в полном соответствии с модной древнекняжеской, а в те дни – спортивной, традицией, сказало своему враждебному народу: «ИДУ НА ВЫ!»

Обыватель как бы занял выжидательную боевую позицию. На улицах не было видно не то что пьяных, но и сколько-нибудь значительно выпивших.

Я лично, как никогда, жаждал быстрейшей развязки всей этой тошнотворной игры, в которую даже многие закоренелые индивидуалисты затянуты бывают не по своей воле, а из-за неуничтожимой и в них таинственной и строгой тяги к воссоединению с народным телом во времена измывательства над вечно страдающим этим телом со стороны либо правительственных кругов, либо сумасбродных идей, либо враждебных внешних сил.

Не могу не добавить в связи с вышесказанным, что несколько десятилетий, прошедших со времен чудовищ-

ной Отечественной бойни, довели правительство нашей Империи до такого отчуждения от народа, частью которого оно продолжает являться, несмотря на все свои подлости, глупость и безжалостную социальную жестокость, а также по причине высокого бытийственного порядка, что правительство самозатравленно тоскует по новому моменту восторженного единения с народом, в новой какой-либо Отечественной бойне.

Правительству, вероятно, видится, как народ грудью встает на защиту самого себя от внешних вражеских сил, защищая при этом и укрывшееся в бункерах правительство, потому что оно является как-никак всего-лишь ч а с т ь ю сражающегося народного тела, ч а с т ь ю ц е л о г о. И ц е л о е это не может больше позволить себе патологически-уродливого отношения к своей части – к правительству, – как это случилось в 1917 году. Тогда, как известно, совершенно обезумевшее народное тело пренебрегло сражениями с силами внешними и им же помогло самоубийственно отсечь от себя правительственную ч а с т ь, посчитав ее, не без некоторых скороспелых, поверхностных оснований, ч а с т ь ю весьма отсталой, а потому и ненужной, вроде тухлой сардельки на лбу или куриных крыльев на заднем месте. Известно также, ч т о за правительство удачно прижилось на месте отсеченного законного в 1917 году. Известно, как иезуитски и насильственно внушает оно народному телу, что с того самого злополучного момента народное тело потеряло историческое право считаться ц е л ы м, но является навек всего лишь подчиненною ч а с т ь ю нового, монолитного якобы, правительственного ц е л о г о. Известно, с какою параноической мнительностью и угрюмою ипохондрией ежеминутно борется правительство не только со многими явлениями психологической, а порой и биологической несовместимости себя с народом, но и со слабыми зачатками народных мыслей об этих проклятых несовместимостях. Так что вполне можно понять

правительственную оголтелую пропаганду, вдалбливающую народному телу мысленный страх перед нападением на него враждебных внешних сил, тогда как всё, по-видимому, делается для того, да и катится почти само собой к тому, чтобы вновь, как в 1941 году, спровоцировать немыслимое испытание для сравнительно добровольно проживающих в нашей Империи и насильно загнанных в нее народов. А уж правительство сделает всё возможное, чтобы направить вьезшуюся в психику народного тела вину – за допущенное в прошлом самоубийственное безумие – на бойню с внешними силами, истерической ненавистью к которым оно вот уж несколько пятилеток подпитывает и смехотворно одурачивает обывателя.

Между прочим, олимпийское беспокойство тех дней – вся эта бешеная строительная возня; авральное выселение многих обывателей из центра на окраины под марку Олимпиады; составление списков на интернирование за пределами столицы инакомыслящих и «духовитых» евреев; отработка приемчиков круговой обороны от агрессивных с голодухи провинциалов и просто от любопытствующих ротозеев; всякие перебои со снабжением вперемежку с фантастическими слухами – создавало, повторяю, как бы предвоенную, предгрозовую, истеричную обстановку в заливорадившем городе...

Всё сошлось в конце концов так, что всеобщее согласие с неминуемым поражением началось в пятницу вечером. По ТВ показывали фильм венгерских кинематографистов. Названия его теперь уж не припомню. В ряде сцен герои напропалую, чего давно уж не было на экранах, врезали то сливовицу, то коктейли, то шампанское и пиво. А незадолго до развязки отрицательный герой фильма – инженер и метатель диска, рекордсмен своего города – врезал ни с того, ни с сего стакан коньяку без какой-либо закуски и направился с повинной в местное КГБ, чтобы сознательно признаться в попытке похищения чертежей засекреченного суперплана-

ра по заданию врагов родной страны, всего мира, а главное ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ.

Нам стало ясно без слов, что ПОВЫШЕНИЯ ни в коем случае не будет в ближайшее время, потому что перед ПОВЫШЕНИЕМ таких фильмецов не прокручивают. Перед ПОВЫШЕНИЕМ обычно прокручивают старую ленту «Тринадцать», про красноармейцев, изнемогающих от жажды в пустыне, но продолжающих, несмотря на это, борьбу с афганскими басмачами, как бы намекая сегодняшнему расхлябанному обывателю на необходимость сдерживания жажды выпить в период обострения международной напряженности. Помнится, при Хрущеве показали за три дня до ПОВЫШЕНИЯ фильм про генерала Карбышева, облитого фашистами водой и превратившегося в ледяной стоб, но не пошедшего по предательскому пути генерала Власова. Тут уже был явно двойной намек. Не заливай, обыватель, глаз до переохлаждения тела в зимний период и учись одновременно, как сохранять монолитное единство с правительством в годину суровых испытаний... А цену на водку мы повысим, чтобы тебе легче было это делать. Так-то вот...

Короче говоря, кое-кто, не выдержав все же боли разочарования в безумной игре с торговой сетью и иных терзающих душу чувств, начал распив запасов еще с вечера, сразу после фильма-намек. Но многие, не потерявшие рассудительности обыватели решили как-то дождаться утра. Решили проанализировать передовицу субботней «Правды».

Утром у газетных киосков, задолго до завоза партийной печати, выстроились огромные тревожно-мнительные очереди. Они были почти беззвучны в отличие от вино-водочных и пусто-посудных очередей. Не дзинькали, действуя на нервишки, бутылки в карманах, пакетах и авоськах...

Вот прибыла наконец газетная отрава. Вмиг разобрана вся «Правда». Обыватель, придержав дыхание,

заглядывает в нее с жалким азартом и надеждою, переходящей в немую мольбу, как заглядывает в последнюю сдачу картишек неописуемо проигравшийся прощелыжка... Все затем расходятся в одиночку, либо пылкими группками кто куда.

«ЖАЛОБАМ ТРУДЯЩИХСЯ – ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ». Так озаглавлена была свежая передовая «Правды». Ни о каком повышении цен на спиртное, конечно, не могло быть и речи после такого страстного отношения правительства к широким народным претензиям и неумолкающим воплям. А передовица «Известий» как бы лирически дополняла путеводную декларацию главного органа:

«КУРОРТЫ – КУЗНИЦЫ ЗДОРОВЬЯ НАРОДА»

Это был явный намек на то, что слухи о ПОВЫШЕНИИ – зловредны и что обыватель может по-прежнему отдыхать и развлекаться так, как ему вздумается, поскольку он продолжает оставаться кузнецом своего счастья вплоть до отмены этого замечательного положения при коммунизме, за полной его ненужностью...

Таков вкратце фон, на котором развивалась трагикомическая история моего знакомого. В тяжкие минуты полного безденежья кое-кто из нас – жильцов огромного «номенклатурного» дома, не имевших, правда, такого уж прямого отношения к могущественной прослойке бывших и нынешних придурков, – пользовался «банкирскими», вернее ломбардными услугами моего знакомого. У него всегда можно было перехватить до получки несколько рубчиков, заложив что-нибудь на вполне приемлемых и не унижительных для личности ростовщических условиях. Но об этом и об остальном – чуть позже.

Знакомый мой получил философское образование в МГУ. После окончания университета ему удалось, благодаря отцовским связям, устроиться преподавателем марксизма-ленинизма в закрытый кулинарный тех-

никум, готовивший специалистов для номенклатурных столовых и для работы за рубежом.

Соответственно, в техникуме имелись профилирующие отделения – поваров и профессиональных разведчиков-отравителей.

Все беды моего знакомого начались со странного и вяло протекавшего раздвоения личности. Выражалось оно в том, что поварам он преподавал только марксизм, а кулинарам-токсикологам – ленинизм. Это было замечено начальством, но оставлено без последствий, поскольку мой знакомый считался крупным специалистом по преподаванию всем остоебеневшей дисциплины. Кроме того, он с детства был абсолютно тупым защитником нашего бездарного режима, и некоторые странности его ума начальство относило к «философским штучкам затруханных интеллектуалов»...

Он был не женат. Любил попойнствовать задумчиво и в одиночку.

И вот однажды мой знакомый вышел с похмелья на Лубянскую любимую свою площадь с плакатом **ВСЕМ ДИССИДЕНТАМ – СМЕРТЬ ФИЗИЧЕСКУЮ И ГРАЖДАНСКУЮ**. Начальство некоторое время с туповатым благодушием поглядывало из венецианских окон злодейского учреждения на самозародившуюся в глубинах чьего-то верноподданнического сердца демонстрацию. Затем кому-то из трезвомыслящих чекистов пришло в голову, что никакая не демонстрация это одинокого пикетчика, но злонамеренная провокация. Цель ее – публичное доведение до абсурда главного и заветнейшего желания правительства, которое оно, по причинам от него не зависящим, никак, к сожалению, не может не только решительно реализовать, но и высказать вслух с ленинско-дзержинской прямою.

Знакомый мой провалился тогда, в полном смысле этого слова, под землю, поскольку взволнованно топтался возле памятника рыцарю революции. Чьи-то руки и затащили демонстранта в потайной люк в подножьи

кровавого монумента, через который обычно подкладывались к нему свежие гвоздики, розы и хризантемы, но не белого, а иного, обожаемого палачами-ленинцами цвета...

Историйка эта была чисто швейковской. Философ никак не мог доказать, что он «всё это – искренне, дорогие товарищи».

Кому-кому, а начальству из злодейского учреждения всё было известно, как говорится, до слез насчет действительных умонастроений и сердечных привязанностей всего поголовно обывателя Империи.

Он препровожден был в психушку, где вместе с известными диссидентами кушал, по его выражению, психотропное дерьмо, подключался к электрификации всей страны, избивался санитарями, деморализовывался и лишался сразу нескольких маний, неожиданно обнаруженных видными специалистами. Он также заводил сомнительные знакомства с теоретиками инакомыслия в курилке психушки. В полном с ними согласии, мой знакомый подписывал послания к Эйфелевой башне, Биг Бену и статуе Свободы о варварской, омерзительно преступной манере принудительного лечения инакомыслящих и беспринципного навязывания им средневековых диагнозов.

Втайне же от подписантов, он пересылал куда следует добавления к письменным протестам. Он добавлял, в соответствии с основной своей идеей, что принудительное лечение не только преступно, но и полностью абсурдно, не говоря о том, что оно дискредитирует нашу страну на международной арене в период напряженного одурачивания зарубежных сторонников разрядки... «Никакого лечения, товарищи. Диссидентам – смерть физическую и гражданскую».

Лечащие врачи внутренне соглашались с общим тезисом моего знакомого. Однако упорное отстаивание им примата смерти гражданской над физической по-прежнему весьма беспокоило. Тезис в таком своем виде

тонко подтачивал не отмененное правительством и главным идеологом партии Сусловым положение о том, что двум смертям не бывать, а одной не миновать, поскольку, во-первых, идеалистическая попытка узаконения возможности двух смертей активно внушала целому ряду враждебных лиц нежелательную надежду на то, что смерть вообще перестает быть неминуемой, а следовательно, в общественной жизни ВСЁ ДОЗВОЛЕНО. На это, разумеется, ни партия, ни правительство с вверенными ему психиатрами пойти не могли. Во-вторых, принятие вредительского примата «гражданки» над «физиухой» – как фамиллярно именовались оба этих вида смерти в диссидентских кругах – явно приоткрывало кое-какие лазейки для тех, кто вознамерился бы инакомыслить физически после смерти гражданской. Этого никак не могло бы случиться, если бы физическое уничтожение инакомыслящих решительно опережало бы вполне либеральное стирание их как граждан с лица нашей земли.

Такой, в общих чертах, была логика правительственных эскулапов, вправлявших мозги моему знакомому, от которой он окончательно свихнулся.

После перенасыщения головного, спинного и даже костного мозгов психотропной дрянью он предстал наконец перед членами приемно-выпускной комиссии. Там он, с чувством благодарности партии и правительству, признал абсолютную и относительную правоту лечащих врачей и дал подписку употреблять свой злополучный призыв лишь в радикально измененном виде, да и то непременно с разрешения местных органов власти.

Он также отказался от варварского призыва «прекратить лечение инакомыслящих, взяв упор на уничтожение оных, с последующей передачей их коек антиалкогольным медучреждениям». Кроме того – искренне пообещал укротить дерзкую свою манию руководства мировым коммунистическим движением.

Слабою, дрожащею рукою мой знакомый накарябал, по просьбе лечащего врача, заключительную фразу этой вот фазы истории своей болезни, на которую из его рта капали дебильные слюни:

ПРИНУДЛЕНИЕМ ВОЗВРАТИМ ИНАКОМЫСЛЯЩИХ К ГРАЖДАНСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ.

После всего этого знакомый мой был освобожден и одновременно уволен по инвалидности из техникума. Однако навязчивая его идея не была на самом деле уничтожена принудительным лечением. Она себе жила в обиженном и значительно ослабленном действием бездушной химии мозгу, жила, продолжала изводить его и замысловато, чисто шизофренически саморазвивалась.

Мне жаль было больного, хотя к правительству, негласно разделявшему бесчеловечную идею моего знакомого, внушившему ему, в конечном счете, идею эту, но не признанному в международных кругах ни безумным, ни преступным, я почему-то не мог относиться без ужаса и бессильной, брезгливой ненависти.

После лечения выглядел мой знакомый раздерганной развалиной. Денег на продолжение жизни ему вполне хватало, потому что отец его, бывший начальник Воркутинских лагерей, полностью был парализован, безвыходно находился в кровати и смотрел сквозь пальцы, как сын распоряжается генеральской пенсией и различными предпраздничными пайками.

Распоряжался же он всеми этими заслуженными в многолетней борьбе с народом дарами весьма предпримчиво. Деньги без смущения давал в рост, но под вполне благородный процент, под залог брал только партбилеты, ордена Ленина, Победы, золотые героические звезды и всю антисоветскую литературу. Брал ее исключительно для того, чтобы сжечь, если она вовремя не выкупится диссидентом. Брал и антиквариат.

К антиквариату знакомый мой пристрастился в ту пору, когда всесильный его папашка безбожно драл

взятки с родственников именитых заключенных за посылки с различной, жизненно важной на Севере «бациллой», с лекарствами, витаминами и чесноком.

Поражали меня всегда странный рабочий девиз «закладывающего – не закладывают», замечательная практическая сметка моего знакомого при многочисленных ростовщических операциях и обострившееся в нем после лечения знание советской жизни. Например, под заклад партбилета он никогда не давал больше трешки на недельный срок. Однако мог дать и пятерку, но только в том случае, если закладывавший как-то доказывал, что на такое-то число в министерстве назначено закрытое партсобрание, или предъявлял повестку с вызовом в райком партии на разбор персонального дела.

Кандидатские и докторские дипломы, удостоверения заслуженных мастеров спорта СССР, значки лауреатов государственных премий, именное оружие времен гражданской войны и порнографию, ради поправки украденную юными алкашами у выездных родителей, знакомый мой и в грош не ставил, поскольку вся эта ненужная в сущности дрянь подолгу не выкупалась некоторыми опустившимися обывателями.

Кстати, самую большую сумму из когда-либо выданных – одиннадцать рубчиков – получила однажды за усыпанный диамантами орден Победы запойная в тихую тряпочку домработница отставного одного маршала, тетя Нюся. Это была всеобщая любимица деклассированных жильцов нашего многоэтажного «номенклатурного» дома на Фрунзенской набережной. Пила она зверски еще со времен войны. Но однажды в доме хворавшего маршала наложено было жестокое табу на все спиртное. Для пущей охраны табу родственники маршала выдрессировали в питомнике КГБ злющего и нервного эрдельтерьера. Учув чекушку в маршальской заначке или в закутке тети Нюси, он просто выходил из себя, мог укусить за что попало даже непьющих членов

семьи и рыскал по всей квартире, словно безумный участковый, с заливчатым воем, пока не находил заначку и ее при нем не выливали до последней капли в сортир.

Так что тетя Нюся, затравленная Алкашом – так звали умное животное – и жившая как при коммунизме, то есть на полном обеспечении, но без выдачи на руки денег, вынуждена была закладывать перед запоями и после них особо ценные маршальские регалии моему знакомому. Она и ночевала в запойные дни у него на квартире. О появлении ее в доме маршала не могло быть и речи до полного отрезвления, похода в парную и дезодорирования всего организма от сивушных миазмов народными средствами. Алкаш натаскан был так, что при заходе любого человека в квартиру, включая маршала, скидывал передние ноги на плечи и сдержанно по-началу рычал: «Дыхни, сволочь!» Если от человека этого чем-нибудь разило – Алкаш, не будучи вовремя уведенным на балкон, отходил от разившего, затем с разбега вновь бросался ему на грудь, толкал, валил на пол и, брызгая в лицо густой, с виду пивной пеной, бешено вылаивал что-то непримиримо антиалкоголическое. «Переключить бы этого зверя на борьбу с брежневской коррупцией, – любил первое время говаривать маршал, начальственно наслаждаясь конфузом какого-нибудь непросыхавшего гостя или тети Нюси, – давно бы уж имели ракетно-ядерное превосходство над США».

Но в конце концов от Алкаша в маршальском доме совсем не стало жизни, а уморить пса, как не раз предлагал дружок хозяина, первый зампредгоскомитета по охране окружающей среды, было невозможно: маршал враз запил бы с тетей Нюсей, и егохватила бы последняя, обещанная «убийцами в белых халатах» кондрашка. «Вот пройдет сорокалетие со дня Победы, – втолковывали маршалу в отделе пропаганды ЦК КПСС, – и пей тогда сколько в тебя влезет. А на торжествах ты нам

нужен. Ты у нас все еще живой символ войны и победы. Молодежь ведь наша собирается не воевать, а котелки в окопах выменивать у американца на джинсы и наркотики... Уважь...»

Все эти подробности я рассказываю не ради собственной авторам прозаических произведений болтливости, но для того, чтобы обрисовать нашу историю со всевозможных сторон, тем более талантливая, натасканная собака играет в ней не последнюю роль.

Однажды, после того, как в День вооруженных сил все многочисленные гости вынуждены были пить вместо коньяка болгарский виноградный сок и шведское какао из «Березки», терпение маршала лопнуло. Он намерен был загладить свою вину перед старыми боевыми товарищами, чтобы пили они что хотят и сколько хотят, а не вжимали бы головы в плечи, словно от пронзительного воя «Юнкерсов», от рычания сующего свой нос в фужеры «поганого, курчавого господина на четырех лапах».

Тетя Нюся пристроила собаку к моему знакомому, заплатив ему из маршальских денег целых десять рубчиков за беспокойство и уборку возможных экскрементов. Выводить Алкаша на бульвар в Первомайские дни было совершенно невыносимо. Аллергия собаки к алкоголю была такой мощной и стойкой, что ее просто начинало пошатывать на улицах столицы во времена всенародных празднеств. От массового сивушного перегара. Она не имела даже сил поднимать правую заднюю ногу у пограничных столбов на своей территории, не то что свалить наземь какого-нибудь невинного гуляку.

Разбитый параличом начальник Воркутинских лагерей, увидев пса, попытался улыбнуться, но лицо его, и без того передернутое сикись-накись после удара 5 марта 1953 года, так раскосорылило, что на Алкаша это произвело замечательно веселое впечатление. А главное – его успокоило и обрадовало отсутствие в квартире запахов спиртного. Парализованный генерал,

естественно, не употреблял, а знакомый мой предупрежден был врачами, что алкоголь в смешении с транквилизаторами бросает в многолетнюю кому.

Одним словом, все эти существа неожиданно привязались друг к другу. Мой знакомый – и до принудления страшно одинокий человек – мог часами пороть Алкашу разную чушь насчет тайного сговора правительства с инакомыслящими, целью которого было постепенное уничтожение Советской власти. А бывший гроза Воркутлага погружался в идиотическую дремоту, когда Алкаш сонливо пристраивался у него под боком.

Мне-то кажется, пес до того поражен был непохожестью двух человеческих типов мужского пола на всех остальных, встреченных им в жизни, что без памяти влюбился в них обоих. Это, действительно, была натуральная влюбленность, захватывающая развитое более-менее органическое существо до полной заморозки и сладостного обмирания зрения, слуха, а в нашем случае и – нюха. Чувство осязания, замечу, необыкновенно при этом раздражается, словно исполнительный служащий, почему-либо вынужденный вдруг взять на себя функции нескольких неудержимо загулявших коллег.

Влюбленное существо просто не может порою существовать и пяти минут без прикосновения к очаровавшему его объекту, потому что прикосновения эти становятся единственной его связью с миром из-за пребывания в глуповатом обмершем состоянии прочих чувств. Без нежных и, на первых порах, невинных прикосновений очарованное существо либо себя чувствует какой-то тряпкой, выброшенной за ненадобностью из среды обитания, либо начинает принимать весь мир за крайне неудовлетворительную иллюзию.

Алкаш часами мог лежать под боком у неподвижного генерала МВД, с упоением глядя на его перекошенную наружность и потыкивая изредка нервным, сухим от повышения температуры во влюбленном теле

носом в неподвижную его щеку или в бесчувственное плечо. Восприняв как-то там прикосновения пса, генерал выпучивал правый глаз, почти потерявший уже человеческое выражение, в попытке выразить то ли важную мысль, то ли ответное чувство. Из левого же, полуприкрытого омертвевшим веком, глаза, из высохшего, словно водное устье в пустыне, уголка его начинали скудно слезиться слезинки. Тогда пес осторожно и с сердечной болью слизывал их с чуть оживших морщин окаменевшей щеки, повинувшись некой властной природной, но, вполне возможно, надмирной Силе, восполняющей беспредельно находчиво, хотя зачастую, на наш взгляд, беспредельно неразборчиво, недостаток тепла жизни в одном существе нежным и бурным переизбытком его в существе другом.

Несчастный паралитик сходил уже под себя, но пес, не чуя едкой вонищи, все старался растормошить его, все подтыкивал трогательно носом, все тихонько повизгивал, вызывая на разговор и пребывая, как бы то ни было, в некотором недоумении насчет необычности положения неподвижного человека.

Знакомый же мой наблюдал за всем этим торжеством всемирного любвеобилия с таким, как ему казалось, видом, с каким великий Ньютон посиживал, бывало, на берегу океана Истины. То есть вид у него был совершенно шизофренический – вид человека, ошибочно, к своему несчастью, возомнившего себя мыслителем-практиком марксистско-ленинского типа и осененного наконец какой-то блистательной идеей, близкой к основоположениям резкого и решительного характера.

Пес, когда ему слегка поднадоедало безответное состояние генерала, прыгивал на пол, усаживался перед моим знакомым, оцепеневшим в мыслительном трансе, и терпеливо, с глубоким любопытством наблюдал за лицом его, выразительно реагировавшим на все, что происходило в искаленном мозгу, – на перипетии

рассудительного порядка и сонмы никому неведомых видений.

Лиц, подобных лицу моего знакомого, философа, повторяю, по образованию, наблюдательный пес сроду не встречал в доме маршала, потому что на физиономиях отставных, да и многих действующих донине высших советских военачальников можно заметить всё: отвращение к послесталинской мягкотелости, чисто сексуальную страсть приказывания, патологическую жажду уничтожения каких-нибудь вражеских войск, муки боления за отечественное фигурное катание, непреходящую служебную обиду, святую память о штабной и окопной озверелости и многое другое, всегда имеющее отношение к житейским заботам безработных профессионалов бойни, – но только не следы напряженной умственной деятельности.

Правда, не угасавший в глазках боевых сподвижников маршала угрюмый огонек вполне мог бы показаться Алкашу приметой работы отвлеченной мысли, хотя была это всего-навсего примета вечного желания поддаться, сдерживаемого вездесущим нюхом «поганого, курчавого господина на четырех лапах».

Заметив осмысленное внимание пса, мой знакомый счел возможным поделиться с ним основной, озарившей мозг, философской идеей. С нею мы познакомимся чуть позже.

Мне лично не понять, каким именно образом воспринимают способные животные отвлеченную человеческую мысль, тем более мысль человека помешавшегося, но Алкаш явно был поражен одной изящной логической фигурой, выложенной ему моим знакомым в порыве неудержимого вдохновения. Он запрыгал вокруг него, восторженно рыча и так лая, что в стену бешено забарабанил прикладом именного автомата генерал-полковник танковых войск Драгунский, который, кстати, и назвал однажды, с похабной угодливостью, ненавистного ему пса «поганым, курчавым господином».

Отставной этот деятель являлся лидером всесоюзного антиссионистского комитета советских евреев и давно уже ненавидел свое происхождение, считая прекрасное это, как и любое иное происхождение, не происхождением вовсе, в своем исключительном случае, но тяжкой, почетной и ответственной партийной работой.

Побарабанив прикладом, генерал-полковник начал орать через балкон: «Вы у меня насидитесь еще там где следует... прекратить лай во время первомай... обнаглели сволочи... перрредавить всех...»

Моего знакомого все это взбесило. Он не выдержал хамства «солдафонской сволоты – этого говна-в-себе, как выражался Кант», выскочил голышом на балкон и забазлал в ответ на генеральские оскорбления: «ничтожество, чуждое коагнисцированию абстрактных идей в сфере пластики... я харкаю со своего базиса на все твои надстройки... говно собачье и собачачье...»

В общем, ответные вопли моего знакомого, сопровождаемые солидарным захлебывающимся воем Алкаша, были беспорядочными и крайне грубыми. На балконы повысыпали уже славно поддавшие жилыцы нашего «номенклатурного» дома. Показался даже Каганович, избегавший обычно демонстрации на публике каких-либо затаенных политических чувств, но дававший иногда понять, что они у него всё же имеются. Из-за плеча Кагановича выглядывали с коммунальным любопытством Маленков и Шепилов. Первого мая они непременно визитировали к дружку по фракции и обсуждали за бутылочкой «хереса» перспективы международного рабочего движения. Эти трое намекнули всем своим видом, что уж при них-то подобное разгильдяйство было бы немыслимо, и быстро удалились, так как строго придерживались положения подписки о неучастии в публичных мероприятиях.

Скандал разгорался, потому что мой знакомый запустил куском пайковой болгарской брынзы в гене-

рала Драгунского, успевшего уже скинуть с плеч голубую пижаму и надеть густоорденоносный китель. Генерал остервенело заорал – как-никак он был председателем антиссионистского комитета: «Сионист!.. Туinea-дец!.. Диссидентишко!.. Антисемит!..»

Скандал утих, когда на балконе показался поддавший маршал. Его поддерживали под руки какие-то важные шишки, при виде которых отретировались с балконов даже замминистра финансов СССР, директор рыбного объединения «Океан» и заведующая отделом врожденных уродств ВНИИ КРАСОТЫ; старая большевичка Фофанова.

«А-алкашенька ты ма-ая», – увидев слишком умного своего пса, заорал маршал и начал вырываться из рук дружков, как бы пытаясь устремиться по воздуху на соседний этаж, чтобы принести жрецу трезвости извинения за вынужденное изгнание из родного дома.

Тут тетя Нюся пьяно запела: «...такой са-абаки не видал я сроду-у». Алкаш, набравшись за каких-то десять минут различных алкогольных миазмов, уже не лаял, не выл, а бессильно и гневно икал. От спазм брюхо его так и подводило под самые ребра. Хвост его походил при этом не на бодренький, вздорный, словно отрастающий от радостного виляния обрубок, а на вяловатый большой палец старой шерстяной варежки.

Мой знакомый, у которого, кроме всего прочего, имелся острейший «синдром Кшесинской», начал, воспользовавшись моментом, декламировать какую-то ленинскую галиматью о советской демократии как высшем типе подлинного народовластия. Выступление сопровождалось всемирно известной картавостью, энергичными вскидываниями злобной, карающей ручки и еще кое-какими фиглярничаньями, навек причисленными к нашим отечественным святыням.

Высыпавшей на балконы номенклатуре вмиг стало до того скучно и стыдно, до того обострилось в ней вдруг чувство раздвоенности, что вся она, словно по команде,

сделала два шага назад – с балконов в квартиры – для немедленного возлияния и приведения себя к виду целостному и приятному.

Мой знакомый сразу сник, а пес скулил и взвизгивал, говоря хозяевам, что они – говно кошачье и плевать он теперь хотел на них, потому что бесконечно очарован неподвижным человеком, кладущим под себя, а перекособоченная его физиономия с окаменевшей кожей, с кожей до того безжизненной, что на ней даже борода прекратила регулярное отрастание, милее ему всех ихних нетрезвых, блудливых, вечно жрущих что-то, вечно что-то вякающих, осклабляющихся бессмысленных рож... а за возможность сидеть, пусть даже на голодное брюхо и с безумной жаждой опрыскать любой, даже чужой, фонарь, сидеть и смотреть на другого человека, у которого в голове происходит странная, бросающая все тело в прелестные мурашки работа – за возможность такую, плевать ему с этого этажа на колбасные обрезки, антрекоты с кровью и берцовые кости ланей, угробленных на охоте... плевать...

Тут Алкаш, то ли ради вызывающего протеста, то ли повинуюсь настырному зову нуждающегося естества, а скорей всего из-за того и другого вместе – как это случается иногда и у людей, наделенных бессмертной памятью о политическом поведении человека в здоровые древние времена, – решительно приблизился к решетке балкона, задрал мелко дрожавшую от нетерпения лапу и прерывисто ссыканул вниз. Ссыканув, очарованно взглянул на человека, имевшего в голове невообразимое количество отвлеченных мыслей, а потому и застывшего в этот момент от одной из них, с видом задумчивым, почти неземным, но вместе с тем ужасно решительным, с таким примерно, с каким повсеместно забронзовел, замраморел, зачугунел, загранитился и загипсовел любимый его учитель абстрактного мышления.

Вид этот произвел что-то чрезвычайно бурное в организме пса. Он восторженно и громко произвел звук,

считающийся некоторыми вконец обесчеловеченными технической цивилизацией и неорганической властью обывателями крайне неприличным даже для беспородных собак и домашних кошек. Мой знакомый при звуке этом вздрогнул всем телом, словно тихая лошадь от внезапного прикосновения, стряхнул с мозга наседавшую слишком уж навязчиво премилую абстракцию, возвратился к действительности и философски сказал собаке: «Посать да не перднуть – что свадьба без гармошки».

Надо сказать, что был он большим любителем и знатоком народной мудрости – пословиц, поговорок и похабных прибауточек. Они периодически выметали из его больного мозга весь тлетворный мусор умственных отвлеченностей. А не будь в природе этих превосходных уборщиков и вычистителей, то и не видать бы ему сроду временных оздоровительных возвращений к приблизительно человеческому состоянию...

Так вот – пес до того осчастливлен был интеллектуальным отношением к нему, так сказать, на равных и смыслом чудесной, на его взгляд, как, впрочем, на взгляд любого нормального человека, жизненной мудрости, что приблизился задом к решетке балкона, присел и задумчиво сосредоточился перед началом благородного действия одного из самых восхитительных устройств органической жизни на Земле. Правда, робея, подобно космонавтам, ужасного отдаления от ее поверхности, он со страхом и надеждою взглянул на моего знакомого. Он весь дрожал, устремив к нему взгляд, полный мольбы и жажды руководства собою. Мой знакомый, с неподражаемо глубоким пониманием дела, поджал губы и величественно кивнул головой. Алкаш закрыл на миг глаза – спасительная эта гримаса мгновенно роднит в известные моменты все живое, находящееся на разных уровнях развития, – чтобы, зажмурясь, отважиться на новый, неведомый ранее опыт высотного отправления большой нужды. Зажмурившись, быстро и мощно отбомбился, как говорит

бывший командующий нашей стратегической авиацией после того, как, прервав внезапно игру и передав костяшки «козла» Кагановичу, возвращается из домового бомбоубежища, давно загаженного доминошными пенсионерами.

Не могу не заметить тут, что разнузданное поведение бывшего командующего армадами бомбовозов и прочих его партнеров по забиву «козла», хоть и возмущает многих жильцов нашего дома, хоть и внушает оно им отвращение и гигиеническое беспокойство, но не подвигает, однако, ни на открытые протесты, ни на тайные жалобы.

Наоборот, такое вот «насирательское» отношение безусловно высокоосведомленных лиц именно к бомбоубежищу, сообщает обывателям, воротящим свои капризные носы от подземного смрада, весьма оптимистические надежды на то, что ядерного нападения США на предололимпийскую столицу в ближайшее время, видимо, не ожидается.

Но вернемся к собаке. Явно обладая умом аналитическим, а оттого и любопытным, Алкаш, отбомбившись, молниеносно повернулся вокруг себя на 180 градусов, чудом протиснул голову промеж балконных прутьев, разинул пасть и с волнением, природа которого для меня непостижима, с прямо-таки космическим холодом в сердце, устремился взглядом за своими желто-бурыми «бомбешками», чтобы ни в коем случае не прозевать момент их приземления. Мой знакомый тоже наблюдал за их свободным падением со все глубже и глубже проникавшими в его душу тоскою и унынием – этими предвестниками беды внезапной и непоправимой.

Всего какое-то ничтожное количество времени продолжалось падение злосчастных «бомбешек», но его вполне хватило для всего, неотвратимо последовавшего в дальнейшем.

В вечно философствующем мозгу моего знакомого едва успела промелькнуть пронзительная, жалостная,

резко антидетерминистская мысль насчет «практической необходимости предварительного отсеечения нежелательных *следствий* от некоторых удивительных *причин*»*, как на балкон второго этажа выскочил вдруг форменный бугай – директор закрытого спецгастронома Гознак Иваныч. Он свесился через перила, чтобы половчей изловить подкинутый супругой ненужный ей – дуре – зонт, и вот тут-то собачьи «бомбешки» шмякнулись прямым попаданием, правда, задев слегка левое ухо, на тройной его, бычий загрызок. Звук, раздавшийся при этом, был необыкновенно смачным, громким и объемным, какой бывает обычно при пощечине, влепленной вам или вами в удачной акустической обстановке. Мелкие ошметки «бомбешек» отрикошетили в стоявших позади Гознака Иваныча гостей и частично полетели вниз, прямо на супругу пострадавшего, а также на флаг нашей сверхдержавы, вывешенный по случаю праздника над подъездом..

Мой знакомый, хоть и был он в совершеннейшем ужасе и смятении всех чувств, хотел было благородно отстранить пса от всего этого дела с тем, чтобы взять на себя как на человека официально невиняемого собачью неумышленную вину. У него уж и версия вполне приличная обмозговывалась в голове насчет «*подлинно* свободного падения тел в условиях развитого социализма, находящегося в первой фазе коммунистической формации»**.

Всё, разумеется, происходило гораздо быстрее, чем я излагаю. Алкаш, от какого-то нам неведомого изумления, не оповестил, как обычно, весь мир восторженным лаем: «Свершилось!» – но рвался понять происшедшее. И если бы он был столь же узок в плечах, как борзая – практически плоская собака, – то и шлепнулся бы навер-

* Из письма моего знакомого, пересланного с подкупленным санитаром.

** Из того же письма.

няка следом за своими «бомбешками» на чью-нибудь невезучую голову.

Мой знакомый начал выдергивать пса с балкона, но то ли к голове его, застрявшей промеж прутьев, прилипла от этого самого изумления кровь, что иногда делает голову намного крупнее, а уши растопыреннее, то ли он намеренно упирался каучуковыми подушечками лап в бетонное покрытие – выдернуть его никак не удалось. Чувствовалось, что всеобщее изумление, породившее на какое-то время мертвую тишину, вот-вот разорвут первые звуки жуткого скандала. Мой знакомый схватил пса двумя руками за обрубок хвоста, но тот вилял им так сильно и самозабвенно, что знакомого моего просто начало мотать, словно тряпку, из стороны в сторону. В этот миг, полностью соответствуя положению истории своей болезни о «периодически наступающих потерях чувства реальности», он завопил: «Па-а-апа!..» Ответа не было...

Гознак Иваныч – прошло всего-навсего несколько секунд после прямого попадания – всё еще свесившись вниз, тоже пребывал в некотором изумлении и даже благодушно подумывал, что гость начал шутливо пошаливать, ватага дружков за спиною Гознака Иваныча задыхалась уже от первого спазма беззвучного хохота. Подумывал он: «Какая же бестия, лярва, понимаешь, печеночным паштетом меня поцеловала?» Но приблизительно знакомый запах враз заставил его мотануть бычиным загривком – сшибить к чертям какую-то дрянь. Супруга Гознака Иваныча успела на этот раз увернуться от попадания и до нее до первой дошел наконец смысл случившегося...

Вопля ее, бросившего в ужас всех его услышавших, описать невозможно. Было ясно, что если бы на голову ей внезапно свалился с балкона сам Гознак Иваныч, то вопль был бы иным, более интеллигентным что ли, менее утробным и не таким допотопно-зверским. Вопль этот мгновенно перемалывал на мелкие кусочки слова,

вылетавшие с ним одновременно из начальственной глотки Ниины Орденовны. Названа она была так пораннесоветски в честь НИИ, в котором работал ее отец, Орден Трофимович, за большую взятку и из карьеристских соображений переименовавший себе имя в тридцатые годы – годы великих перемен.

Перу моему не под силу описать сколько-нибудь реалистически, а тем более поэтически, картину всеобщего дворового и домового скандала со всеми трагическими сценами, невообразимыми репликами и фантастической логикой поведения участников... Не под силу...

Скажу только, что первым делом, задолго еще до принятия очистительного душа и орошения заливкой бутылкой французского одеколона «Портос», Гознак Иваныч начал отчаянно мудохать свою Ниину зонтиком, рыча при этом: «С ним ты не могла пойти?.. С ним ты не могла пойти, сукоедина?»

В строго философском смысле, как впоследствии считал мой знакомый, Гознак Иваныч был прав, потому что зонтик, вернее желание Ниины Орденовны во что бы то ни стало возвратить его с улицы прямо в квартиру, могло сойти за первопричину случившегося. И, мудохая супругу зонтиком, Гознак Иваныч, подобно многим людям, из среды которых выходят историки, начисто лишённые чувства трагического, спецы по советскому праву, профессиональные демагоги ЦК КПСС, туповатые учителя, дубовые околдочные и, не лишне будет заметить, «просвещенно» философствующие юдофобы, а также безумцы вроде моего знакомого, ожесточенно думал о том, что было бы, если бы зонтика этого проклятого не было?

Всё же его как-то уняли. Всех гостей вместе с супругой он сразу повыгонял, гоняясь за ними по квартире с почетным серебряным топором, полученным из рук Микояна за внедрение в торговлю прогрессивного метода пересортицы мяса, благодаря которому обыватель

ничего не терял в смысле веса, а правительство и мясники получали сверхприбыль.

Разогнав гостей – подлый их хохот Гознак Иваныч поклялся не забыть вовек, – он собрал в фужер смердевшие еще на балконе вещественные доказательства, подхватил почетный топор и направился было к лифту. Спohватившись, вернулся, вылакал из горла полбутылки «Двина», сказал с бесконечным сарказмом: «Первое мая, блядь», – и тогда только поднялся на лифте к квартире моего знакомого.

Намерение у Гознака Иваныча было простое и твердое. В предвкушении справедливой мести он думал: «Сначала разрубаю вдоль, потом – поперек... мы не в царской России... у меня, понимаешь, Галина отоваривается прямо в кабинете... а субпродукты я этому шишику вокруг шеи наматую...»

Но мы тут не будем думать, подобно вышезаклейменным типам людей: что было бы, если бы Гознак Иваныч завалился в квартиру моего знакомого пятью минутами раньше?... Кровь леденеет в жилах... Слава Богу – этого не произошло.

В квартире уже шумели маршал, тетя Нюся и пара маршальских дружков. Все они пытались высвободить Алкаша. Тот начинал выть от боли и ужаса, когда его дергали за ноги и пробовали сплющить хоть немного с боков.

Маршал имел неосторожность заметить при этом, что с решетками в нашей стране не всё еще обстоит благополучно, ни на мизиничный ноготок не углубляя подтекста. Мой знакомый, однако, вмиг встрепенулся, позабыв о причинах происшествия и набросился на маршала с воплем: «Вот где окопалось инакомыслие... вы отрицаете наши достижения... как вам не стыдно было сражаться за Родину?...»

Тетя Нюся успела шепнуть маршалу: «Не связывайся, Никиша. У него первая группа», – и в этот момент, вышибив дверь плечом, в квартиру ворвался Гознак

Иваныч с почетным серебряным топором, занесенным над головою.

Увидев маршала, хоть тот был всего лишь в наполовину парадной форме, то есть при всех орденах, медалях и позументах, но в выцветших ситцевых шароварах, яростно обиженный мясник слегка растерялся, изменил направление и дал понять, что собирался поугатать не собаку, а «шизика».

Оба маршальских дружка, бывшие в штатском, воспользовались его растерянностью и вытащили из карманов трофейные еще «вальтеры», из которых они любили палить в небеса во время различных праздничных салютов.

– Сдать холодное оружие! – немедленно приказал один из дружков.

– К ноге! – скомандовал другой. – Я тебе, мерзавец, покажу партизанщину.

– А вы, если б вам на голову сверху насрали, улыбались бы вы что ли, товарищи? – возопил обиженный.

– Если б да кабы, не нужны были б генеральные штабы, – по-кутузовски отбрил его маршал, преградив дорогу к вышедшему Алкашу.

– Нам, господин, не дерьмо собачье некогда валилось на головы, а кое-что посерьезней. А вот – выжили и Родину спасли, – сурово сказал дружок маршала.

– И улыбались при этом, не пряча головы в кальсоны, как некоторые нынешние «величайшие полководцы», – осмелившись на глубоко антиправительственный намек, добавил второй дружок маршала.

– Тебя что – контузило? – пошел в наступление маршал. – Распустил вас тут комиссар. С серебряными топорами разгуливаете?

– У меня, между прочим, Галина отоваривается, – вякнул по тупости Гознак Иваныч, до которого, хоть и был он грубой дубиной, дошли оппозиционные намеки отставных сталинских военачальников.

– Блядь... блядь... блядь твоя Галина, – взорвался маршал, – ей давно пора из жопы ноги повыдергать. Бриллиантица... покупает за валюту наших парней призывного возраста... тыловая блядь... семеечка эта вот-вот у нас доиграется...

Тетя Нюся во время этого разговора до того додержала бедную собаку за ноги, что у Алкаша сил больше не было выть. Он только горестно поскуливал и задерживал иногда дыхание, чтобы только не воспринимать ненавистного сивушного запашища.

Мой знакомый совершенно очумел вдруг от такого количества инакомыслия в своей квартире, да и вообще напор всего случившегося в тот праздничный день слишком уж был тяжел для его стебанутого как-никак мозга. Окончательно поехав, он перестал дрожать от вполне нормального страха, подошел к Гознаку Иванычу и сказал:

– Нелепо инкриминировать животному того, чего оно априори не могло совершить. Невозможно представить, не сдав позиций субъективному идеализму, опережения причины следствием. Как, позволительно спросить у господ эмпириокритицистов, собака могла субъективировать вниз экскременты, если задняя ее часть находится не над землею? – Все присутствующие враз бурно отделились процессу осмысления сказанного, уставившись псу под хвост, и свет понимания озарил их угрюмые лица. – Нонсенс, – продолжал мой знакомый, – торжествующий нонсенс!

– Кто же тогда гадит в доме? – сказал Гознак Иваныч.

– Эрго – ваш покорный слуга, – доверчиво воскликнул мой знакомый и рассмеялся со светскою непринужденностью.

– Больше некому, – сказал маршал, взглянув испытывающим взглядом на генерала-паралитика.

Казалось – ничто уже не могло удержать в тот миг Гознака Иваныча от занесения почетного топора над

головую сумасшедшего человека, и он безусловно разрубил бы его до основания, а там бы тот сам, как шутят у нас в народе, рассыпался, если б не молниеносный бросок Алкаша. То ли морда собачья осунулась постепенно от нервотрепки и повсеместного скопления алкогольной вонищи, то ли вывернулся он случайно из натуральной головоломки, как выворачивается иногда из головоломки игрушечной скоба или колечко, но, почуяв опасность, угрожавшую новому странному другу, высвободился он, бросился прямо под топор на грудь обезумевшего Гознака Иваныча и завалил его на пол. Огнедышащая пасть собаки и бешеный оскал ее клыков подуспокоил покушавшегося, который вмиг сообразил, что всё получилось к лучшему, хотя – это успело промелькнуть в мозгу – от любого худшего его вызволила бы Галина, дочь Леонида Ильича, совместно с замгенпрокурора СССР по высшей мере Скончаевым.

После всего этого общий напряг как-то пошел на убыль. Собаку оттащили от добавочно пострадавшего Гознака Иваныча совместными усилиями. Алкаш не мог уже успокоиться и кидался на всех поочередно, поскольку навек был, так сказать, запрограммирован на агрессивное отношение к выпившим людям.

Гознак Иваныч первым вырвался из квартиры, пообещав всего этого так просто не оставить. За ним вырвались остальные.

Не забудем, что в это самое время окрестный люд с ярою спортивной злостью и с неслыханным азартом поглощал спиртные запасы. Все чувствовали себя обманутыми. Разнесся слух о том, что правительство намеренно спровоцировало как пьющее, так и не пьющее население на форсированную закупку коньяка, водки и портвейнов с тем, чтобы бороться с инфляцией его же руками.

Никто, разумеется, не заикался ни о каких открытых формах мести, хотя многие болельщики приняли в те дни вполне самостоятельное мстительное решение

тайно болеть на Олимпийских играх за какую-нибудь каплаговскую команду, делая, однако, вид, что болеют за спортчесть своей Родины.

Первое мая сообщило, ко всему прочему, отчаянно-вынужденному, массовому запою разнузданный праздничный характер. Скандалы, возникшие по вине нервного пса, который по таким большим праздникам чувствовал себя совсем уж не в своей тарелке, нисколько не сбавили темпов общего веселья, не уняли застольного желания пить во все горло, снова пить и снова вкусно закусывать.

Во многих квартирах возникали деловые разговорчики насчет возможного освобождения квартиры моего знакомого, потому что Гознак Иваныч, а особенно супруга его, Ниина Орденовна, громогласно объявили с балкона, что знакомый мой «проведет остаток своих дней на Канатчиковой, где он может ходить под себя сколько ему влезет».

Острожелающие расширения жилплощади, в том числе и Ниина Орденовна, расчетливо и не глупо сообразили, что генерал-паралитика теперь-то уж наверняка поместят в какой-нибудь дом для престарелых чекистов, откуда он никогда не выйдет. Вокруг квартиры его начнется интриганская возня. К ней надо соответственно подготовиться. Заручиться поддержкой членов домового комитета, зазвав их срочно в гости и настроив против враждебных группировок.

Слухи о готовящемся водворении моего знакомого в психушку дошли до тех, кто закладывал у него разные документы, ордена и антикварные ценности, а заодно и до начинающих авантюристов, и вот как драматически развивались последующие события.

Как только компашка маршала вместе с невезучим Гознаком Иванычем покинули квартиру моего знакомого, Алкаш вновь вспрыгнул на кровать и улегся рядышком с бессловесным генералом. Улегшись, принял решение не возвращаться больше в дом маршала и не

иметь никаких дел с тетей Нюсей, вывихнувшей ему слегка ноги при вызволении остального тела из случайного капкана.

Как уж там оформляются нейрофизиологически собачьи решения и как окостеневают они в существе животного, превращаясь в никем и ничем неразрушимые принципы поведения и, смею утверждать, мировоззрения, бихевиористам ни черта неизвестно. Но и без бихевиористов ясно было по виду пса, что старый хозяин брошен им навсегда.

Алкаш, скуля, облизывал неподвижную физиономию бывшего воркутинского владыки, но вдруг начал угрожающе рычать, оскаливать клыки и старался что-то такое сделать с кожей спины, чтобы встала на ней дыбом жесткая и курчавая шерстища. Затем внезапно поджимал хвост и, тоскливо визжа, засовывал голову под подушку.

Одним словом, круто изменившая судьбу свою собака поразительно напоминала всеми нервными, несдержанными жестами и вскрикиваниями милую женщину, только что, к своему удивлению, сбегавшую от алкоголика-мужа к человеку положительному и в высшей степени кроткому, но преследуемую даже в мимо-летней, хрупкой дремоте мужниными безумствами, а потому и ищущую истерически защиты у нового, впавшего в полный столбняк от такой неожиданности, покровителя...

Пару раз Алкаш, просто выведенный из себя зрительными и слуховыми галлюцинациями, спрыгивал на пол и, бешено отлаиваясь, пятился задом к балкону, как бы намекая на то, что он скорее допытится вот так до самой бездны и рухнет в нее, чем изменит бесповоротное решение.

Что происходило при этом с психикой и душевными чувствами парализованного генерала, останется неизвестным. Но он что-то тихо мычал, а глаза его, и без того выпученные, странно рвались из орбит в попытке

выразить то ли чувства, то ли мысли. А ведь того и другого должно было быть огромное количество в давно остолбеневшем существе знаменитого сталинского лагерначальника.

Я-то уверен, что собака правильно и тонко воспринимала все его умственные и душевные движения. Будь на месте сына этого пригвожденного не стебанутый учитель марксизма-ленинизма, а вполне нормальный какой-нибудь дурак, он непременно приметил бы слабые, почти неуловимые, но все же совершенно явные признаки воскресения безжизненной, в известном смысле, человеческой натуры.

В ней, обретшей вдруг от порыва необъяснимой собачьей любви некую целостность, могли вскипеть зловредные яды чувств и мыслей поистине адских, принявших вид тупого, бессильного проклятия всему ненавистно живому. В приблизительно таком виде бывший генерал и профигурировал почти всю свою жизнь до удара. Но что, ежели под воздействием собачьей любви и ласки в натуре человеческой произошло нечто до того откровенное и всеочистительное, называемое в совсем иных случаях самораскаянием, нечто до того восстанавливающее в помутненном рассудке и омертвелом сердце больного или страшного грешника Образ Жизни и Образ Мира, что затрепетала в грешном больном бедная, изначально наивная Душа, как трепещет она в окровавленном плоде людской любви, вышедшем только что на свет Божий из разверстого чрева матери? Что тогда?..

Мой знакомый был в стороне от всего происходившего с его родителем и с собакой. Он выводил на оборотной стороне куска обоев явившуюся ему наконец-то гениальную мысль. Выводил тряпочкой, намотанной на огрызок карандаша, окуная тряпочку эту в пузырек с чернилами, и ничего, естественно, вокруг не замечал. Из глаз его текли счастливые слезы, из носу – от ненормального перевозбуждения – сопли, он кусал губы, и с

них срывались бессмысленные слова – случайные ошметки философских знаний. Изредка застывал недвижимо, как бы отстраняясь от мощи нестерпимого, упоительного глубокомыслия.

В мозгу его не было также представлений ни о времени дня, ни о ситуации в доме, ни о тревогах опустившихся людей, заложивших у него всевозможные вещи и документы. Он рвался душой, как говорится, и телом посочувствовать тому, что открылось ему в эту звездную минуту.

Запечатлев мысль, рассмеялся выбивающим слезу из ока смехом, в котором только опытный наблюдатель сейчас же заметил бы жалобное дребезжание болезненной театральности. Театральность эта, сжимающая сердце ваше внезапной болью, словно чужая открытая рана или горе постороннего человека, невольно производит страшное подозрение. И вы думаете: а что же это за режиссерище поганый проник то ли в разум, то ли в душу помешавшегося и все репетирует, сволочь, репетирует черт знает что и потирает ручки, довольный развитием отвратительного спектакля?

Никому, конечно, не додуматься: ЧТО именно представляет из себя режиссерище, но ужаснувшая вас театрализованность любого маниакального разговорчика стебанутого человека – а сколько их, этих несчастных, в пределах нашего мира! – театрализованность любого его, особенно величественного, жеста, не говоря уж о смехе, резко контрастирующем с выражением жуткого страха и азартного любопытства, застывшего в глубине глаз – образ детишек, чумеющих от фильма ужаса, – все это повергает вас в нерасхлебываемую кашу неотвязчивых, печальных мыслей о беззащитности нашей психики и легкости, с которой внушаются ей, черт знает опять же кем, всякие безумные представления. И вы, повторив про себя откровенный вопль поэта, чужавшего при всем своем душевном и умственном здравьи непосредственную близость адских

бездн безумия: «Не дай мне Бог сойти с ума!» – все же не избавитесь уже вовек от беспокойства, сводящего спину внезапной дрожью общей гадливости, что и вас порою КТО-ТО затягивает в поганую самодеятельность, где под гипнотическую суфлежку во-вот понесете вы несуразную чушь, черт знает что вытворите и дребезжаще при этом захохочете...

Кстати, правительство наше потому и подвергает сотни людей принудительному «излечению» от того, что ему мерещится безумным в образе поведения и умствования обывателя, что оно достаточно маниакально представило себя Богом по отношению ко всем нам и, что еще печальнее, по отношению к самому себе. Укрепившись же за полвека с лишним в этом бесчеловечном представлении, оно делает всё, что взбредет в его очумевшую голову. То есть сводит массы людей с ума, *дает* им сойти с ума и считает массы самоубийственно мыслящих безумцев послушными гражданскими толпами. Нормальным же людям, вставшим либо на защиту своего личного достоинства, либо вслух удивившимся очевидным безумствам социальной, культурной и внешнеполитической жизни страны и лживым выкрутасам поведения правительства, правительство *не дает*, по преступному его убеждению, *сойти с ума* и насильно уволакивает их в психушки, где и залечивает частенько до необратимой стеганутости...

Безусловно, мой знакомый был одним из тех, кому правительство *дало сойти с ума* еще в юности, но безусловно и то, что «излечивать» в психушке следовало поначалу не его, а правительство, поскольку весьма странно пытаться избавить человека от кашля, напаяливая на кашляющую физиономию звуконепроницаемый намордник, но оставляя при этом в покое причинных, поразивших гортань микробов...

Он долго еще любовался пришедшим на ум философским открытием и абсолютно был уверен как в теоретической, так и в практической его универсальности.

Полюбовавшись, свернул крупно исписанный свиток обоев в трубочку. Праздничность взволнованного состояния сама собой подвигла моего знакомого к мысли насчет прибарахлиться. За будничной своей одеждой он никогда не следил, вернее забывал о ней, хотя непонятно почему брюки его, рубашки, галстуки и купленный некогда в «Березке» плащишко, давно позабывшие о стирке, глажке и химчистке, выглядели всегда довольно свежими. Только тихонький какой-то, стойкий и ни с чем несравнимый запашок – запашок вещей, вынужденно пребывающих в невозможно унижительном для них качестве и издевательском долголетьи, – говорил вам о беде, о запущенной болезни существования безумца.

В акции, на которую он решился, несколько ее предварительно не обмозговывая, всё должно было быть прекрасным – и глаза, и одежда, и мысли. Глаза уже восторженно сияли и даже слезились сентиментально от излишнего восторга. Мысль, запечатленная на обойном свитке, была... была... была... «Катаклизм в истории философии... ..эпоха... вершина... рассвет советского картезианства, эрго – народовластия...»

Выкрикивая это с вызовом, он распахнул на глазах безмолвного родителя дубовый шкаф. Там много уже лет висела генеральская одежонка, порядком изъеденная вольною молюю. Напялил первым делом на голову фуражку. Не заметил того, что целыми остались от генеральской фуражки лишь золотые позументы на черноблестящем козырьке и не съедобный для моли околыш. Но размер головы у моего знакомого был намного больше и только поэтому фуражка не сползла ему с макушки на шею.

Глазами своими, и без того выпученными, паралитик как бы пытался одернуть безумца-сына. Он что-то мычал. Алкаш, остро желая перевести мычание на собачий, выразительно полаивал. Мой знакомый не обращал на них внимания и уже натягивал на себя брюки

с лампасами. Затем надел перед зеркалом парадный китель с многочисленными орденами. Обычно ордена держатся на кителе, но на этот раз китель держался на орденах, потому что материал его до того обветшал от спертого многолетнего хранения и полков насекомых, осаждавших его все это время, что был немногим тяжелее воздуха и просто прилип к голому телу, чтобы не пасть в окончательный прах. Генеральские брюки были примерно в таком же тленном состоянии, и ноги моего знакомого казались кривоватыми стволами какого-то экзотического, инопланетного растения, источенного сплошь инопланетными же паразитами. Не забыл мой знакомый прицепить на себя и ремень с кортиком, которые выглядели как новые и блистали золотым материалом, явно гордясь, что моли он не по зубам. Со штиблетами тоже ничего особенного не произошло после того, как генерал-начальник Воркутлага брякнулся во всем своем парадном облачении в театре, услышав достоверное известие о смерти начальника всего Соцлага. Брякнулся и больше никогда уже не принимал вертикального положения. Штиблеты имеют такую зловредную особенность – стаптываться, жухнуть и трескаться намного раньше остальных частей хозяйского туалета, пока хозяин сравнительно здоров и вообще жив, но переживать на многие годы все эти кителя, брюки, носки и кальсоны после смерти хозяина или прекращения его передвижений в пространстве.

Именно из-за такой вызывающей зловредности штиблетов, которые увидел генерал в наклонном зеркале, его чуть не прошибла последняя кондрашка. Необычная активность чудесного, неподвижного существа так взволновала пса, что он начал стаскивать с него зловонное одеяло.

Однако он никак не мог помочь генералу ни приподняться, ни произнести какую-нибудь команду, один лишь звук которой мгновенно парализовывал волю и достоинство подчиненных в иные, служебные времена.

От невозможности предупредить дальнейшие действия безумного сына, а заодно и плюнуть в ухмыляющуюся рожу штиблета левого и в сияющую перед выходом харю штиблета правого, на губах генерала запузырилась пена. Оба глаза просто выходили из себя в немом отчаянном вопрошеньи.

До моего знакомого, успевшего уже уложить в рюкзак кое-какое альпинистское снаряжение, дошло наконец беспокойство родителя.

– Следуя на демонстрацию, – сказал он. – Несу Декарта, поставленного с головы на ноги впервые в истории. Транс-па-рант. И ходи тут не под себя, а в себе, как говорил путаник Кант.

Затем он привязал к ошейнику Алкаша ремешок от своих брюк. Пес, почуяв близость прогулки, спрыгнул с кровати, но пролаял любимому истукану, что скоро возвратится и вновь примется его тормозить.

Мой знакомый последний раз требовательно проинспектировал в зеркале свою внешность. Наверняка он остался собою доволен. Благодаря навек покоробленному чувству реальности какое-либо явление, даже явление самих себя, видится безумцам не в лучшем и не в худшем виде, а поистине в другом, ни с чем не сообразном свете.

Даже паралитик содрогнулся, следя глазами за величественным фиглярничаньем маньяка перед зеркалом... Фуражку он надел немного набекрень, вызвав на миг этим ужасающе жалким кокетливым жестом в памяти несчастного отца образ жены его, наводящей на себя марафет перед походом в Дом культуры Воркутлага... Привел в порядок орденский баральефчик на груди... не положено налезать «красному знамени» на «ленина», а медали «за оборону Москвы» на «знак почета»... не положено... «Кутузов» же второй степени тоже торчит вверх тормашками, наподобие Декарта до моего вмешательства...

Орден «Отечественной войны» мой знакомый снял с груди вместе с истлевшим куском кителя, чтобы не потерять в хождениях по городу, после чего взял под мышку исписанный свиток, сдернул собаку с кровати, поправил рюкзак за спиною и вышел из дома.

Генерал же спасительно забылся в очередной раз в воспоминании о давних днях и событиях...

Генералов и даже маршалов в нашем доме проживало множество. Их привыкли видеть и в парадной форме, и в штатском, и в полосатых пижамах. Может быть, поэтому на моего знакомого никто тогда не обратил внимания. Кроме того, день был праздничный, обыватель так или иначе окосел и приглядываться, как во времена пристально-раздражительной трезвости, к мельтешащим повсюду соседям не желал.

Если бы в такой вот день вам вздумалось возопить с балкона или из окна о неотложной помощи, о том, что дубасит вас палкой твердокопченной колбасы товарищ по застолью – дело было однажды с замгенпрокурором СССР Скончаевым; что погибает ваша мама от сердечного приступа; что взорвалась газовая духовка; что прорвало канализацию – архитекторы вредительски не учли резкого увеличения нагрузки в трубах, особенно в дни первоя; если бы на ваших глазах погрузили в грузовик все имущество дипломата, бывшего с семьей на чужбине, и даже изнасиловали пьяную народную артистку РСФСР – никто не обратил бы внимания на ваши вопли, а сами вы впоследствии удивлялись бы, что «ничего такого в смысле изнасилования не заметили».

Только такой вот потерей в праздничный день всякой наблюдательности и вообще бдительности жизни можно объяснить то, что мой знакомый, выглядевший, согласитесь, весьма необычно в полуизглоданной молью генеральской форме, при собаке, с рюкзаком за спиною, с торчащим из фуражки затылком и почти при всех орденах, не привлек к себе трезвого внимания обывателя.

Правда, первомайский день клонился уже к закату. В сумерках подвыпивший прохожий как-то инстинктивно переносит центр своего внимания извне во внутрь, шарахаясь от надоевших демонов действительности, и как бы отключается от нее на непродолжительное время, а многое необычное относит тогда не к ней, но к каверзам расшалившегося воображения.

Так или иначе, но знакомый мой все же прошагал по всей Фрунзенской набережной с частыми – из-за мочеиспусканий Алкаша – остановками и вынужденными кружениями вокруг облюбованных фонарей; миновал Волхонку, Манеж, Охотный ряд – не забудем, какое там в такие сумерки количество гуляющего обывателя, в том числе и отставных, неряшливо одетых офицеров в фуражках и без фуражек, – покрутился, опять же из-за Алкаша, в гомосексуальном скверике перед Большим театром; всплакнул, взглядевшись в громадные физии Маркса-Энгельса-Ленина, заляпавшие чудесную колоннаду белокаменного красавца; потом постоял задумчиво у памятника драматургу Островскому, шепнул ему: «Не было ни гроша, да вдруг алтын», – дернул за ремень Алкаша так, что тот присел на мостовую от удивления, и решительно направился к своей цели – Лубянской площади.

Окончание в следующем номере

ЖИЗНЬ УРБАНСКАЯ

1

Приезжай! Здесь, представляешь: небо,
где шаров и баллонов – что облаков, –
напавлинено к Пасхе. Да и – треба
потрепаться о жизни, где я таков.

О незванской. Не потому, что «не звали».
(Звало всё: даже сам запрет,
и сезамы, и сальвадоры дали...)
Но потому, что Званки-то нет.

А есть – иное. И надо: из –
(маленькая, как прививка, смерть),
и – по аглицки... А ты не бойсь.
Живым, и – на Тот Свет!

И: за-; и в-, словно глаз под веко, –
на прогулку гулкую за кордон.
Америка – это библиотека.
Два берега. И – мой дом.

Где мимолётом гоняют кроссы
полуголые ангелы, и: гули-гули
о том, как фиалки да крокусы
листки порасстегнули.

Посреди кукурузного океана,
в середине Мира, где пуп, –
графство Шампанское (да, так!); Урбана;
и, – сердцем ткнутое: тут.

Тут. Потому что досюда – достигну.

И – в тутошнее вбычилась ось.

А если Воля – не там, где Родина, –
так даже бабы, и то: не нашлось...

Да простят меня любо-люды и милы,
я ведь верил вам: ваво- и юле-веры,
и вы были со мною милы (в июле).
Но встречной, увы, я не увидел веры...

Вот «про это» я тебе и толкую:
– Женя, найдёшь крутопопую
пуэрториканскую эдакую, такую, –
вдову протопопову...

И – в Минехаху, а то – в Кикапу,
в Пивуоки, в Чатанугу с Чучею,
на чувачную – ту, что по броду – тропу:
по раста-барам тебя попотчую...

А в полночь – банальней, чем Травиата, –
у поэта (за это!) попросят автограф
только на чек... Да, в тридевятом:
кто с шампанским, тот граф!

Но. Если Москва бьёт с носка
(для тебя это отнюдь не эврика),
не расслабляйся и здесь пока,
ибо – мордой об стол – Америка.

2

Осеняемый кленом и ясенем,
он стоит, небольшой, да мой,
что моим рас-шампанским сиятельством
называется: «дома», «домой»...

Дом... Не даден двубортнейшим дядею,
а: недвижимо-собственный, свой.
Он и в Званку тебе, и в Аркадию
обращен и сюдой, и тудом.

Да, и труд, а и жоржики-денежки,
и долги, да какие (ништjak!),
без которых не дёрнешься-денешься...
Я – так точно. И тост натошак

так и просится по-Северянину:
в луны – выдави солнечный джус!
Веком заживо посеребряемый,
ничего, – моложавлюсь, гожусь.

Да и сколько бы лет ни урезано:
только с тысячью – вместе на слом!..
Жизнь такая интекурсная, –
люб любой: или день, или дом.

Урожаями грузно-беременна.
с полу-мельком японских тойот,
здесь кругом кукурузная прерия:
– То ль не любо, товарищ койот?..

Иллинойщина – вот она, вотчина,
край початочный, как при Хруще...
Наша с Лялей: Урбано-городчина,
рай шалашный – и так! – вообще.

В смысле: в этом смесительном таборе
всё овамо и тамо, – путём...
И кибитка моя – комфортабельна.
Средний Запад. И я тут при том.

В купках гинкго и вкупе с секвойями
до чего же мне нравится свист

кардинала за мягкими хвоями:
преподобен, а как голосист!

Попахав это поле страничное,
хорошо: деньги вкладывать в рост;
стричь лужайку, где смотрит придиричиво,
как в мундире инспекторском, дрозд.

И зверью тут – лафа, жированьице;
всякой твари – по паре, всем – дом.
(Братец кролик, а прав добивается:
забастовками, что ли? Судом?..)

Хорошо: колесить, куда хочется,
словно геммы, глядеть города
(кроме бывшего хмурого Отчества)...
Погулял, и – до дому. Сюда.

3

А если Вену, Рим, Берлин или Париж
ты сходу про: фу-фу в воздушном перемахе,
то это место – здесь, где оду ты родишь, –
американский супермаркет.

Что да, то да: дают... Дрозда, и вообще!
Вот это – торжище, до горизонта – снеди:
Хеопсы разных блюд, Кавказы овощей
под блюз, и в мыслях об обеде.

Обрызган пырьсю льда, курчавится летук;
пучками рдятся бело-пыпочки редиски;
темнозелёно-жгуч, и злющ, и связан: лук...
Не оду – ты, а сам: родился...

В мороз, а и в жару всегда прохладнопуз,
то – оклубничен, то – в картечинах черники,
с пупами-дынями здесь бабится арбуз.

Ему и козыри – не пики.

Не вини-козыри, но кстати о вине...
Всё серебро в Шабли, а золотишко – в Рейне:
калифорнийская лоза, она вполне...

Сама ползет в стихотворенье.

Как с нею хороши: креветок нежный хрящ
и жирных устриц слизь, что спрыснута лимоном;
с кедровым ядрышком форель: поджар хрустящ,
а мякоть – с розовым изломом.

Там пальмовы сердца секутся на куски:
где спаржи пук – Шекспир, а Пруст – ростки фасоли;
и Джойсом артишок: то иглит лепестки,
то с маринадом расфасован.

Вот лазает в воде чудовищный омар,
а, скинут с кипятка, зане прекрасен витязь,
что – красен, и в броне. Крушите, стар и мал,
с топленным маслом насладитесь!

Вон кружка: бок в росе и пена набекрень, –
отрадно-горек Пабст, и Огсбургер, и Пильзень.
Колбасный арсенал, ветчинный потетень!

Копченых дрынов полный список...

Но если угощать – тогда в 2 пальца стейк,
и – 5 минут на сторону – на гриле...
Прости мой англицизм, – я точно не из тех,
кто б волапюком говорили.

А просто слов таких «в забавном слогe» – нет.
По-русски ли сказать: «бифштекс» и «на мангале»?

И прыщет сок мясной, когда мы с Каберне,
а то – с Бургундским налегаем.

Жизнь в общем удалась. Плесни на дно коньяк,
давай расслабимся... Теперь стихи попросим
друг друга почитать. – Полцарства за коня,
за папиросу б! Да курить я – бросил.

4

Кто отхватил сии: и земли, и стада?
Аэропорт, отель, театр – кто заграбастал?
Кому принадлежат сады: туда-сюда?..
Ты прав: маркизу Карабасу.

Ему: и даже тот за дальним полем лес...
Его – издательства, и зданья, и газета;
его и ловкий кот, что в сапоги залез:
маркиза Университета!

И даже я, его с проплешиной вассал,
взял греческое «Пси» и жестом «Тэту» кинул,
Орфеем эдаким, и оду возбрыцал,
урбанистическим акыном...

Что вижу, то пою: зрю – Университет, –
луг – и студентами вдруг запестревший кампус.
Кто – с голубым пером, кто в тоге, кто и нет:
афро-корее-инде-канцы...

Чему учен, учу: с 12-ю моих
я под пятнистым и развесистым платаном
витийствую вовсю. И вместе русский стих
мы расплетаем-заплетаем.

Не чудо ль, что среди венеро-марсиан
«Соседа Котова» сужу я по науке:
виρшеслагателя, цензуры – где изъян?
в России бы не зрели буки.

И вот – 12! Бьёт раскатистый курант.
Ланч-переланч. По мне – обед книго-червячный.
Пустеют поприща... А я тому и рад,
что труд и ячневый, и вящий.

Библи-отеческий, иначе говоря.
Читаю здешние, и ваши альманашки,
где тужится поэт, лирически буря
бурят. Но хороши и наши...

Нет, хуже. Потому: рабы наоборот
(зачем уехали?) оттискивают в книжки
все фобии, что в них копились наперёд,
сперва награвшись на костришке.

Им и Америка – страна зубных врачей,
а о родной дыре – лишь в терминах анальных...
Захлопни альманах. Заглохни, книгочей...
Осталось 2 строфы финальных.

О чем бы в них? Как льдом позваниваю? Иль
по фене аглицкой гуторю на приёмах?
Как под хмельком домой веду автомобиль?
Да тут и всяк – не промах.

А вот о чём: *домой*. Где спит лобастый карл
с настольной мудростью компьютерного рода,
с просторной ряшкой – электронный аксакал.
Нажмёшь куда-то, и – вот эта ода.

Урбана, Иллиной, 1986

ВАСЫЛЕВА ГОРА

Черемош злой до белого кипения. Стиснутый каменными берегами, он рвется вниз, бежит с гор, не в силах остановиться. Струи без устали ворочают по дну округлые булыги, и взвихренный песок шлифует их бутовые бока. Лишь иногда течение замедляет бег, упирается в пороги, в крупные валуны, что до бровей вросли в русло. Вода покорно огибает лобастых гигантов и уже за их спиной начинает ворчать, возмущаться преградой. Но когда ей удастся, она перекатывает прозрачный литой поток через лысый череп валуна, вспенивается воздушными кудряшками и вновь набирает скорость, как пришпоренная.

То буйная, то присмирелая, река живет извечным порядком. В начале весны, с первым прогревом видны на обочах гор пятна проталин, дымится распаренная земля. Затем скрипят зажоры ледохода, шаркают на поворотах, крошатся о деревянные сваи. Когда в верховье стаивают снега, река взбухает, разливается вширь, и несколько дней утробно гудит мутный паводок, держа в тревоге подольные села. Случается, что паводок срывает в низину плоты-дерабы, овец утащит, порушит прибрежную гражду или плетень разволочит, накидает мусор по огородам и – уймется, присмирееет. Только мостки на протоках дыбом торчат. И снова в проторенном ложе спешит низкая вода. Снова выходят наружу гремящие зажоры и бестравые гравийные косы.

По времени года река меняет вид, лишь в одном постоянна: денно и ночью вредит селу. Дугой прогнута, бросает воду в левую сторону и остервенело рушит берег. Там, на узкой полоске, примостилась дорога. Единственная из урочища в прочий мир. И именно этот горловой участок долбит Черемош.

Конечно, следовало бы передвинуть дорогу подальше от бешеной крутоверти, на безопасное расстояние, чтобы под колесами лежала надежная грунтовка, а не бревенчатые габионы. Но в считанных сантиметрах от проходящих машин, впритирку к бортам высится, уходит в небо отвесная скала.

Зовут ее – гора Василя.

Гладкая сплошная стена, как падающий шкаф, нависла над рекой, и даже у самого беспечного шофера деревенели желваки, когда проезжал под этой машиной.

Спешит Черемош в долину. Мчит мимо частокола смеричек и зарослей дымчатой ожины, повитой вьюном, оставляет позади худощавых гуцулов в зеленых капелюхах и хаты под сосновой дранкой, проносится мимо напуганных отар, мимо Васылевой горы, – все мимо, будто единственная цель – быстрее достичь устья. Уже сбился голос, нет прежнего задора, белизна в бороде, а он торопится, Черемош. С разбега, головой вперед, вливается в гирло, в другое русло, бездумно смешивает свои струи с чужой водой и растворяется в ней. И это – конец. Нет Черемоша, пропал, сгинул. И тень от облака, не ведая изменений, плывет уже в новой реке.

А горы по сторонам реки стоят недвижно и безучастно. Солнце оттеняет их застывшие морщины и старческие складки. Иногда по каменной скуле кряжа скользит набрякшая хмара, но кряж равнодушен к любой суете. Миллионы лет отмахали над головой, выжгли, выморили тело, обсыпалась шерсть, только подножье еще зарастает волохом буро-зеленых лесов. И росные полонины до краев налиты отрадной тишиной.

Лишь в грозу горы пробуждаются, подают голос, и слышно за дальним – далеко, как они возражают небу. Всполохи огня озаряют развалы туч, и в ответ на молнии горные вершины перекидывают друг другу мокрые грома.

Вершина Гаверла, вершина Туркул, Поп Иван, Сивуля... старые, поседелые от века имена.

А Васылеву гору называли недавно.

В сорок шестом, послевоенном году редко какой гуцул засыпал к ночи с легким сердцем. Смутная пора висела над крышами Волошины. Аресты случались чаще, чем доброе слово. Беда качалась у ворот, и тревога грызла селян долгими вечерами, гадали: кого завтра возьмут? В чью дверь кулаком стучат?.. И ничья сила, ни топор – бартка, ни ружье, ни молитва, ни батюшковское подворье – не были защитой от тех, кто приходил забирать.

...Они заявлялись даже днем, врасплох и без промаха. Искали оружие, книги, листовки. Короткие сборы кончались приказом:

– Пошли! Хватит! Гайда! – и уводили к машине, под бабий вой да причитание. Считалось – за связь с бандеровцами.

Но Васыля кто-то предупредил – успел прихватить кожух, кучму, и задними огородами, пригибаясь к стерне, бежал в лес. Васыль не чуял за собой провины, но знал, что доверять надо только быстрым ногам, когда приходят эти, в длинных шинелях.

Они не гнались. Понимали, что ему и впотьмах каждая стезька сама под ноги ложится. Решили – придет час, вернется... куда денется...

И верно: Васыль не ушел далеко.

В ясные дни с перевала Нимчич видно, как до конца земли тянется Черногорская гряда. А за ней сквозь дрожь марева под самым небом синеет следующий хребет, должно быть, уже Венгрия. Прежде, бывало, деды ходили в те края потайным плаем. Говорят, там, у мадьяр, легче переждать...

Но Васыль остался.

На склоне оврага, под искривленным ясенем, Васыль нашел гавру – медвежье логово. Облезлого хозяина убили года два тому, и обживать гавру было не опасно. Васыль почистил новое жилье, окурил сосновым дымом, выстлал низ еловым лапником, сухой тра-

вой. А малинник, с поклеванной ягодой, что прикрывал вход, растеребил пошире, для света.

Поначалу Васыль лесным кормом перебивался: жевал смолу с коры, собирал горький дичок, последнюю голубику и орешки. Потом наловчился птиц подбивать, перепелов-поздышей, что в норах зимуют, даже случалось – и куропаток, они задержались до осени, по непонятной причине.

В кожаном кишене, как принято, всегда хранились кресало и трут, но костер Васыль позволял себе только в тяжелый туман, в полное безлунье, что руку протянешь – пальцев не видать.

Одиночество не томило. Утихла трепота, в лесной чаще пришел покой и, неизвестно отчего, зародилась вера, что судьба образумится, надо переждать, вернет его к родному порогу, не погонит на Воркуту, на чужбине стратиться.

У Васыля на ремне висел отточенный складень, и, когда унимался голод, Васыль, постелив кожух, подолгу сидел на солнечном припеке и, чтоб занять руки, вырезал тупоносые ложки. Скупое грело солнце, но он тешился податливым деревом и выписывал лезвием замысловатую резьбу на коричневом черенке.

В дождь иногда отлеживался Васыль в заброшенной колыбе пастухов, хоть было там вовсе не надежно, к ней вела раташ, приметная тропа, когда-то вытоптанная овцами. Не угадаешь, кого сегодня приведет...

Однако со временем Васыль осмелел, изредка ночами стал подкрадываться к дому. Беззвучно стучал в окно, чтоб дали поесть да отогреться. С собой уносил в торбе припасенный харч, скрученные листья табака и пляшку первача, заткнутого кукурузным кочаном.

От первого снега лес поредел, открылся насквозь и притих. Кусты чернели, как нахохлившиеся вороны. По утрам твердел наст, с хрустом лопался под ногой, и был виден нетронутый снег, такой пухлый, будто может согреть.

Теперь Василь мечтал о тепле постоянно. Холодал, но не решался палить костер: полная луна примерзла к небу, освещая каждый бугорок. От посеребренных стволов стелились глубокие тени. Даже звезд расплодилось больше, чем положено. Чтоб не застыть, Василь топтался вокруг деревьев, прикладывался к пляшке, курил в рукав, но не выдерживал, бессильный валился в гавре, сморенный усталостью до смертного безразличия.

Иногда по утрам солнце не всходило, заря только угадывалась за мутной поволокой. Ветер кружил, сметал снежную крупку, заглаживая выемки. В верхушках деревьев неумолчно держался протяжный ровный гул.

В такие дни Василь стерег костер и радовался обеду. От мерзлой буханки бережно отрезал ломоть и грел, пока тот не покрывался ржавым цветом. Водил над огнем шматок сала на заструганном дрючке да так, чтоб жир не капнул зря. Он обзавелся уже чугуном и кружкой, в которой заваривал чай из калины или шиповника.

Костер урчал, гнулся под ветром и снова вспыхивал, раскидывая искры, точно довольный, что ветер теребит его космы. Глаза Василя подолгу смотрели на пламя, пока веки не слипались, убаженные теплом.

И снилось: пара коней тянут по дороге кирпичную печь. Широкая печь, бока наетые, по-праздничному синькой мазана. Открытый зольник пышет жаром. Дым растет из каглы, летит сажа и пятнами дырявит снежный покров. Один конь на ходу окунул морду в кожаный бордюг и задумчиво глотает прокислое молоко. Когда он оставил мешок, с губы продолжала стекать долгая белая струйка. Конь потряс головой, сытно фыркнул, разбрызгивая капли, и сказал:

— Добра гусленка!..

...С начала зимы Василь изменился, оброс, почернел лицом. Шаг стал мягкий, как у зверья, и слух легкий,

до всякого звука. Чуть что шимкнет, заскрипит — Васыль весь настороже. Собственных следов пугался.

Открытые поляны Васыль не пересекал, а обходил стороной — так было безопасней и тратилось больше времени, его и без того было в избытке. Несколько дней Васыль кромсал ножом тонкие шипы, калечился, устраивал лаз в колючей извири, в непроходимой чаще. Здесь кусты переплелись сплошным, диким клубком и берегли вернее любой защиты.

Но и тайник в извири успокоил ненадолго. То пень в белой смушке, то сугроб, навеянный не к месту, то горбатая колода стали ему подозрительны и опасны. За каждым поворотом тропки чудилась засада.

Ветер еще не выворачивал деревья корнями наружу, еще не пришел час, что камни лопаются от морозов, зима только-только набирала силу, но Васылю уже становилось неважно. Постылая тоска присасывалась к сердцу, и вопросы, что таились до поры под черепом, начинали клевать по живому мясу. В такие скаженные дни Васыль не находил себе притулу, нудился без меры. Томительно и слепо тянуло домой, к людям. К тому же заснеженный лес уже не кормил, а торба, как назло, быстрее прежнего становилась порожней.

Однажды на опушке, прячась за кустами, Васыль высматривал дорогу. Ждал вечера, чтоб подойти к дому накатанной колеей, не оставлять следов на целине. Изредка по дороге стучал цепями грузовик, швырял назад снежные ошметки. Беззвучно плыли низкие сани, груженные соломой. Возчик, откидываясь спиной, натягивал поводья, и лошадь, приседая, вздергивала дышло, тормозила сколько могла. Вблизи Васыля чирикали пичуги, невидимые в глубине деревьев, устроили заваруху. С ветвей обсыпалась сверкающая пыль, птахи вспорхнули, и снова затихло вокруг.

Вдруг Васыль увидел: несколько темных фигур перешли наискосок дорогу и исчезли за бугром. Потом они появились вновь и медленно, друг за другом напра-

вились в сторону леса. Рядом с ними, должно быть на привязи, проваливались в снег две собаки. Люди неуклюже шагали по чистой прогалине. Будто очнувшись от забытья, Василь вскочил на ноги и бросился в гору. Бежал прытко, напролом, откидывая провисшие ветки, ныряя под вражеский сук. На рыхлом снегу ноги отталкивались с трудом, и вскоре Василь запыхался. Теперь он стал выбирать путь поровнее, чтоб не вилоть меж стволов, не тратиться напрасно. Главное, ровно дышать, выбраться из яра, вверх, так на камнях следов не видно...

Покатый склон ощерился зубьями ельника. Василь уже одолевал подъем, когда услышал сухой треск, будто рвалось полотно, но не было времени вникать, что это трещало. Кончилась хвойная завеса, снег лежал полосами, обнимал подошвы стволов. Казалось, деревья тоже устали взбираться. Лишь самые упрямые, низкорослые да жилистые цеплялись корнями за выступы, вползали в расщелины, терпели стужу и безводье, только жить вольно, не под топором.

Ветер стал резче, забивал дыханье. Снова раздался странный звук, теперь уже ясно похожий на выстрел. Не прячась, Василь побежал по открытому отлогу. Ноги грузили в осыпях, отчаянно толкли крошево щебня, стараясь нащупать твердь. Вереди над головой подпирали небо каменные столбы. Там спасение! Там нет извери, зато есть потайный куток, в нору зароется, в любую щель-зашкалубину. Своя земля, укроет!

До вершины осталось несколько усилий, самая малость, когда Василь услышал за спиной голоса собак. Оглянулся: два серых комка выкатились из-под деревьев и прыжками понеслись в его сторону. Василь ошалел от страха. Не заметив рядом облаза, он кинулся на последний подъем, падал, кровянил руки, хватался за чахлые ростки, карабкался вверх, ломая ногти о щербатые плиты.

На гребне горы свистел ветер, лохматил волосы. Василь не чувствовал, что давно потерял кучму. Огляделся по сторонам: куда теперь? Ноги не слушались, скользили по камням. Сердце колотилось у самого горла. Вокруг ни души, никого, только небо, недоброе, как псы... Загнали, катюги... Нож не спасет... Лай звенел близко, надсадный, прерывистый...

Василь стоял на краю обрыва. Ветер дул в спину. Внизу – бело. Села не видно. Только Черемош, как черная лента на снегу. Василь зажмурил глаза, громко застонал сквозь зубы, а тело клонилось над глубиной, над пропастью, пока не оторвалось от земли...

Один из псов в запале гона не удержался, прыгнул за Васылем, на миг провис в воздухе и, перебирая лапами, рухнул в низину.

Васыля, вернее, то, что от него осталось – мешок переломанных костей, – хоронили без священника. В Тюдово тогда не было прихода, а Вижницкий поп, узнав причину смерти, прикинулся больным.

Но проводили покойного как следует, много народу пришло, не побоялись. Бабы выплакались вволю, за всех пропавших и несчастных, за мертвых и живых. С трудом оттащили мать от могилы, билась головой о мерзлую землю:

– Васылю, сынку... очи мои... не треба мни свиту... Васылю-ю...

Весной у холмика поставили каменный крест. На нем было выбито, что смерть забрала Васыля в девятнадцать лет.

С тех пор привилось на селе – отсчет годов ведут от его гибели. Свой календарь, свои святки. Так и считают: что Дмитрика погнали в шахту на Донбасс, когда Василь кинулся...

...и Орыся родила сына на первый Покров, когда Васыля убили...

... а Юрко хату поставил третьим летом, как Васыль погиб...

И еще: кто проезжает у подножья горы, всегда опасливо посматривает вверх. С отвеса, бывает, срываются на дорогу камни. Особенно – весной, когда тает. Случались даже несчастья. Но – только с чужаками. В своих ни разу не попало.

Старики говорят: это за Васыля гора наказывает.

Алла Кторова

«МЕЛКИЙ ЖЕМЧУГ»

«Мелкий жемчуг», новая книга Аллы Кторовой, разнопланова и многотемна. Это литературно-исторический коллаж, где описание жизни пращуров и предков прошивается картинками жизни современной Москвы, а воспоминания о детстве и юности во время Второй Мировой Войны идут параллельно с рассуждениями о современной литературе, взглядом автора на нового человека эпохи НТР и т. д.

«Мелкий жемчуг» продается во всех магазинах русской книги США и Европы. В книге 303 стр. с портретом автора и фотоиллюстрациями. Обложка выполнена Вагричем Бахчаняном. Заказы на книгу принимаются во всех магазинах русской книги Зарубежья, а также по адресу:

Victoria Sandor, 5838 Edson Lane,
Rockville, Md; 20852. U.S.A.

«ОДИН НЕ УСЛЫШИТ,
ДРУГОЙ НЕ ПОЙМЁТ...»

* *
*

Не убий – учили, – не спи, не лги.
Я который год раздаю долги,
Да мешает давний один должок:
Леденцовый город, сырой снежок.

Что еще в испарине тех времен?
Был студент речист, не весьма умен,
Наряжался рыжим на карнавал,
По подъездам барышень целовал.

Хорошо безусому по Руси
Милицейской ночью лететь в такси.
Тормознет – и лбом саданешь в стекло,
А очнешься – вдруг двадцать лет прошло.

Я тогда любил говорящих «нет»,
За капризный взгляд, ненаглядный свет,
Просыпалась жизнь, ноготком стуча,
Музыкальным ларчиком без ключа.

Я забыл, как звали моих подруг,
Дальнозорок сделался, близорук,
Да и ты ослепла почти, душа,
В поездах простуженных мельтеша.

Наклонюсь к стеклу, прислонюсь тесней.
Двадцать лет прошло, будто двадцать дней.
Деревянной лесенкой – мышь да ложь,
Поневоле слезное запоешь.

Голосит разлука, горчит звезда.
Я давно люблю говорящих «да»,
Все-то мнится – сердце сквозь даль и лед
Колокольным деревом прорастет.

А должок остался, на два глотка,
И записка мокрая коротка –
Засмоли в бутылку воды морской,
Той воды морской пополам с тоской,

Чтобы сны устроили свой парад,
Телефонный мучая аппарат,
Чтобы слаще выплеснуться виной –
Незабвенной, яблочной, наливной...

* *
*

Дар, обнаженный город мой, сна и дождя глоток,
словно улитка свернутый, рожками на восток,
город с пустой котомкою, что ты ползешь за мной
вечером, мягко скомканным серою простыней?

Выпили, слезы вытерли – выучив свой урок,
спутник я стал сомнительный, житель больших дорог,
лещиком, черным плащиком, стынувшим на углу –
камешек спрятать за щеку, в вену всадить иглу.

С пропуском одноразовым, с шаром земным в руках
щурюсь при свете газовом, лишь бы увидеть, как
город с зонтом поломанным, град ненадежных нот
над океанским омутом рыжим хвостом метет.

Плоскости голубые режут воронью тьму,
будет и ностальгия, только не по нему,
только бы знать, куда мне руки тянуть, горя
трещиной в белом камне раннего декабря...



Теплынь, лягушачья слякоть – а утром сулили снег.
Толкает меня под локоть невежливый человек,
И просит на опохмелку, и дела-то – медный грош,
И сам я монеткой мелкой качусь под осенний дождь.

Так странно брнчать на лире, кадавром лежать на льду
В придуманном лучшем мире, на тридцать седьмом году.
Кепчонка фальшивой кожи, ночной адресок в руке.
Дрожит человек прохожий в замызганном пиджачке.

О чем ты шумишь, приятель? Кончай наводить тоску.
Я тоже всю жизнь растратил, сшибая по пятаку,
И долго ловил звезду я, единственную свою,
Печалась и негодуя у времени на краю.

А все умирать грешно нам – бездельникам, голытьбе,
Любителям-астрономам с паучьим гнездом в трубе.
На улице дождь, и мокрый, совсем невозможный снег
Смерзается коркой блеклой. Кончается трудный век.

Кончается век огромный, уходит – не удержать.
Ему в подворотне темной газетным клочком лежать,
Забывать свой язык и имя, виною страдать двойной,
С ребятами слободскими хоккей обсуждать в пивной.

И я говорю: чего там кривить онемевший рот.
За первым же поворотом крылатый охотник ждет.

И падает луч на площадь, и сердце летит за ним,
Узнав стреловидный росчерк под ордером розыскным.

И ляжет в полях пороша, и егерь выйдет на след.
Ему дорогое – дешево, дареному – счета нет.
И щеголь в ночной витрине, калека среди теней,
Стирает багровый иней с крахмальной груди своей.

* * *

Чей за окошком желтый глаз, один, горящий без стыда?
Я бормочу ему: «сейчас», и тут же, тише, «никогда».
Когда бы два, а то – один. Такой противный господин.
Бандит в гороховом пальто. Катись, приятель.
Ни за что.

Откуда знаешь ты, что швах мои дела, что я привык
Копаться в выцветших словах – слепых, глухих,
полуживых?
Я столько раз давал зарок, от черных воронов-ворон
Отделавшись десятком строк, на давний выскочить
перрон –

А там по-прежнему зима, старуха с тяжким посошком,
Знай сыплет снегом задарма и не жалеет ни о ком,
Там без меня который год кассирша сдачи не дает,
И лунный свет на страшный суд в дубовом ящике несут –

Там время движется к концу и умирает без труда,
А мне и бархат не к лицу, какой я Гамлет, господа.
Одна печаль – дурной зрачок. Вот-вот затянет,
завлечет,
И бросит, весел и рогат, в свой костоломный агрегат –

**И оттого-то в гиблый час, когда мутнеют зеркала,
Когда граверу метит в глаз гравировальная игла,
Вдруг понимаешь, что прошла. Без всякой злости,
 просто так –
Глотком случайного тепла, да гоном голодных
 птах.**

* * *

Иной искатель чаши с ядом
Давно метнулся и затих,
А я, зритель поздним взглядом,
Оценщик далее золотых,

Пожалуй, только от испуга
Не верю бритве и ножу,
И ночь веселую в подругах
По старой памяти держу.

Поют часы, стучат колеса.
Разлука, лестница, привал.
Лиловый голубь это просо
Давно уже отгоревал.

Давно в истоме законной,
Внизу и справа, погляди,
Стоит прохожий незнакомый
С открытой ранюю в груди.

Давно голубка ворковала
И била крыльями в стекло.
Так нелегко, и небывало,
И даже, кажется, светло.

А стук часов все чаще, чаще,
И, может быть, в последний раз
Настоем осени горчащей
Господь отпаивает нас.

* *
*
*

Бродят звезды по проселку
радужным огнем.
Сердце любит втихомолку
отражаться в нем.
Закатиться детским плачем,
и стучать едва,
чтобы к песенке незрячей
подобрать слова.

Кто-то в гнездах, кто-то в норах,
а у нас с тобой –
ежевичных листьев шорох,
водоросли, прибой.
Влажный ветер в латах грозных,
в водяной пыли,
заплутал в прибрежных соснах
на краю земли.

А волна идет на убыль,
отступает вдруг,
но опять стыдятся губы
складываться в звук.
Так и бродим наудачу,
и друг друга ждем,
где лицо в ладони прячет
город под дождем.

И глядит зрачком морозным
из-под тяжких век
бесприютный, несерьезный,
старый человек.
Он не лечит, и не учит,
снится налегке,
поворачивая ключик
в сломанном замке.

Незаметно гаснет свечка.
Спи, любимый мой.
Потеряется колечко
по пути домой.
Пусть во сне твоём, в хрустальном
оклике звезды
блещут зеркальцем гадальным
Чистые Пруды.

* *
*

Ворованный ветер. Разомкнутый круг.
На нитке натянутой – первый паук.
Стрела улетела. Расслабился лук.
И вырвалась птица из рук.

А дома – разор, трепетание крыл,
Раскрытые двери, балкон без перил.
Пора повторяться, светиться, играть,
И плакать, и жизнь укорять.

Летит паучок сквозь предутренний дым,
Несытая чайка тягается с ним,
И с бережным ветром, томясь и спеша,
Ликует паучья душа.

Что бабочке – свечка, что нитке – игла,
Незванная осень темна и светла,
И в горле у города свежая мгла,
И два деревянных крыла.

* *
*

...Под утро сердце совершенно
сойдет с ума, и самолет,
бездременный и неизменный,
от горизонта отплывет,
вскричит, пошарит по карманам,
и вдруг; с пропеллером в руке,
над одиноким океаном
пойдет в последнее пике.

Где он? Он там. Где там? Далеко,
где строит ветер без труда
неразрушимые до срока
предгрозовые города,
то выше засвистит, то глуше,
а ниже – грустный пешеход,
пугая чаек, через лужи
с монеткой греческой бредет.

Все это будет – или было,
а конопляные поля
цветут, и чувствуется сила
в ленивом беге корабля,
и вниз – близка ли, далека ли –
держась за шарик надувной,
летит по страшной вертикали
воздухоплаватель иной –

не вдохновляйся, не завидуй,
не отводи остывший взгляд.
С такой свободой и обидой
леса прибрежные шумят,
и пешеход, беззлобный странник,
глотнув сырого ветерка,
дни, как песчинки, собирает,
и сторожит, и провожает
заплаканные облака.

О чем шумит? о чем бормочет,
когда по берегу прибой
волочит крылышко сорочье
и сердца слепок восковой?
Да так – стоит с тетрадкой школьной,
и видит собственным горбом:
чернеет парус треугольный
и умирать ему не больно
в тумане моря голубом.

* *
*

Сквозь усталость, до смертного пота... Пробормочешь
такое во сне –
и проснешься. И выкрикнешь: кто там в темноте
прикасался ко мне?
Успокойся. У двери такие, брат, сугробы, что выхода
нет,
никого, и до самой России только звездный
рассеянный свет
долетает. И снова невидим. Беспокойство сплошное.
Но я
не в обиде, совсем не в обиде, не в претензии даже,
друзья,

Было время для фокусов пылких, было – рвать
вольтижерскую сеть,
и глотать цирковые опилки, и в сияющий купол глядеть.

Было, было желание славы, гиацинта в петлице, красот
театральных, и страсти лукавой. Повезет, уверял,
пронесет.
Было всякое. Плавало слово в синем море, и плакало
зря,
пустячком, огоньком бестолковым за окошком
подвальным горя.

Снова мучает, дразнит – и сразу исчезает в метельном
дыму.
Помолись за него. Две-три фразы, или меньше,
неважно кому.
Пусть, ныряя по собственной дури, подо льдом
выпрямляется в рост
в неоплатной берлинской лазури, в дальнобойных
промоинах звезд.

* *
*

Один не услышит, другой не поймет. Имбирь да корица,
рождественский снег
сулят обывателю добрый ночлег. Не сахар, подружка,
не сахар, не мед.
Дай Бог ускользнуть по безмолвному льду, два слова
сказать, и прибавить одно
единственное, замерев на ходу, чтоб боль отпустила. Не
все ли равно?
Спросонок, как провинциальный баптист, до самой
могилы не знающий, как
толкуется крик на иных языках, я снова пущусь
в бормотанье и свист,

и вздрогну. Неужто вокруг – на века – безлюдная
музыка черновика,
предпраздничный вечер, пустые труды в случайном
луче неурочной звезды?

Душа обветшала, и тот матерьял, который портной на
нее подбирал,
топорщится, морщится. Вылезший мех – одно
безобразие. Курам на смех
задумался глупый чиновник, шинель ощупывая.
Понемногу метель
скрывает дома, фонари. На ветру погасшая трубка
чадит, и горчит
табак, и похмелье в немилом пиру в висок полоумной
мигренью стучит.
И собственной кровью наполненный шприц, пройдя
через гарь городов и границ,
не лечит. Грабитель, гуляя во тьме, лепечет дурное,
себе на уме.
Чья речь заблудилась? Чья – пробует всласть горячей
стрелой взлететь и упасть?

Житуха, разлука, чердак да подвал. Осенняя твердь,
голубой керосин.
Кого ненавидел – того целовал, а дальше молчал, ни о
чем не просил.
Я парень простецкий, себе на уме, мне тесно и ветрено
стыть на холме,
и нёбо саднит. Задуваю свечу, во сне распеваю,
а в жизни молчу.
И чей это голос! Конечно, не мой. Горбатый старик
в папиросном дыму,
он тоже томился воздушной тюрьмой, но понял. А я
и умру – не пойму.

Век буду за сердце ладонью сухой хвататься спросонья,
и воду толочь
в ворованной ступке, случайной строкой пропарывая
американскую ночь.

Шей, мастер, глотая булавки. Я сам вгрызался, бывало,
в холщовые швы,
и ножницами припадал к небесам, подошвами пробуя
камни Москвы,
свободы страшился, чурался труда – а что я умел?
и умел ли когда?
Дай выйти на воздух. Трезвея, узнать в конце переулка,
над снежной горой
вполсилы горящую рыжую прядь рассвета. Ни первой
тебе, ни второй
попытки. Должно быть, друзья мои там – закройщик,
стекольщик, сапожник, босяк –
заждались. Постой, я им тоже подам свой
косноязычный, растерянный знак –
и город исчезнет в метели. И речь шинелью ворованной
свалится с плеч.

СЛЕЗА В ДЫМУ

п р и т ч а

с извлечениями из хроник

11

А Филя уже наколупал смолы с дерева, раскатал, намял пальцами: встала посередке золотая корова с пузатыми боками, молокогонная – с обвислым выменем, морду отворотила набок, рога торчком выставила.

– А чего у ней хвост кверху? – сказал Михалка.

– Кверху, – сказал Филя. – Гнуса много. Отмахивается.

И Михалка кивнул понимающе.

Гнуса, и верно, было много.

Гнус плодился безостановочно: лопатой не прогрести.

Налетал к вечеру с болота, заедала, хрен плодливый: зудел в трубы, колол спицей, пил ихнюю кровь – Ширшику в обиду, и даже Афоня Опухлый был неспособен со своим верным составом.

С его состава они только сытели.

А корова стояла посередке, пламеня боками, и Михалка оглядывал ее с интересом, поминая прошлое.

Сидели они на горшке, на самом припеке, первыми оттаивали с зимы, оттекали талыми водами, и назывались потому – Талица.

Туманы падали росой и облаком поднимались ходячим. Пахло по избам молоком и веником. Курицы под амбарами яички скудахтывали. Рыбу ловили, коров держали, брагу варили, с горем не вязались.

Окончание. Начало см. в № 51.

Место называлось – Талица.

Жизнь называлась – Талица.

Еда была – Талица.

Радость – Талица.

Всё вокруг – Талица на Талице.

Да и друзья его – Буня, Шустик, Тучка с Мохнаткой – тальные к нему души: позови – заступятся.

Где теперь они? Где он? Где Талица?

Головешки горелые...

И Алёна уже подбиралась бочком к общей корове, руку тянула, глаз отводила в сторону – для обмана.

– Не трожь, – велел Михалка.

Но она уже цапнула – и в котомочку: одному не совладать.

С Буней бы – побороли, с Шустиком – обхитрили, с Тучкой и Мохнаткой – одолели зараз двадцать Алён, – одному ненатужно, вяловато, как в животе несыто.

Михалка с грустью оглядывал доставшуюся ему братию: отобрать было некого.

Ширшик – пугливый.

Ларя – дремливый.

Стеня – мамкин подол.

Не с кем сговориться, перемигнуться, дружно махнуть в ушкуйники.

Скопили когда-то сухарей на дорогу, украли нож, спроворили луки со стрелами, присмотрели себе ялик под силу – закатиться в протоки, схорониться по камышам, вылетать с гиканьем наперегон: что плохо кладено – нам дадено.

Никаких тебе Шустиков, никаких Бунь с Мохнатками: атаман Незамай, атаман Ненарок, Чика-атаман, Кокошило и Громыхало.

Пять атаманов, пять неугомонов.

Могутные.

Лоб ко лбу,

У каждого броня, у каждого шлем, щиты с копьями, сабли с топорами, стрелы, рогатины, ножи-засапожники.

Обмолотят при случае, как сноп.

Атаман Незамай задохся при пожаре, когда наплыл на Талицу Апышка Живоглот.

Атамана Кокошилу угнали в полон вместе с мамкой.

Чика с Ненароком сгнули без оглядки от Волкохищной Собаки.

Сухари в тайнике мыши изгрызли.

А грозносуровый атаман Громышало, славный добротой и ужасный разбоями, смирно сидел на полатах, посреди никудышного народа, и глядел с интересом, как мудрил Филя Ослабыш над сосновой шишкой.

Нащипал иголочек покороче, густо натыкал сзади, нащипал длинных – по бокам уткнул, носик-палочку, хохолок-веточку, глазки-смолки: повисла над головами птица-краса, отмахнула зеленые крылья, хвост распушила, вспархивала легонько на ветерке, – Алёне не достать.

Прыгала. Руки тянула. Пальцы топырила. На носочки становилась. Зубы скалила.

Села-захохотала: долго, упрямо, нарочно.

Дур от злости напал.

А птица вспархивала себе и вспархивала, как дразнилась, хрюкнул беспокойно кабаненок, и тогда она оборвала смех, заелозила по бревнам, стала пихать кабаненка – головой в котомочку.

Он растопырился – не лезет.

Она пытит – старается.

Эти глядят – не встречаются.

И атаман Громышало – тоже...

И позвал тут дремливый Ларя, спросонья не углядев Алёнину дурь:

– Филя, – позвал. – А Филя...

Ларя дремал вечно с открытыми глазами, голову завалив на плечо, и видел их смыто и неясно, как от слезы в глазу. Порой он засыпал на время, и тогда вправду видел мутные сны, которые ничем не отличались от жизни. Переход от дремоты ко сну проходил незаметно, обратно – тоже, и Ларя уже запутался, где он теперь, и жил так. Сил у Лари не было никаких, желаний тоже, одна забота – отдремать свой срок.

– Филя... – позвал опять и замолчал, как заснул.

И тогда встрепенулся Стеня-неразлучник.

Стеня понимал Ларю с полуслова, даже сны угадывал.

Стеня делился с ним кусочками, не отходил и не отпускал.

К ночи, когда разбирали их по полатам, Ларя тянул к Стене руки, плакал, с пупка выворачивался, но Голодуша уволакивал без жалости.

«Погоди, – говорил рассудительный Стеня. – Вот помрут твои – у нас жить станешь. Я скажу. Мамка послушает».

И Ларя задремывал успокоенно.

– Филя, – сказал теперь Стеня за своего друга. – Загадай.

Алёна тут же оставила кабаненка, быстро заелозила назад, под правую Филину руку, велела сурово:

– Загадывай.

Филя подумал, задрал кверху голову, набыл шею, но кричать почему-то не стал.

– Стоят вилы, – сказал Филя, и все шелохнулись.

– На вилах бочка, – сказала Алёна.

– На бочке махало, – сказал Стеня.

– На махале качало, – сказал Ларя.

– На качале зевало, – сказал Михалка.

– На зевале сморкало, – сказал Шириш.

– На сморкале мигало, – сказал Филя, и все тихо порадовались.

– Еще, – велела Алёна.

И пошло по кругу:

– Комковато.

– Ноздревато.

– Губато.

– Горбато.

– Кислó.

– Преснó.

– Круглó.

– Грузнó.

– Легкó.

– Мягкó.

– Твердó.

– Ломкó.

– И чернó.

– И белó.

– И милó.

– Хлеб! – сказал Стеня.

– Есть хочу, – сказал Ларя.

И все заскучали.

А Филя опять задрал голову, глянул на небо, но Бога пока не беспокоил.

– Скоро, – сказал. – Хлеба будет. Каши. Киселей.

– Киселей, – сказал Стеня. – И пирогов.

– Пирогов, – сказал Ларя. – И лапши.

– Лапши, – сказал Ширшик. – И молока.

– Молока, – сказал Михалка, который один из всех помнил, что это такое. – И взвару.

– Взвару, – сказала Алёна, готовя котомочку. – А когда?

– Когда, – повторил Филя Ослабыш. – Уж на тот год. Жором будете жрать. Пуза наращивать. Есть не переесть.

– Не переесть, – повторил Стеня. – А на этот нельзя? Нам зиму не пересидеть.

– Не пересидеть, – повторил Филя.

Крикнул понизу заяц, высоко и пронзительно.

Крикнул еще: до смерти смерть.

Как по сигналу, вывалился на полати Облупа Федор, верткий и пугливый, выпалил без задержки:

– След! На подходе! Сапогом с набойкой!..

Беда не приходила в лаптях.

Беда – обута в сапоги.

И Филя тут же заблажил в небо, как дожидался этого:

– Боженька мой! Боженька теплый! Боженька мой! Боженька мягкий! Боженька мой! Боженька запашистый!..

Мир снова обступал кругом, готовый обидеть, и Ширшик заскулил без передыху.

И опять заверещал заяц, от боли и от ужаса, как в чьих-то зубах...

13

«Страну согрешившую казнит Бог смертью, голодом, наведением поганых, гусеницей, бездожием и другими казнями...»

И полез Живуля на звонницу, поплевал на руки – привычное дело, да ударил во всполошный колокол на триста пуд, отгоняя напасть от города. Был он нестарый пока, мелкий и коротконогий, шустро прыгал с веревками по поднебесью: звоном будил Бога.

Живуля-звонарь, Живуля-блоха: снизу поглядеть – блоха и есть.

А на небе уже явилась звезда в крови, солнце всплыло месяцем – «яко погибнуть ему», из реки вытянули страшного уродца, тайный уд на лице – бабы валились замертво, явился волк гол, без шерсти, и много людей ел, куры с насеста слетали ночью – к беде, – подступали сполошные времена, стон – туга на людях, печаль неутешная и слезы непрестанные.

«Хочу на вас идти, хочу взять и ваш город, как взял этот...»

А город тот во взятии не бывал: деревянный, рубленый, кругом города рвы копаны и валы насыпаны, а на валах стены, башен шатровых, наугольных девять, и те башни и городовая стена крыты тёсом.

Но Живуля всё поплёвывал на руки, да скакал блохою – рубаха парусом, да дозванивался до Бога – может, один только он на белом свете, – и враги вокруг города костью падали, мором морились, гнили заживо, кожа валилась с ног – чулками: приходили они с высокоумием, но со смирением отходили в дома свои, – Живуля старался, на двоих с Богом, за Живулей как за стеной.

Но самовластцы исполнились зависти, огородились злостью, разожглись гневом, и навели они поганых на русскую землю – дикие народцы, визгучую орду.

«За наше несытьство навел Бог на ны поганя...»

Теперь уже Живуля не сходил с колокольни – время подпирало, ел-пил на скаку, чтобы не обрывать звонкую преграду, а по земле вокруг рать ходила, поганые сыроядцы, белоглазая чудь, Боняк, Куря с Кондувеем, окаянные, безбожные и треклятые, походя пустошили безнаказанно, воевали и разбивали поселения, которые и по сей день пусты, – и остолпили они город – натопанное место, стали на огородах, мухой облепили стены и посады ожгли.

И уже постукивало костяно по колоколу, и хвостатая гадина-стрела цапом вцепилась в веревку и осталась так.

«Дайте мне серебра, сколько хочу, а не то возьму вас на щит...»

И затворились они в городе, чтобы крепко отдать свой живот, а ширитель пределов своих – Шушпан Шелешпанский, Пёсья Старость, Сечёная Щека, до имени жадный как ад, встал на холме перед стенами, глядел исподлобья на город, с какой стороны подступать, но по воскресеньям приступа не делал – грех, и поганым не позволял.

Был он роста немалого, мрачен и дик видом, черен лицом и деibel телом, жесток, корыстолюбив и властолюбив без ума и твердости: где ни бери, да подай. Слушал с холма Живулин перезвон, наливался по горло правотою, а под утро, в день понедельник, снял с руки рукавицу перстатую, махнул вскользь – и завизжали поганые, исполчили войско, выкатили камнестрельные машины, перекидывали через стены живой огонь, пускали стрелы тучами: брать город на щит, на поругание и разграбление.

И занялось жаром со всех концов, завыло и загудело по улицам, дымом душило и слезами, вскручивало огневыми вихрями – бревна метало за реку.

«Егда разлучается душа с телом, видит рыдание рода своего...»

Посекали людей, как траву.

Одирали мертвых.

Город пожгли и попленили.

Скот выбили.

Жито потравили.

Баб понасилили.

Изъехали землю и повоевали, набрали полону – без числа множество, и ушли вспять.

А на колокольне с обгоревшей лестницей прыгал в дыму недосыгаемый Живуля-звонарь – по колено в обломанных стрелах, и жаром оплывало лицо, тлела рубаха на спине, звенели колокола напоследок – докрикивались до Бога, – а пленные уходили – оборачивались на зов.

Звенело еще день целый, отгоняя напасть от города, а там пореже – за упокой души, а там кой-когда – обмирая, а там и умолкло.

«Птицы небесные, напитайтесь крови человеческой; звери! наешьте мяс человеческих!.. Братию свою ограбляем, убиваем, в погань продаем...»

Разостлалась понизу земля-красавица, многоплодна и семенита, обстали вокруг колокольни сады добролиственные, леса с водами, дотлевал в одиноче-

стве Живуля-звонарь – веревка намотана на кость, – кто теперь дозвонится до Бога? – а Нехорош Скубило, Безногий Хвостов, пронырлив и сметлив, об одном сапоге бежал от Шушпана-врага, трех коней заморил, на четвертом доскакал до родни, тоже стал скликать поганых, Етебичей с Кулобичами, отомстить за стыд свой.

«Они мой Городец пожгли и церковь, так я им отожду за это...»

14

...и опять прокричал заяц, как душу напоследок отдал, и они дрогнули.

Может, был это тот заяц, что пробегал мимо поутру, потряс шелковистой шкуркой да погрыз на виду капустки, – Масень того не знал. Лежал на полатях головой книзу, маленький и настырный, оглядывал заманчивый мир, а мужики сидели вразброс, кто как и кто с кем, позабыв про прежние несогласия.

Гридя с Облупой.

Афоня с Голодушей.

Озяблый с Двоежилым.

Обрывок с Огрызком – спина к спине.

Окружало их беспредельное пространство, великое, обильное и безнарядное, раскраплены были и утрянны в океане леса, диком и нехоженом, – но вот подбирались уже и по их душу. Помета на ольхе – топором. След на подходе – сапогом.

Куда бежать дальше?

Хоть в болоте топись.

И тогда закрутился на месте Облупа Федор – змеей на кочке, презаглядывал во все глаза.

– А что? – сказал. – А пусть. Может, еще пронесет.

Был он вертляв между всеми, плюгав, завистлив и сглазчив: зуб крив изо рта. Вечно подсматривал за другими – глаза пупком, у кого чего есть, да палец грыз, да

слюну сглатывал: бросовый мужичишка, вонь толченая, ни с чем пирог.

– Тимофей, – спросил с лебезинкой, – отсидимся?

Тимофей-бортник до него не снизошел.

– Мужики, – спросил, – отмолчимся?

Обрывок с Огрызком так глянули, как на нож посадили.

– Масень, – спросил, нагледя от ужаса, – чего ты скажешь?

– Уходите, – сказал Масень Афанасий. – Мне не до вас.

Там, понизу, стрекотнула сорока, как спугнул кто, и надо было доглядеть теперь в дальние кусты, чтобы уловить первое их шевеление. Волк, может, выйдет, а то и лиса, откушав мягкой зайчатины.

– Кто на низу? – спросил Тимофей-бортник.

Тимофей спрашивал – надо отвечать.

– Никого, – сказал Голодуша. – Все тут.

И опять сунулся Облупа – лживо на лживе.

– Все, – подтвердил. – Как есть.

Тимофей-бортник только глазом повел, и Облупа крутнулся на зад, как в бревно ввинтился. Тимофея он опасался. Перед Тимофеем труса трусил. И не один он.

– Вам чего? – загрустил в обиде. – Вы перепречетесь. А я куда со своими?

У Облупы был опыт. Облупа не раз уже бегал. Облупа в своем многодетстве на шкуре испытал: только побеги – одного потеряешь, двое приболеют, еще одного жена скинет, – куда ему трогаться?

– Нам в куче быть, – попросился. – По одному сгинем.

И опять презаглядывал во все глаза.

– Я Ларю на себе понесу, – быстро сказал Голодуша.

– Я – Стеню, – сказал Якуш.

А Облупа только вздохнул. Троих ему не снести.

Облупе было обидно. Облупа со своим многоплодием способен был народить без счету, наполнить пу-

стые пространства обильным народонаселением, чтобы вскипало оно и живело, шумело оно и жирело, и чтобы село оно в нехоженном краю, где лес от века не пахан, посекло и пожгло под пашню, перешевелило камни, перепахало плеши, житом завалило по горло, – время того не давало: леший его задави! Время настырничало без надобности, воевало и пустошило, мучило и насмерть побивало, и потому растрачивалось Облупино семя без пользы, прибýtка земле не несло.

И тогда Облупа надулся.

Заспесивелся от обиды.

Пошел придираться к безответному Афоне.

– Занял ты у меня, – сказал глумливо, – еще в Талице – пяток яиц. А тому уже минуло сколько лет, и я бы за то время развел много курят.

Афоня на это ничего не сказал.

Афоня на ихние несправедливости только вздыхал часто да мешал верный состав.

Сулемы подбавить, купоросу, сушеной травы молокиты, травы глистнику да травы салвеи.

Тут они и подobreют...

15

И тогда Голодуша пожалел Облупу.

Голодуша всякого жалел, без отличия-разбора.

Всякого и всегда.

Было ему с этого удовольствие душевное, и не было ему с этого доходов жизненных.

Оттого и жил плохо, мужичишка непрожиточный, увядал на корню, пропускал каждого перед собой, а они пользовались.

– Ладно, – сказал Голодуша. – Вместе уж как-нибудь... Снесём и твоих.

– Ты помолчи, – схамил ему Облупа от душевной тоски. – Я твою жалость под пяткой топчу.

Знал хорошо Облупа: никто не понесет его мальцов.

Знал хорошо – Голодуша.

И потому только поежился под рубахой – рубец лег на душу, и опять пожалел Облупу.

Пожалеть бы ему себя в первую голову, да он того не умел. Был он тощий, Голодуша Иван, сохлый, плоский и умятый, как вальком битый и со стирки выжатый. Ел в жизни мало и по случаю, и потому живот усох и прикипел к спине, рот завалился внутрь вместе со щеками, тело вес не держало. По размаху земли этой, по ее доброплодию сидеть бы Голодуше Ивану за многопищным столом, есть не переест кашку яшную, кашку репную, кашку морковную, да галушки грибяные, да пироги с рыжиками, лапшу гороховую, лапшу молочную, уху с потрошками, курю в лапше, кишки-рубцы-печень с кашей сальной, взвары квасные с ягодой и со пшеном, пироги с маком, с горохом, с репою, курник-пирог, – ел он вместо этого лист липовый, кору березовую, жужелиц, солому, мох, конскую падаль-околева-тину: недоедено за жизнь столько! – теперь не нагнать.

– Спуститься не можно ли? – вслух подумал Голодуша. – Помирать на сосне – какая сласть?

– Кому на сосне, – сказал Масень, – а кому и на березе.

– Ты вот что, – велел Тимофей-бортник. – Тебе перейти отсюда, не то выглядят снизу.

Масень Афанасий на это не ответил, только плечом дернул. Не для того он выбирал березу, светлую да говорливую, чтобы на команды поддаваться. Не для того глаза раскрывал поутру, чтобы потом не глядеть. Не для того жил, чтобы не жить.

И опять стрекотнула сорока, как впопыхах наболтала.

– Я так думаю, – присоветовал Голодуша безо всякой надежды. – Кому-то надо на них сойти, выглядеть его по следу.

– Сойти надо, – сказал Якуш. – Может, бабу послать?

И снова надулся Облупа – обиды своей ради, полез ни с чего на грех.

– Накидал ты на мою землянку, – сказал Голодуше, – еще по зиме – снегу. А по весне стаяло и затопило, рубахи мои погнили с портами – теперь отдавай.

Голодуша и спорить не стал.

Чего спорить?

Когда кругом все правые, один он виноват.

– Отдам, – сказал Голодуша. – Только нету.

Чем и не удовлетворил Облупу.

– Подле пчелки в медок, – сказал на это Тимофей Озяблый, – а подле жука в дерьмо.

Он бортник, ему ли не́ знать?

Облупа опять завертелся – от жгучей обиды, но Тимофею не поперечил.

И Голодуша в который уж раз пожалел Облупу...

16

Тут всполошился Якуш Двоежилый.

Большой, тяжелый, корявый и многодельный.

Якуш не привык прохлаждаться, тренькать без пользы языком, на припеке яйца парить. Ждали его дела всякие, труды натужные, обильные, но бесполезные: сколько за жизнь наработано, столько и потеряно.

– Чего ждем? – сказал. – Солнце еще высоко, рабочая пора, дело не сделано.

– Сиди, – велел Тимофей-бортник.

И Якуш подчинился.

Силы у Якуша были, умения не занимать: набегали со стороны наглые захребетники, подбирали чистенько, кому не лихо, одни руки ему оставляли, чтобы не сидел Якуш без дела, наработывал на новый набег. Его пограбят, а он дальше ломит, с потьма до потьма. Его опять,

и он опять. Сидя теперь на полатах, сколько уже наготовил: липки, дуплянки, ушатики, веретена с коробами, ложки, кузовки, вальки, жбаны и набирухи, – как унесешь да кому сбудешь?

– У меня, – сказал, – готовизны много. Чего с ней? На это ему не ответили.

Себя бы уберечь, со своими не пропасть, – какая уж тут готовизна?..

Нужда ум родит.

– Кто бы мне помог, – сказал Якуш, – я бы и поделился. В город снесем, еды наменяем, – чем не хорошо?

– Где он, твой город? – сгрубил Облупа. – Всё дымом ушло.

– Есть где-то, – сказал Якуш. – Не всех пожгли.

– Раз уж пошли жечь, – резонно возразил Голодуш, – чего бы им прерываться? Дело такое – только раззадорит.

И пожалел Якуша.

Но Якуш был упрям. Якуш не поддавался. Очень уж ему хотелось готовизну сбыть.

– Один-то, – сказал, – могли и пропустить. Стороной обошли. Боем не взяли. Мало ли чего? Мы и сменяем.

– Один-то, – радостно сказал Облупа на зло запасливому соседу, – и мы пропустим. Тоже стороной обойдем. Ноги только бить с твоей готовизной.

И Якуш сник.

Якуш пригорюнился.

Всё шло к тому, что и на этот раз его пограбят.

А почему бы и нет?

Понизу беда ходила – в сапогах с набойками.

Понизу пометы ставили, как огораживали перед отловом.

Понизу зайцем кричали – в острых зубах.

И пролетела близко большая, темная птица – не разберешь кто, воздух шелохнула крылом.

– Не к добру, – сказал Гридя.

– Не к добру, – сказал Голодуша.

– А нам и добро не к добру, – сказал Облупа, и все кивнули согласно.

– В землю захоронить, – сказал вдруг Якуш себе на удивление. – Всю готовизну. Лапником переложить. Песком присыпать. Пролежит до лучшей поры.

– Где она у нас – лучшая пора? – уныло возразил Гридя Гиблый. – Погниет в земле.

– А и погниет – я опять наработаю. Чего там!

Упрямый Якуш.

Лошадь ломовая.

У другого руки бы уж отпали с отчаяния.

Таких только и грузить.

На таких только и возить...

17

Ухнуло в недалеких болотах – протяжно и тяжело.

Помолчало.

Ухнуло еще: посильнее, как поближе.

– Чего делать-то будем?! – раскричался Облупа Федор. – Кто хоть знает?

– Вот я тебя скину отсюда, – пообещал сурово Масьень Афанасий. – Полетишь по ветру.

Тот и затих пугливо, закосил вёртким глазом.

Все лето, с весны, как земля оттает и кол в почву пойдет, ухало с болот и ахало, чмокало, стонало, ухлюпывало страшенно, будто огромный, с дерево, мужичина шагал размашисто по трясине, по зыбуну с ходунном, вытягивал натужно одну ногу, за ней вытягивал другую.

Днем еще так-сяк, стращало без надобности: ежились они и терпели, – а ночью, бывало, не спали совсем, сидели, пилились в темноту, ждали покорно, когда мужичина пересечет, наконец, болото и посуху дошагает до них. Похватает, заломает и в рот.

А Обрывок с Огрызком, змеиные выползки, только качнулись разом на одну сторону, смачно сплюнули вниз.

– Вы чего?! – озлился Масень и даже голову повернул на звук, прервав на время наблюдение. – Нашли место!

Сразу стала немила земля понизу, ягоды, гриб, заяц с дятлом, оплеванные теперь подробности. Если всякий станет плевать себе – с неба на землю, вольничать без разумения, пакостить без смысла, и на низ сходить незачем. Сиди себе на березе, жди покорно, пока загадят тебя по самую макушку.

– Свое заплевали, – бормотнул Масень, – так теперь за мое.

Они ему не ответили: не стоит того.

Сухие, подбористые, острозубые, как в одну масть, ловкие – ухо с глазом, жизнь проживали молчком и в одиночку, что не в пример легче.

Лег – свернулся, встал – встряхнулся.

И опять ухнуло за ближними кустами, как сосну положили навзничь.

– Тимофей, – попросил Якуш, – не тяни душу.

– Подколенки свербят, – ответил на это Тимофей-бортник и замолк снова, а они вытаращились на него, угадывая недосказанное.

Встали на ноги Обрывок с Огрызком, поверху оглядели каждого, примерились, как при покупке, оценивая товар.

Гридю – светлого и прозрачного, как на смерть готового.

Афоню – дураковатого с виду, с вонючим его составом.

Облупу-никудышника – завистливого до корчей.

Голодушу – несытого до синевы.

Двоежильного Якуша – в иссушающей работе-угробе.

Масеня – блаженного лентяя-упрямца.

Тимофея-бортника – не разбери поймешь.

Постояли, покачались на носочках, сели разом на прежнее место, всякий потеряли интерес.

Не тот на рынке товар.

– Подколенки свербят, – безжалостно повторил Тимофей. – Путь будет.

– У него свербят, – раскричался Облупа, как с узды сорвался, – он пусть и идет! Один! Куда захочет! А мы тут останемся. Мы пересидим. Пересидим, а?!

И заелозил по бревнам. Похватал за руки. Засматривал в глаза, а они отворачивались.

Тимофей переждал крик и сказал:

– В ночь уйдем. За болота. Без оглядки-возврата.

– В ночь, – возразил Якуш, – потонем.

– А днем – догонят.

А Облупа уже и руки обронил на бревна, качался из стороны в сторону: Ширшика ему не снести по болоту, Аленку с Михалкой – тем более.

– Вы идите, – сказал Масень, не прерывая наблюдений. – Я тут остануся.

Шелохнулось над головами, на верхних полатах, как шаг ступили без спросу. Там, наверху, затаилась жена Масенья, пуганая баба-невидимка, слушала – на уши себе мотала.

– Все пойдем, – сказал Тимофей-бортник. – В одну ночь.

– Все и идите, – согласился Масень. – Тихо зато будет.

Тут уж они и раскричались.

В одно горло.

Как нарыв прорвало.

– Ты! Тебе сколько говорено, чтоб на сосну ушел!..

– Ты! Тебя первым увидят, и нас за тобою!..

– Ты! Прихватят, примучат – дорогу укажешь!..

– Ты! Ты! Ты!!!

Тут Масень и сорвался с задвижки.

В первый, должно быть, раз.

Сел. Поглядел прямо. Сказал убедительно:

– Да я, может для всех стараюсь. Просвет в жизни выглядываю. Чтобы на низ сойти. В Талицу воротиться. Зажить по-старому.

Они и замолчали.

Рты пораскрывали.

Глазами затуманились.

– Ну и что? – сказал Гридя с надеждой. – Как там с просветом?

– Нету пока, – ответил кратко. – Будет – скажу.

И опять завалился на пузо.

Просвета, и правда, не было.

Прогала не было.

Малого просветления во тьме.

Мир озверел до крайности. Сеялся раздорами. Крамолил, смутничал, предательствовал злобы ради, век сокращал людской. Города и села стояли пусты, нивы поросли, на них жили звери, скорбь была в людях и нужда, печаль и вопль, томление и мука. Вечно тянуло дымом с неблизких пепелищ, едким и затхлым, от старого дерева, прелой соломы, кизяка с мочою, кожи, костей, гнили, паленой шерсти, мусора житейского, – сажитая мерзость, беда с копотью.

Жгли своих.

Жгли чужих.

Жгли кого попало: только тараканы вразбежку.

Жгли – и снова отстраивались, чтобы было чего жечь.

Время стояло такое – взгарное и копотное. Небо обвисло – мглистое и дымлеватое. Жизнь угаристая – до тошноты. Сажа вкопtilась в души – не ототрешь.

Черное слыло серым; серое – белым, а белого уж и на свете не было.

Что человеку мизинному делать?

Только верещать от ужаса, зайцем в чьих-то зубах.

– Ой, – сказал Масень без особого удивления. – Зашелец на тропе.

Никто и не шелохнулся еще, а Обрывок с Огрызком – ужинающая порода – уже скользнули вниз по стволу – и нет их.

И Облупа Федор занудил вдруг по-комариному, как Богу зажалился...

18

«...а сей мир имеет печаль, скорбь, грыжу, болезнь, плач, страсть, недуг, воздыхание и слезы...»

И вот на реке Чурьюге, близ моря дышащего океана, в области города Каргополя объявился Мужило Клим, горододелец с артелью, и поставил по уговору церковь воскресенскую с трапезой, и звонницу учинил – лепоту каменную. Начата строением в лето, как сговорились, а свершена была к зиме, на тот год, как и ладились. И сходились из полунощных стран потрясенные народы – чудь, меря, весь, народ гам или емь, и головы задирали, и рты разевали, и шапки спадали, – «Ишь, стоит – не шелохнется!» – но тут пробегал мимо невесть кто на невесть кого, походя прошиб двери, таранами проломил стены, камнями пробил купол, крест своротил набок, изъязвил и огнем пожег, – и сломался Мужило Клим, горододелец, не стерпел напоследок поругания, ушел – не обернулся, и имя сменил.

А на торговом пути, в поселении на волоке, что от Днепра до Ловати, где север снюхивался с югом через варягов-греков, объявился в одночасье Лепило Макар, умелец редкостный, и кузню себе поставил, фартук завел, зазвенел тоненько по наковальне, как на малой колоколенке, искрами запестрил себе на удовольствие. Ковал на загляденье кружева с мишурой, короба, доспехи для кованой рати, а топоры не ковал, снасти колесные, бочкарные, мельничные – тоже, – не по руке работа. И сходились на звон древляне, кривичи с дреговичами, дикие и разбойные ятвяги из топей-болот, и

языком цокали, и глаза закатывали, и по плечу хлопали, – но тут проскакали мимо невесть откуда и невесть куда, своротили, не заметив, пограбили, не ощутив, – и закручинился Лепило Макар, коваль, фартук в сердцах бросил, ушел – не оглянулся, и имя сменил.

А в залешанских краях, в Задвинье да в Закамье, по соседству с угрой и самоедью, в диком, добычном краю объявился атаман Оберуч со своими бродниками – Тюха с Матюхой, да Колупай с братом, бил, уродовал, новые землицы отыскивал, руду пускал без жалости и жизни лишал. Ходил в ладьях и бился пеший, богатств накопил без счету, мехов с золотом, каменьев – адамант, визуй, достокан – мешками, яхонты лазоревые, изумруды с зерном гурмышским – горстями, а на досуге вино отхлёстывал по полной чаше, боролся на кулачках, не верил ни в сон, ни в чох, а верил только в себя. Глядели на него с почтением окрестные народы – мордва, печора, камские болгары, заволоцкая чудь, дань платили, подарки дарили, дочерей отдавали, – «Вынимай монь» – помилуй нас! – но заскучал невесть с чего атаман Оберуч, всласть нахлебавшись крови, отмылся в студеной воде, одежды сменил и богатства закопал, ушел – не оглянулся, и имя сменил.

«...исцели, Прехвальная, души моя мозоли...»

А в месте пустом и нехоженом, на реке рыбистой, говорливой и без названия, в окружении ивняка с камышом, где нету просвета, объявился Олиска Оплач, рыбарь, и шалаш поставил, очаг сложил, казанок подвесил, и звезды по ночам считал да стебелек грыз. Слетались к нему птицы – без страха, сходились к нему звери – с интересом, а он их словам учил, рыбкой кормил, лаской приваживал, да песни пел – себе на потешку. «Пойдем, девки, побираться, много хлеба поедим...» Не было вокруг окрестных народов, никого вроде не было, но унюхал невесть как его варево другой рыболов-отшельник, набрел в камышах, шалаш поломал, очаг потоптал, зверей распугал, чтобы одному звезды считать

да стебелек грызть без помехи, – и загоревал Олиска Оплач, рыбку последнюю доглодал, ушел – не оглянулся, и имя сменил.

А красота каменная опадала пока что от безнрядья, на стенах березы выросли, на низу – малинник; а от кузни осталось горелое место, где не селился никто и не ковал редкостно; а яхонты лазоревые в земле потускнели, а с ними и камень адамант, камень визуй да камень достокан; камыш выжгли, птицу разогнали, реку попортили; – и обвалялся Мозгляк Лучка, моргавый и сопатый побирушка, в свином кале – с ног до головы, помогился обильно на свою рванину, завизжал, зарычал, прокрутился волчком, и полез на карачках в конуру собачью, сунул оттуда голову – в колтунах и парше – и пакостно загавкал на мир этот...

19

...а Облупа нудил и нудил по-комариному, сам себе затыкая рот, но они уже повалились на пуза, дружно и грузно, головы свесили в ряд.

Тени легли предвечерние.

Лист опадал бездыханный.

Жизнь утихала в близких смерканиях.

Звуки утекали.

Запахи.

Цвет.

А на немятой траве, посреди позабытой тропы, сапогом зацепившись за пень, торчал высоченный жердй с котомкой на спине, как ждал кого-то.

Долго торчал.

Потом сказал:

– Задел за пень да и простоял весь день.

Был он нескладен собою, виловат да жиловат, космат бородою и плешив на макушке: смешон – не страшен.

Опять постоял.

Опять подождал.

Шагнул шаг целый, сапогом заплется за сапог.

– Без хмельного, без дуды ноги ходят не туды.

Гридя фыркнул с полатей, не удержавшись, но получил тычок в бок и поперхнулся.

Даже Облупа перестал нудить, глядел на низ в оба глаза.

Что дурно, то и потешно.

А жердяй встал, как надолго, уходит вроде не собирався.

Поглядел на ноги, покачал головою, сказал грустно:

– Постой, дедушка, не умирай: за киселем побежали.

И пошел в пляс вокруг пня, сапоги задирая за голову.

– А вот к вам Тихон, с того света спихан! В болоте живет, по-лягушечьи орет! Жить ему нынче весело, да жрать ему стало нечего! Кто скуп, у того сален пуп! Кто чтив, у того гашник вшив! Пусто в кармане, и даль в тумане!..

Тут уж все прыснули, запихались локтями: смешно ведь! – и даже Якуш просветился посреди забот.

А он оборвал вдруг, как не было, зевнул, потянулся, сказал с тоскою:

– Охо-хо, поохотать не с кем! Пойдем дале, где бы дали.

И ушел за куст.

Будто и вовсе не был.

А они глядели – не верили, моргали – не понимали, соображали в тугом раздумье.

Тут крутилось, – куда укатилось?

– Это чего было? – сказал Гридя.

– Это ничего не было, – сказал Голодуша.

– Блаз, – сказал Якуш. – Игрец. Морока болотная.

И поглядели на Тимофея-бортника: его ума дело.

А Масень встал решительно, шагнул без задержки – с полатей на сук.

– Сиди, – велел Тимофей.

– Ты сиди, – велел Масень и шустро полез на низ, с ветки на ветку, споро шагнул за куст.

Стоял жердй за кустом.

Ждал.

Не уходил.

Серьезный – без улыбки.

– Ты кто есть?

А он отвечает:

– Человек со всячинкой.

– А звать как?

– Хвальбун шумоватый.

– А куда идешь?

– Иду по масло, да в печи погасло.

Тут за его спиной выросли из травы Обрывок с Огрызком, руки потянули для хватания.

– Ты им скажи, – велел жердй, не оборачиваясь. – С меня давно уже корысти нету. Всю обобрали. Грабят, кому не лихо.

Те снова в траву ушли, звуком себя не выдали.

– Полезли, что ли? – сказал жердй.

– Куда это?

– Солнышко на закате, время на утрате. Запоздал.

Обночуюсь у вас.

Масень оглядел с пристрастием: уши лопухами, нос нашлепкой, губы вывертом, а глаза – добрые.

Видно золото на грязи.

– Полезли, – сказал Масень. – Ночлег с собою не носят.

Он долго лез на березу, пропихиваясь нескладно в переплетении ветвей, взборматывал через раз:

– Так-то так, а назад-то как?
А они глядели на него – щурились.
Гридя – с надеждой.
Облупа – с недоверием.
Афоня с Голодушей – забоявшись.
Якуш, Тимофей-бортник – в ожидании.
Масень – подпихивал снизу.

Сунул голову на полати, осмотрел всех, сказал с почтением:

– Провалитесь лес и горы, мы на кочке проживем!
Но они не ответили.
Рано им было – отвечать.
Не обвыкли еще.

Забрался на полати, сел, ноги подобрал, отдуваясь:
– Вот он я, люди добрые! Места у вас – куриная гузка. Как же вы спать-то спите?

– Нас больше было, – осмелел Облупа. – Зимой поредели.

– Ясное дело, – согласился. – Где густо, там и промирают.

– А густо – это сколько? – робко спросил Гридя.

– Мы с тобою – вот и густо. Как огустеем, так нас и проредят. Чтобы лишку не было. Жирок не завязался. Мясом не обросли.

– Лишку давно нету, – сказал Голодуша. – С самой еще с Талицы. На свадьбу у меня две хлебни наварили да три жарка: поросеночек, гусь, скотское мясо.

– Поели? – поинтересовался жердяй.

– Поели, – сказал Голодуша. – Еще в Талице. И хлебушком вымакали.

– Вымакать, – пожмурился жердяй, – это я люблю!
И все кивнули согласно.

– Ты кто? – спросил Тимофей-бортник.

– Человек со всячинкой, – ответил за него Масень.
– Хвальбун шумоватый.

– Точно, – подтвердил тот. – Иду по масло, а в печи погасло.

– Мимо города не проходил? – спросил озабоченный Якуш.

– Проходил. Три дня пути оттуда.

– Готовизну! – всполошился. – Обменять! Кто со мною?..

– Сиди, – велел Тимофей-бортник.

– Сиди, – велел жердьяй. – Тот город тебе не гож. Там не меняют. Там убивают.

– А ты как прошел? – с пристрастием спросил Масень Афанасий. – Тебя чего не убили?

– А я их ухохотал, – ответил смиренно. – Весь путь ухохотал – от греков к варягам. Тем только и жив.

И подмигнул потешно.

Проскользнули наверх Обрывок с Огрызком, сели на отлете, спина к спине, как и не уходили.

Жердьяй дрогнул, покосился на них, затосковал глазом.

– Ты чей? – спросил Тимофей-бортник без особой ласки.

– Теперь ничей, – ответил тот. – А прежде – чей только не был!

– Мы тоже ничьи, – сказал Масень. — Только никак не привыкнем.

– Не надо, – сказал жердьяй. – Не привыкайте. Отвыкать потом трудно.

А Афоня Опухлый загунявил чего-то в кучерявую бороду, руки потянул – с вонливым составом.

– Чего он? – спросил жердьяй. – Угощает, что ли?

И все потупились.

Гость – птица редкая.

Гость – Богу угоден.

Гостя у них не было с самой с Талицы.

Гостя положено принять: хоть укради, но угости.

Украсть негде и угостить нечем.

– Ладно, – сказал Тимофей-бортник и пошел за припрятанным жбаном.

У Тимофея всё есть, только не допросишься...

Меду в наших краях – неудобь сказаемое множество.

Мед сотовый.

Мед самотек.

Мед топлёный.

Мед сахарный.

Мед на подсыту и мед на подсласту.

Красный – с гречи.

Белый – липец.

Светлый и чёрный.

Кислый, крепкий и старый.

Подрезной, подкурной, яровой.

Каменный – затверделый, от диких пчел.

Вишневый, малиновый, черемховый, яблочный.

Мед княжий, боярский, братский.

Мед лучший, расхожий, столовый.

Медовина.

Квас медвян.

Мозжееловый.

Был бы мед, мух много нальнет.

– Эх! – заверещал жердяй. – Кому меду пить, а кому биту быть!

И первым присосался к ведерному жбану.

Сидели они вкруговую, тесно, один к одному, и жадно отхлебывали дармовое угощение.

Было оно хмельное, тугое, настоено на иглах сосны – от ломоты, без охоты текло в рот.

Сладкое поначалу, да горькое под конец.

– К меду, – сказал жердяй с пониманием, – хороши пироги пряженные, рыба живопресольная, пупки под уксусом, вязига под хреном, рыжики холодные, грузди гретые, потрох лебяжий с шафраном, уха окуневая, горлышко белужье, зайцы сковородные, куры верченые, сыры губчатые, морсы отстоялые, варенье ягодное, варенье кардамонное, вино фряжское, черкасское, угорское, – какое есть.

– Ты откуда знаешь? – спросил Облупа обидчиво. –
Едал, что ли?

– Едал – не едал, – ответил туманно, – а что окоротил, того не воротил.

И присосался надолго по второму разу.

С голодухи – в голову ударило.

Ноги завалило.

Язык отняло.

Храбрости подбавило.

Жердяй был теперь не страшен.

Мир не страшен.

Мужичина на болоте, что ухлюпывал без жалости.

Прочие всякости.

А чего?!

– Уж на тот год, – пообещался Гридя по пьяной смелости, – в Талицу воротимся. Хватит нам. Накуковались на полатах.

– В Талицу! – загалдели. – В Талицу. На прежний припёк!!. Сала наесть. Голодом не жить! Нужду не пасти!

– Не, – сказал Облупа без надежды. – Другую зиму не пересидеть.

И пожалел себя по-пьяному, всласть.

Слезу пустил в бороду.

Но жердяй расслюзиться не дал.

Мед пили, жбан опрокидывали, – для того, что ли?

Было ему тепло, покойно, усидчиво: на душе сытно стало.

– Эх, – сказал, – что это вы заунывно сидите? Хвастаться стану!

Обрывок с Огрызком оглядели его придиричиво, как место выбирали, куда ткнуть, а он – хоть бы что!

– Иду. Лесом. Буреломом. А навстречу – бесы! Многого! Черные. Страшные. С хвостами. И губы толстые!

И округлил глаза.

– Ну?!

– Я их и пошел кочергой колоть. Колю да ногой давлю. Еще колю да еще давлю. Надавил – выше леса!

– А где кочерга? – спросил хозяйственный Якуш.

– О крайнего поломал. Уж больно жирён был.

И глотнул из жбана.

– Эх, братцы! Нажить-то я не сумею, а прожить-то и я смогу! Еще хвастаться буду.

– Давай!

– Иду. Дорогою. Стоит на пустоплесье сивый старичок, мал-стар человек – не выше пенька. И пройти не дает! Дунет – снесет. Еще дунет – еще снесет.

– А ты?

– Плюнул на него да перешиб надвое.

– Ври!

– Выдь душа! Ноготь меня дери! Не эдаких видал, да редко мигал! Хотите, летом улечу?

Забоялись:

– Сиди...

Пили. Дурели. Слушали.

– Я уж два раза обмирал. На том свете был. Хо-о-рошо! Не стра-ашно! Тут – не в пример хуже.

– Чего ж ты воротился? – жадно спросил Масень.

– Выкинули. Живи, говорят. Своего не нахлебался, а тоже лезет! В свой срок помшишься, тогда приходи.

И снова глотнул.

– Наша ложка не щербатая, – хвастаться буду!

– Хватит уже, – сказал Тимофей-бортник. – Употел, нахваставшись.

Но жердай – ни в какую.

– Иду! Изба! Гнилая. Как гриб черный. На курьей ножке, на собачьей голёшке. Блином промшита, лепешкой покрыта, пирогом подперта. А в ней! На печи! На девятом кирпичи! Баба-путалка! Гуляйте к нам! Будем болото сушить да чертят душить!

Слушали. Рты разевали.

– Иду! Гляжу! Море огневое! А в нем – великорыбие, огнеродный кит, змея елеафам! Лежит, на спине

землю держит. Как зашевелится, хвостом потрясет, потечет река огненная, – тут нам и конец!

– Слушай, – сказал вдруг Масень. – Живи с нами. Куда тебе идти?

Тут он и остановился, как протрезвел, поглядел на них, отдельно на Обрывка с Огрызком.

– Лучше вы со мною, – сказал. – Уйдем затепло. В куче будем. Любо два!

На это они не ответили.

Чего отвечать?

Мир полон страха. Опасностей. Западней с ловушками. Где-то там затаились Живоглоты, Волкохищные Собаки, Заломаи с Погонялами. Тут хоть и помрешь, да своей смертью. Всё не в полон, не на пику, не под саблю.

– Нету там полона, – сказал на это жердьяй. – И пик с саблями.

– А куда зовешь-то? – спросил Грядя с сомнением.

– А к блаженным гипербореям.

– Чее-во?!.

22

Жбан опростали.

Каемочки облизали.

Угощение кончили.

Пить стало нечего.

Да и незачем.

Темень покрыла с головою. Мрак непросветный. Дремота с немотою. Ночь-ночью.

Руки протянутой не видно, – что в ней?

Лица соседнего не видно, – что с ним?

Себя самого не видно, – кто я?

Да поднимись на самую могучую сосну, взлети самой высокой птицей, – что ты увидишь, в ночи родившись?

Ночь для сна, день для зла.

И глаза залипали уже на долгий сон, как медом помазаны.

– Я расскажу вам, – начал жердья. – Хвастать не стану. Чего мне? Какая от вас корысть?

Тихо говорил, покойно и напевно, как баюкал-подманивал без возврата, и чья-то голова свесилась с верхних полатей: лица не разобрать.

– За Пучай-рекой, у синего Латырь-моря, в лесной земле за северными горами живут с начатия веку блаженные гипербореи – на судьбу не ропщут. А место у них – Божья пазуха, небесная доброта с землеплодием, где всего предостаточно и всё без отказа, – а им и того не надо. Нету у них домов, лошадей со скотом, полей сеяных, но и оружия тоже нету. Земля их кормит, река их поит, зверь одевает, а живут они под деревьями, в шалашах из ветвей – с детьми-стариками. Чего поймают – сварят, чего найдут – сгрызут: не радуйся – нашел, не плачь – потерял. Нету у них надежд, нет страха, нет даже желаний, за которые надо платить. Не боятся они ни людей, ни богов, не завидуют чужому, не опасаются за свое, живут мирно, в братолюбстве и нищелюбстве, без усобицы и мятежа, и тихость великая в их земле, и рады они своему нехотению. А знают про тот край одни только бывальцы с зашельцами, и путь туда непроходим – пропастями, снегами и лесом.

– А ты как пройдешь? – в дреме спросил Масень Афанасий и повозился, укладываясь.

– Желанием великим, – ответил жердья. – Где пешью пройду, где на прилепушках доеду. Раз уж на сердце легло, на ум пало. Дойду, поклонюсь низко: братья, примите к себе в любовь. Они не погонят...

– Коли так, – бормотнул Гридя Гиблый и глаза под лоб увел. – И я с тобою...

– И я...

– И мы следом...

Все вроде спали.

Все утишились.

Общий на полатях повал.
И пролетел кто-то невидим.
Крылом чиркнул по ветке.
И загугукал в ночи.

Гугук! гугук! хохлатая птица гугук! клюет – не к добру живет, – на чью хоромину сядешь? кому смерть накричешь?

Гугук! Гугук!..

23

...а в лопухах, за огородами, под мясистыми листьями, где прохлада и в зной, смирно сидели две задумчивые коротышки, невидные по малости, взглядывали оттуда на жизнь.

Звали его – Митя Лапоток.

Звали ее – Паня Маковка.

Катышками от рождения, проворные и укладистые, носы – капелькой: ходили вместе, играли вместе, вместе сидели в лопухах.

А название тому месту – Каргино поле, сплошь пригодное для боя, конного и пешего, где вечно орали вороны, шевелом шевелились черви, трофей обрастал травой никому не на пользу, – но ходить туда остерегались: напорешься на меч, наступишь на череп, наткнешься на острый скол. «...тут богатыри кладутся русские...» Пахать на поле не пахали, сеять не сеяли, хоть и удобрено было, на метры вглубь: «перемоги нас, и тогда тебе вся земля...»

Митя Лапоток ходил по грибы, а Паня Маковка – по ягоды.

Грибов было непомерное множество, ягод – и того больше.

Набирали лукошками. Разжигали костерки. Пекли на прутиках грибы. Заедали ягодой.

Вышел на них медведь – на дереве схоронились.

Вышел на них волк – в дупле перетерпели.

Вышел торчин-собака – улепетнули на коротких ножках.

И опять сидели в лопухах, за огородами, пристально глядели на жизнь, ладошкой держались за ладошку, – губы измазаны черникой, малиной, смородиной – по сезону.

Пыль вскипала на Каргином поле, дудели в боепризывные трубы – суд Божий, сшибались полки – все вдруг, топтали стяги, рубились, жали людей, как колосья, треск – звон – стоны со смятением: «Ох, этот враг меня покончил!» – и оставались потом мертвые, колотые да рубленые, что догнивали дружно до нового раза: «если что случится, вы будете виноваты, на вас будет кровь...», – пленных зато продавали – втрое дешевле овец.

Митя Лапоток нырял камушком, с берега в бочажок, а Паня Маковка отмокала на мелкоте.

Прибегали на речку, сбрасывали одежды, обсыхали потом рядышком, без никаких, – но подошло время, заершилась Маковка, гусиной покрылась кожей от стеснения: прикрывать нечего, а детство кончилось.

Купались теперь одетыми, отжимались в лопухах и не подглядывали исподтишка, хоть и хотелось: честно отворачивали головы.

А на Каргином поле ограды ставили – тыном стоячим, кольев насовали – не перелезть, грозно встали и грузно, конны, людны и оружны: щиты их сияли зарей, шлемы – солнца восходящие, копья – частым тростником, – «да мы их седлами закидаем, кулаками перемолотим», – но уже предательствовали ночами, по одному перескакивали через тын, трусили и отъезжали прочь: «Господин княже! Не надейся на нас, уже бо есмы ныне не твои и несть с тобою есмы, но на тя есмы», – слава их и хвала погибли, и полки сильные ни во что пошли: все там легли, все и погнили.

Митя Лапоток подросток неприметно.

Паня Маковка – следом.

Лопухи стали маловаты, мятые и давленные от многих шевелений – «медовинка ты моя!», прикрывать было теперь чего, но не прикрывали – детство кончилось, – и понесла Паня Маковка брюхо свое – хоть на каталке катать, и родила на удивление двух катышков, Божью прибыль – Типу и Типулю.

Типа – с гонором, Типуля – с норовом.

В зыбке еще не видно, а они уже на дыбочки.

А на Каргино поле знамение нашло – людям на страх, помрачение на солнце, столп огнен от земли до небес, месяц кровавые лучи испускал, два лика выказались во тьме – один зелен, другой желт: «Казнив, Господи, помилуй нас!» – не на мир-добро, а на скверный шепоток, сговор, перевет, выкапывание глаз, окормление зельем и ножовое резанье: «Не говоря никому ни слова, ступайте и убейте брата моего Бориса...», «Бориса я убил, – как бы убить Глеба?...», «Перебью всех братьев и приму один всю власть на Руси...»

Шагнул Типа за порог и наткнулся на Пуговку.

Шагнул Типуля – наткнулся на Кудельку.

Оглядели, обтрогали, языком лизнули: мягкое, теплое и не горчит, – взяли себе в компанию.

В луже плескались, в пыли кувыркались, в сене барахтались, бегали по-цыплячьи – дождь-дождем, и поглядывали уже завидно за огороды, где подрастали новые лопухи.

Для Типы с Пуговкой.

Для Типули с Куделькой.

А на Каргином поле шумело всенародство, – бунташное время, встань великая в людях, обидники и ябедники, винопийцы и драчуны, смутники, вечники-кормольники, – бесчинства чинили и укоризны, мучения припоминали и тяжелоносия: «Поди, князь, к нам: хотим тебя...», «Не хотим ни тебя, ни сына твоего, ни брата...», «Дай нам сына твоего, а брата не давай...», «Ступай, князь, хотим тебя опять...», «Теперь не твое время, поезжай, князь, прочь...», – но наскочил гонец

– рот перекошен, криком омирил всех: «Что вы тут спорите?! Поганые реку перелезли!..» – и пометали с себя порты с сапогами, босые ударились на врагов, и была сеча зла, и притомили поганых за многие их противности, вмяли их в реку и отполонили своих, пот утерли за отчину, тела понесли с плачем: «Мы уже не безнадеежники, но уповаем на жизнь вечную», – но тут вдарили в колокол, и созвонили вече, и вновь заблажили во сто горл: «Иди, князь, прими город...», «Пошел, князь, вон...»

А в лопухах, за огородами, невидные по малости, смирно сидели четыре задумчивые коротышки – Типа с Пуговкой да Типуля с Куделькой, взглядывали оттуда на жизнь, – а над Каргиным полем разгулялись орлы с воронами, играли, плавали и клохтали – знамение на добро, – да только где оно, кому оно и когда?..

24

...гугукнуло еще раз.

Ширкнуло крылом напоследок.

Умчалось прочь – пернатый нетопырь.

И пробилась луна через завалы ветвей, ущербная, подозрительная, кошачьим глазом пощурилась на мир.

И было потом шевеление понизу, недолгое и за-таенное, шумнуло разок и утихло: до лисьей темноты, до первого робкого досветка.

Потянулся жердьяй после пьяного сна, спросил глухо:

– Как нам снилось-ночевалось?

Лежали они на полатах, кто как, тяжелые приподымали головы, а Масень Афанасий фыркнул недовольно, перевалился по привычке на пузо – и охнул коротко.

За ним охнули другие...

Светало.

Нехотя оттекала мгла – под сосновые лапы, за дальние кусты, в глушь-непролаз.

Сидел на пне, посреди осмотренной не раз поляны, человек в богатых одеждах, и стражи возле него – с десятков. Стояли важно, глядели грозно, оружием зазря не брякали, – команды не было.

Дома ли хозяин? Беда пришла.

– Так, – сказал жердяй и присвистнул невесело. – Немного погуляли да много наговняли.

Человек на пне был невелик ростом, плосколик и малобород, без особых примет-качеств. Запомнить его хотелось, чтобы не встречаться заново, отвалить при случае в сторону, отсидеться за кустом, но запомнить его было нельзя.

Отсморкался. Рукавом утерся. Сказал без выражения:

– Неспособие Божие тебе. За мутные твои помыслы.

Жердяй не ответил. Только сглотнул шумно и на небо пощурился. Как попрощался.

А тот – снова:

– Велик был, а ныне малишься. В забытье ума своего. Многие дурна нашей земле сделал.

И сказал тогда жердяй с хрипотою – не своим – казенным словом:

– Мутноумен я. Худ разум имею.

А тот:

– Не мне, мухоподобному, советы давать. Воротись. Бей челом. Чтоб государь гнев свой отдал.

А жердяй – будто не он.

– Опасения туманят надежду мою. Мальство мое перед величием его – ничтожно.

– Воротись, – приказал тот. – В ноги пади. Милость князя как облак утренний.

Хлопнул в ладоши. Рукой отмахнул. Стража за куст ушла.

– Своих погони.

– Идите, – сказал жердьяй. – Не взыщите. Беду навел – беду уведу.

Они и ушли тут же: просить не надо.

Разбежались по полатам, замерли остолбенело до поры.

Один Масень остался.

– Спустись, – сказал человек с земли. – Поговорить надо.

И жердьяй полез вниз, застревая в ветвях и чертыхаясь от неспособия.

Уселся на нижний сук, спиной привалился к стволу, сказал тихо:

– Чего тебе?..

25

Тот на него не глядел.

Вынул ножичек, поковырял пень, потом только укорил:

– Экий ты! Выбежал, не сказал куда. Я бы, может, с тобой подался.

– Ой ли!

– А чего?

И переглянулись понимающе.

– Новости есть?

– Новости есть. Камнестрельную машину отладили. Города брать.

– И что?

– И ничего. Не в ту сторону камень метнула. Своих побила, своих покалечила.

И оба заулыбались.

– Еще чего? – спросил жердьяй.

– Оженился заново. Взял девку-дуравку, законопреступную жену. Глупа и груба. Крадлива и ленива. Задом крутнула разом – растаял у него животик.

– Сколько ж ему еще срамствовать?

– А до упора. Трижды тридевать трехлетий. Воробьев нынче жрет, михирь иметь в постановлении.

– Так и запишем, – сказал жердьяй. – Мухание детскоумного старца. От того человек дряхлует, и тело изнуряется.

– Витийское твое мудреглумление. Досадительные и хулительные слова. Запиши лучше: не прелюбодейства ради тако изволили совокупиться, но токмо ради детотворения.

И засмеялись невесело.

– А в морильне теперь кто? – спросил жердьяй.

– А в морильне теперь никто. Место тебе готовят. Чтоб по заслугам.

– Думаешь, посадят?

– Всенепременно и надолго. Всех переказнил, сказнит и тебя. А не пиши в другой раз: «Упырья рожа, наликий глаз, щучьи губы, овечья душа. Одно только знает – меды попивать».

– А что, непохоже?

– Похоже. За то и сказнят. Писал бы просто: «От головы и до ног не было на нем порока».

– Одно слово – копронимос, – сказал жердьяй.

– По-еллински копронимос, – поправил тот, – а по-русски – говно.

И хрюкнули дружно от удовольствия.

– Эй! – пощурился на него жердьяй. – А как он узнал, что там понаписано? Кругом – без грамоты.

– Да не мутят тебя размышления твои. А я на что?

И помолчали.

– Всё ему прочитал?

– В выдержках.

– Экий ты.

– Экий я.

Один – ногами поболтал, другой – ножичком поковырял.

– Куда хоть бежал? – спросил тот с интересом.

– Тебе на что?

– А сгодится при случае.

– На север, мой друг, на север. Где реки на ночь текут. Где птицы райские, гамаюн да финик. Где туманы по осени, да травы густы, да земля домовита. Доброухание чудное, а не злосмрадная воня.

– Понятно, – сказал тот. – Крестопреступник ты и изменник. К врагам бежал. Тайны унес. Поруху нанёс. Так и отметим в хрониках.

– Кто отмечать-то будет?

– Я теперь. Кто еще?

И опять переглянулись.

– А как вообще?

– Вообще хорошо. Дурака нового поставили. Медлив умом да языком заиклив.

– Распоряжается?

– А то нет. Не спрашивает – откуда взять, говорит только – чтобы было. Погноил, потравил, на ветер пустил – без счета. Шумом шумит и хапом хапает.

– А хозяин куда смотрит?

– Сказано тебе: на девку-дуравку. Красота у ней непомерная. Он говорит: «Так вот и так, не желаете ли вы со мной произвести любовь?» А она: «Ну дак чего ж... Давайте». Он сразу на кухню: воробьев жарить, михирь подымать.

И не засмеялись.

Еще посидели, еще поглядели.

– Зачем ты ему прочитал? – сказал жердьяй. – За язык тянули?

– Время наше, – ответил тот, – как отметится? Думал ты об этом?

– Как было, так и отметится. После нас не будет нас, а память останется.

– Не согласен. Категорически. У прежних не было хроник, – так они хороши будут? Чем мы хуже?

– Это не они хороши, – сказал жердьяй. – Это мы грамотные.

– Вот-вот, – поддакнул тот. – Грамотные – ты да я. Мы с тобой такие летописи напишем – потомки корчиться будут. От стыда-зависти.

– Это уж ты один, – сказал жердьяй. – Моё только не тронь.

– Да я уж переписал, – сказал тот. – Долго ли? У тебя было, к примеру: «По отцовскому обычаю навел он поганых на нашу землю», а я переправил: «Наследовал пот отца своего». Красиво и непонятно.

И оба вздохнули от огорчения.

– Ты сумасшедший, – сказал тот. – Любимцем был. У стремени ездил. Воротись – я заступлюсь.

Жердьяй только ногою болтнул:

– Был киселек, да съеден.

– Воротись! – заблажил с тоскою. – Лучше мы с тобою, чем эти! Ты только вслушайся! Обещало Поганкин, Смердюня Хапугин, Охлебай Полоумов, Невежа Таскай, Тупица Упырь – на подходе! Хочешь, чтобы они правили? Влиять будем! Умягчать и предотвращать! Ходу им не дадим!

А жердьяй – туманно:

– Горести дымные не терпев, тепла не видати.

Поглядели друг на друга, попечалились.

– Я ведь к тебе по делу.

– Знаю, – сказал жердьяй.

– И что?

– Нету у меня. В дороге потерял.

И глаза отвел.

– Пошли со мною, – без надежды позвал этот. – Где птицы райские – гамаюн да финик.

– Пошли со мною, – без надежды позвал тот – с лица неприметен. – Сон без печали. Постели мягки. Еды – завались. Дурак ты!

– Дурак, – согласился. – Надо же кому-то быть дураком.

– Кому-то надо...

И ножичком ковырнул.

Разодрались кусты.

Протрещал валежник.

Вывалились на поляну стражники, потные от старательных усилий, приволокли за собою Филю Ослабыша, негаданный свой полон.

Был он мятый, корявый, всклокоченный, весь в смоляных натёках, диким воротил глазом: леший, лесовик, лесной бес. Задирает голову к небу, кадыком дергал, но кричать уже не кричал: горло перехватило узлом.

Встали.

Утвердились.

Ждали приказаний.

И только кабаненок всхрюкивал жалобно, прижатый к Филиной груди.

И сказал человек на пне, как по-писаному, никому в разумение:

– Исчадие ехидново, – сказал он жердью. – Ненавидение твое в дно сердца вкоренилось. Изгордился паче естества. Всякообразные злобы на нас изливаешь. Я теперь нарушу тебя. Будет тебе жить.

– Ясное дело, – сказал жердьяй.

Рукою махнул.

Стража за куст ушла.

Филю на поляне оставила.

– Лучше я, чем другой, – сказал извинительно.

Жердьяй головой кивнул.

– Я лучше, – уперся тот, будто с ним спорили. – Тебе всё равно, а я зато в доверие войду. Дело наше продолжу.

– Наше? – переспросил.

– Наше. Если все убежим, кто останется?

– Смердюня Хапугин, – сказал жердьяй. – Невежа Таскай. Тупица Упырь.

И дрогнули оба.

И поглядели на Филю.

Стоял он смирно, таращился пугано, но чесать кабаненка не забывал, а тот только кряхтел сладко, да пузо подставлял, да глаза закатывал.

А эти глядели – дотошно и придирчиво, разговаривали негромко.

– Ты кто есть? – спрашивал тот. – Говори сейчас же.

– Имя мне, – отвечал жердьяй, – Незамай Махотка – пахарь, Сосун Первушка – нищий, Ведёрка Иван – бочар, Головастик Кузьма – бобыль, Дунин Филя – торговый человек, Лыкотряс Нечай – бортник, Иов Рыба – старец, Пирог сын Оладьин – попов сын.

– За всех не перестрадаешь, – сказал тот.

– Да уж куда там, – сказал этот.

А Филя почесал только щеку да ногтем сколупнул натёк.

Помолчали.

– Ну так что?

– Нету у меня, – повторил жердьяй. – Упрятал по дороге.

Ножичком ковырнул в сердцах, поломал тычок.

– Глупец! Чего ты хочешь? Две летописи? Две истории? Запутаем потомков! Туманом отуманим!

– Не запутаем, – сказал жердьяй. – Не глупее нас.

– Да твоя история – ужасы, войны, полоны с пожарами: «Встал род на род и воевати почаша сами на ся»! Людям хочется доброго, милого, теплого прошлого, чтобы пример брать, – кто же тебе поверит?

– Не для того писано, – сказал жердьяй.

– А для чего?! Будущее туманно, настоящее невыносимо, – чего ж ты их прошлого лишаешь?

И выдохнули оба.

– Жалко мне тебя, – сказал тот с чувством. – Родился ты не ко времени.

– Да я, может, всегда не ко времени. Что же тогда – вовсе не жить? Аще Бог с нами, никто же на ны.

И улыбнулся грустно.

Тот поулыбался в ответ, хлопнул негромко в ладоши.

Пришла стража.

Рукава засучила.

Вырвала из рук кабаненка.

Завалила Филю на спину, лицом к небу.

Ногой придавила.

– Это чего? – забеспокоился жердья.

– Это мы ему глаза будем вынимать, – пояснил тот по-простому. – Потом другому. Потом всем. Пока летопись не отдашь.

– Да ты что?!

– А что? Есть у меня выход?

27

Мир затаился, пережидая.

Ветер затих до времени.

И люди, и птицы со зверьем.

Где-то на высоте пронудел шмель и оборвал, как спохватился, – или это пронудела душа?

Минута зависла такая – не приведи Господь!

«...начнем рассказывать о бесчисленных ратях, великих трудах, частых войнах, многих крамолах, восстаниях и мятежах...»

– Да я, может, утерял, – сказал неуверенно жердья и поозирался беспокойно по сторонам. – В дупле схоронил. Позабыл где...

С неба на него глядел Масень Афанасий, голову свесив с полатей, с земли этот – лицом плосколик, да и Филя Ослабыш таращился в никуда – не сбросишь со счета.

Был он нелеп, беспомощен и смешон, смиренно лежал на спине безо всякого шевеления, руки задира с ногами: не человек – жук-притворяшка.

Жука кто пожалеет?
Разве что другой жук.

«...страшное было чудо и дивное, братья: пошли сыновья на отца, отцы на детей, брат на брата, рабы на господина, а господин на рабов...»

Неплохо сказано.

– Шутишь, сказал жердьяй и зубом скрипнул. – Глаза?! Да ты этого не сможешь.

– Чего это не смогу? Смогу. Ему-то? Тоже мне – гамаюн-финик.

И ножичком поиграл.

Было уже не рано, солнце прожаривало без пощады, пот капельный: покончить поскорее с делом, ополоснуться, закусить в холодке.

Меду глотнуть: к забывчивости.

– Я тебе упрощу задачу, – сказал искуситель. – Уши выше лба не растут. В камень стрелять – стрелы терять. Времена шатки – береги шапки. Выбери на свой вкус – и покончим с этим.

Покончим с этим – покончим с собой.

«...матери плакали о детях, девы – о своей невинности, живые завидовали спокойствию мертвых...», – кто скажет лучше?

– А зачем? – сказал тот. – Историей разве кого-нибудь научишь? Чушь! А так хоть человека спасешь.

Хрюкнул кабаненок в неласковых руках.

Филя Ослабыш ногой дрыгнул.

Этот, на пне, повозился нетерпеливо.

– Не ожидал от тебя, – сказал нагло. – Зверообразия такого и такого зверолобства. В конце-то концов: человек для истории или история для человека?

И дал знак начинать.

Кучей навалились на Филю, за руки похватали, за ноги, к земле припечатали, а один сел на грудь и нож вынул.

– Стойте!.. – завопил жердяй, и Филя, как по сигналу, вскинулся, забился, головой замотал, ногами замолотил, – один раскидал всех.

Прибежали еще на подмогу, сладили ввосьмером, лесину поперек груди уложили – только кости хрупнули, – и один опять сел сверху, сапогами лицо зажал и ножом примерился.

Хрипел Филя.

Пену пускал.

Пальцами сучил.

Головой дергал.

Ткнули – не попали, только щеку окровавили.

Примерились снова.

И завыл тогда Филя Ослабыш, заревел, рот заразевал отчаянно, воем погнался жердяя вверх по стволу.

Обдирало руки.

Обрывало рубаху.

Цепляло и не пускало наверх.

А он протискивался отчаянно в переплетении ветвей, туда, к небу, к освобождению, но вой доставал, вой подгонял, хлестал без пощады по спине...

Дрожал на полатах Масень Афанасий, остроногий, маловидный, конопатый, глаза круглы от ужаса, – руки выставлял перед собой.

Сунулся к нему, хватал за руки, дергал, объяснял-уговаривал:

– ...землю пустошили, города воевали, церкви Божии оскверняли, людей мучили и насмерть побивали... Забыть? В памяти не оставить?!..

А Масень Афанасий глядел – не смаргивал, потом исходил бисерным, губами шевелил – упрашивал.

– Сгинь! Не гляди! Кто ты есть?! Из-за кого душою играть?!..

Взвыло внизу с новой силой.

Ревучим прорвалось воплем.

Погнало по стволу дальше, обрывая ногти.

«...нечего нам озираться назад; побежавши не уйти...»

Вывалился на верхние полаты, рухнул ничком, лицом в бревна, руками уши заткнул.

– Господи! За что же мне тягости эти?!

Замолкли вопли.

Отсекло звук.

Эхо повторило напоследок, как заучило на память.

И стало вокруг тихо, а в тишине – страшно.

Он медленно поднимал голову от пола, увидел перед собой чьи-то ноги – вздернулся рывком.

Стояла на полатах жена Масеня – крупная, неохватная, пузо выше лба, щурилась сверху вниз покойно и раздумчиво.

Была она на пределе, когда обручи уже спадают, – неделя-другая, и разродится, двойню принесет на свет, а то и пятерых.

Волосы белесы. Лицо пятнами. Губы вывернуты. Руки живот держат – тяжесть неподъемную.

Глядел на нее.

Утихал.

Дрожь унимал пакостную.

«...братья! землю мою повоевали, стада взяли, хлеб пожгли, жизнь погубили: теперь вам остается убить меня...»

– Ишь ты, – сказал, – расстаралась...

– Смотри, – велел, – опростайся...

– Выкормишь, – попросил, – еще роди...

А она только мигнула в ответ: иди, мол.

Он и пошел.

Вниз полез потихоньку.

Ногой ветку ощупывал, глаз с нее не сводил.

А она глядела напоследок – запоминала.

– Обидно... – сказал. – Уж больно красиво написано... «Обернувшись волком, побежал он ночью из города, закутанный в синюю мглу...»

И губой подрожал...

Стояла внизу стража, дух переводила деловито.

Сидел человек на пне, лицо морщил гримасой.

Валялся в беспмятстве Филя Ослабыш – багровые
бутоны на лбу.

Стражник почесывал кабаненка, а тот жмурился
блаженно, пузо подставлял, подхрюкивал.

– Других не тронь, – попросил жердьяй с полатей.

– Не трону, – пообещал тот. – Сами зимой пере-
мерзнут.

И тогда он вынул из-за пазухи сверток в тряпице,
поглядел, на руке покачал, вниз кинул, в прогал.

Тот развернул тряпицу, рукопись пролистнул не-
брежно.

– Меду! – велел.

Побежали, принесли жбан.

Облил рукопись тягучей струей, густо, старатель-
но, между страниц, остатки домакал насухо, – сунул
кабаненку под нос.

Тот удивился. Обнюхал. Лизнул. Поколебался
самую малость. И стал жрать.

Чавкал.

Давился.

Рвал и заглатывал.

Урчал, пыхтел, подстанывал.

Носом гонял по траве.

Сердился. Всхрюкивал. Наслаждался.

Рычал угрожающе.

Захватывал непомерные куски и давился сладо-
стью.

А жердьяй глядел сверху.

И Масень глядел.

И эти – тоже.

«...не будьте буйны, горды, помните, что завтра
станете смрад, гной, черви...»

Дожрал.

Рыгнул.
Отвалился.
Пузо поволочил раздутое.
На бок кувырнулся и захрапел.
– История, – сказал тот. – Обхохочешься.
– История, – сказал этот.
И погрузили, как по покойнику.
Встал.
Поглядел напоследок.
Пошел с поляны.
– Эй, – позвал жердяй. – Луку много не ешь.
– Чего?
– Жажду наводит и кипение крови. Не удержишься,
понапишешь всякого, почище моего...
Усмехнулся невесело.
Руку поднял.
Шагнул за куст.
Овес от овса, пес от пса...

31

Он лежал на полатах, лицом кверху, и задумчиво грыз ноготь.

Береза захлеб шевелила листьями, лопотала, бормотала лихорадочно, как ребенок после пережитых ужасов.

Птицы кричали наперебой, обсуждая содеянное.

Ветер подгуживал возмущенно.

Внизу копошились эти, в сапогах с набойками, колья набивали остриями кверху, экономно, по одну от березы сторону, – но это его уже не касалось.

Земля не интересовала больше.

Одно только небо.

Масень Афанасий ушел с березы.

Жену увел за собою.

Бережно и покойно – от беды подальше.

Мысли мутно текли.
Горечь со дна поднималась.
Потом отстоялось.
Потом просветлилось.
Голубизна глубин.

Облака плыли на север, белые, пушистые, взбитым, перебранным пухом: одно гамаюн – райская птица, другое за ним – финик.

Облака доплывут.

Аще Бог с нами, никто же на ны...

Но уже ударили по березе, смачно, с оттяжкой, подсечку сделали у земли.

Эти, суетливые, творящие равнодушное зло.

Сколько их было внизу, исполнительных муравьишек, сколько их будет, – облака плыли на север, облака-души, и береза подрагивала обреченно под частыми топорами.

А там заскрипела...

А там накренилась...

Пошла заваливаться на колья...

И стон-прощание – напоследок...

32

Слеза пробилась через сукровицу.

Первая.

Едкая.

Облегчающая.

Очнулся Филя Ослабыш.

Лицо беспокойно потрогал.

Запекшиеся, глубокие провалы.

И зашептал сорванным голосом, жалуясь и тоскуя, в тумане-слепоте, в черное навсегда небо:

– Боженька мой... Боженька ясный... Боженька мой... Боженька углядчивый...

Птицы пели в лесу.

Много вокруг птиц.
Шепот заглушали иступленный.
Говорок плачущий.
Возрыдания покорные.
Кому-то и петь, когда другие плачут.
Кому-то – всегда петь...

*Иерусалим
1984 г.*

Ж у р н а л «Б Ъ Д Е Щ Е» **(«Будущее»)**

на болгарском языке, ежемесячник,
издающийся в Париже

Журнал посвящает большое количество статей современному положению в Болгарии, условиям жизни и труда болгарского народа, борьбе за освобождение его. В последнем номере журнала опубликован ряд материалов о сопротивлении болгарских писателей, о положении болгарских крестьян, рассказ о советских концентрационных лагерях.

*Адрес редакции: 18 bis, Rue Brunei,
75017 Paris. Tel. 380-57-64*

Стихи

Анри В о л о х о н с к и й

МАЗЬ

Икона Распятия

На лаковой плоскости цветной доски

Уголь свечи –
пчелиный
цвет

Мел рыбий клей да крашеный воск

Годится –

молиться, а нет –
так нет.

Виселица Божья на земле стоит

А над ней Дух Божий в небесах парит

Без всякого пафоса можно сказать:

О тщета

тщетная,

Всё тщета...

Троица глаголей на бугре стоит

Справа висит там

праведный бандит

Слева –

левый

неправедный бандит

А посередине их здешний царь

Даже не знаешь как его жаль

Виселица Духа на голове стоит

А на ней арамейский монарх

Люди говорят: – Пилат,
Пилат!
– Еже – отвечает – писах –
писах.

Анна говорит
Кай-
афа говорит
и все говорят
Народ говорит христиане говорят
Иудеи говорят говорят
Говорят говорят
говора́т
Мусульмане –
басурмане и те говорят
– Сами
с усами, – везде говорят
Чем поганее сами тем и говорят

На глаголи Духа
един Глагол
В небесах колёса
скрипят: «галгал»
Синие ободья
кругом глаза
Багряные ступицы как у паровоза

Где ни кинь всюду прах
тлен
склеп
червь
труп
и гроб
А на небе пляшет крылатый трон
Пониже Херувимы машут и орут:
– Свят
– Свят
– Свят Господь Саваоф!

Божий Глагол
Да Божья же и глаголь
Кожа
с кожей и с Духом – Дух:
Не умеют Ангелы считать до двух.

Виселица Божья на черепе растёт
Всех окружающих от ужаса трясёт
Латинская пехота кислое копье
Да прославится Имя Твоё!

С обода Галгала моргает глаз
С глаголи
на Голгофе
Глагала глас
Всуе призывает имя Или:
– Или,
Или, лама
савахтани?
– Пить, – говорит – хочу...

Это композиция знакомая давно
Материя зелёная – бревным
бревно
В рыбье древо –
дерево цветной доски
Лишь посмотрел и отошел с тоски.

ДЕСЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК 1963-73 ГОДОВ

* *
 *

Оборвана ночь. Предрассветная треть
предана тусклым огням.
Мы ночи сжигаем, чтоб разогреть
мутное варево дня.

Не досмотреть сокровенные сны,
и тяжесть вчерашнего дня не стряхнуть –
выходим в морозную, серую муть,
не разогнув спины.

* *
 *

Город убран в красные заплаты
небывалой прежде нищеты.
Эти лица плоски, как плакаты,
речи – в лоб, наотмашь и на ты.

Этот праздник всё кого-то дразнит,
всё кого-то втаптывает в грязь –
то слегка подвыпивший проказник,
то палач, предчувствующий казнь.

* *
*

Кто я, Господь, в твоём вертепе –
покуда ярмарка шумит,
покуда нам весенний трепет
быть здесь, на площади, велит?

Марионеточный герой ли,
что весел, бедствия терпя,
всех победивший в силу роли,
хоть сам из пакли и тряпья?

Иль кукольник, вершитель действия,
пьянчуга, пугало сих мест,
что за кулисой чуть не с детства
жуёт один и тот же текст?

А может – шитый лыком лапоть
и невзыскательный чудак,
перед которым за пятак
должно дурачиться и плакать?

* *
*

Пусть золотые падают плоды,
срываясь с высоты своей зеленой.
Благословен пусть будет изумленный
и ты, не ожидающий беды.

Я узнаю вас, древние слова,
в слиянии странном с миром этим.
И тяжкая кружится голова.
Над пропастью небесной рыщет ветер.

* *
*

В разрыве смысла и звучанья
так нужен молнии зигзаг,
что скапливается отчаянье,
как надвигается гроза.

И в том лиловом предгрозовье,
когда кружится голова,
земля уходит
и с небом вровень
течет свинцовая Нева...

Тогда нужна еще удача,
чтобы, на письменном столе
весь этот мир переиначив,
остаться твердым на земле.

* *
*

Под экзерсисы неумелых рук
на фортепьяно в глубине двора
пытаюсь привести в единый круг
всё то, что навещали вечера,

что в ясный облекается мотив
лишь на один короткий час с утра
и вновь в дороге, снова на пути,
как эти звуки в глубине двора.



В пустой воскресный день,
когда ничего ни начать, ни продолжить,
когда голова – как жестяная бочка,
по которой стучали неделю подряд, –
в пустой осенний день,
без солнца, без дождя и без теней, –
мы забрели на Староконный рынок,
где уж давно не продают коней.

Здесь в клетках молчаливы попугаи,
а в банках рыбы с экзотическими именами
пестры и крохотны,
как наши представления о дальних странах.
Но у тех, кто здесь
стоит часами возле этих клеток
и от аквариумов не отводит глаз, –
у них такие лица, будто нет
на свете ни газет, ни партсобраний.
Они блаженны и должно быть видят,
что нам, непосвящённым, не дано.

А тот худой старик
в плаще дырявом,
в морской фуражке, потерявшей форму, –
он кажется магистром этих игр:
он продает диковинные травы,
чтоб рыбам в банках создавать уют.

Они стоят часами,
иногда рты раскрывая,
и кругля глаза,
и шевеля озябшими руками, –
погружены в воскресное пространство
они со знанием дела наблюдают,
как рыбы сходят медленно с ума.

Мне неуютно, мне не по себе.
Что мне старик?
Я здесь случайный путник.
Хочу уйти – не слушаются ноги.
Что мне товар его – пустой, как сон?
Прочь, сон нелепый!
Но нельзя проснуться,
когда не спишь и день стоит кругом.
Я делаю отчаянный рывок
и падаю, ударом оглушённый
о толстое и прочное стекло.

* *
 *

Воробьи оголтело орут,
потому что теплынь в декабре –
будто их оглушительный труд
сможет нас до весны отогреть.

Итальянской зимы Паганини,
что ты сделал, певучий свой хмель
заронив в наше хмурое ныне
здесь, у края славянских земель?

Прямо в окна консерватории,
где степеннейший Бах обитал,
броневой своей ораторией
воробьиная бьёт слобода.

Этот свист, этот звон, этот грай,
этот истовый ор и вир –
аранжируй и разыграй,
темперированный клави́р!

Так безумно кричат воробьи,
оголтело, во всю свою прыть,
будто вместе они соловьи:
сила есть – значит музыке быть.

Паганини, мой друг Паганини,
вскинь на струны свой лёгкий смычок,
прежде чем нашу землю покинешь,
прежде чем нас зима упечёт.

Жидкой грязью забрызганы вдрызг –
что поделать с таким декабрём? –
мы свершим 25-ый каприз
вслед твоим 24-ём!

* *
 *

Атому Морозову

В двадцатый век от рождества Христова,
переступив разумные пределы,
немыслимо разросшееся слово
свершило разрушительное дело.

И поклонились все языки слову.
И разделили мир его прелаты.
И уж никто на сей земле богатой
не мог отличить доброго от злого.



Атому Морозову

И не узнаешь местность эту.
Пусть не усердьем, так числом
течение медленного лета
нас незаметно отнесло.

Сентябрьский день – как новый дом
на ветровом пороге города.
И всё, что прежде было дорого,
осталось где-то за углом.

Неужто, распростясь со злом,
уходят жить в пустые комнаты,
где много неба за стеклом
и где поля под солнцем чёрные?

Что было, то ушло на слом.
Сентябрь спокоен, как крестьянка.
И всё завязано узлом.
Нам здесь не суждена стоянка.

СЕНДЕРОВИЧ, Савелий Яковлевич – родился в 1935 г. в Одессе, где и провел большую часть жизни. Жил также на Урале и в Полесье. Учился – заочно – славянской филологии в Одесском университете и немецкой философии в Ленинградском. Работал техником, инженером, учителем и пр., в последние годы – рабочим в горячем цеху. Стихи сочинял на ходу, более всего по пути на работу. В 1973 г. эмигрировал в США. С 1977 г. – профессор русской литературы в Корнельском университете. Автор работ о Жуковском, Пушкине, Чехове, Блоке, Пастернаке, театре, древнерусской культуре, фольклоре, по теории литературы, поэтике и эстетике.

Автор пишет о себе: «Везло. В 60-е годы в Одессе жил среди редких людей – мыслителей, поэтов, художников, отличных культурой и независимостью. Была атмосфера. Поэтому этот круг уместно называть Одесской школой 60-х. Нас никто не благословлял, сходя в гроб, и мы не стремились перещеголять авангард. Было чувство современ-

ности всего значимого в культуре, и у каждого был с нею свой личный роман. Он развивался по внутренним законам, претензии на значимость были знаком чуждости. Одинаково чужды были как официальная, так и неофициальная публичность. Мысли, стихи, проза, картины дарились заинтересованным лично, но не распространялись.

Теперь, когда всё это стало мифом, может быть, стоит восстановить следы. По моим стихам не следует судить о моих более талантливых друзьях».

РУССКАЯ МЫСЛЬ

Главный редактор

Ирина И л о в а й с к а я - А л ь б е р т и

LA PENSEE RUSSE

217 rue Fb. St. Honoré, 75008 Paris, France

тел. 45 63 21 83, 45 63 94 47, 45 61 05 79

телекс 64 98 13 Pensrus

**Крупнейшая русская еженедельная газета
в свободном мире**

**Информация о событиях в Советском Союзе, в
странах коммунистического лагеря, в странах
свободного и Третьего мира**

**Тексты авторов из СССР – самиздатские и напи-
санные специально для газеты**

**Аналитические статьи по политике и экономике,
литература, мемуары, статьи и заметки по лите-
ратуре и искусству**

Об условиях подписки справляться в редакции

* *
*

Г. С-ой

Ты живёшь в Петербурге, где воды слышны,
Где Господние своды ясны.

В них прозрачные сумерки вносит весна –
Кто-то снадобья просит от сна.

Ты живешь на Фонтанке, над чёрной водой,
Под неяркой дозорной звездой.

Здесь души не смутят сновиденье и чох
В нашем кровосмешеньи эпох.

Здесь закат неразлучен с рассветом – июнь
Сопричастен поэтам и юн.

Здесь, где чёрная катится с плеском вода,
Драгоценных чудес – хоть куда:

Невозвратного века невзятым постом –
Летний сад за горбатым мостом.

Не услышим ли звуки мазурки вдвоём
В эту ночь в Петербурге твоём?

1971, Л-д.



От катера идёт волна крутая
И, у ступеней взмыв наискосок,
Весёлым ливнем рушится у ног –
И это, в сущности, вода простая.

Что ж так катастрофически черна
Речная ширь? В её ночи летейской
Мне чудится: наколота волна,
Как бабочка, на шпиль адмиралтейский.

1971, Л-д.

АТЕИСТИЧЕСКИЙ СЮЖЕТ

Нонне Азарьян

Ей снилось в эту ночь, что к ней вернулось тело,
Что стоит только сон мучительный стряхнуть –
И можно встать, зевнуть и потянуться смело,
К окошку подойти и ставни распахнуть.

В халатике цветном и шлепках полустертых
Возиться у плиты и, убавляя газ,
Упругое тепло угадывать в аортах,
В мизинце розовом, отогнутом сейчас...

Но утро настаёт, и верить всё труднее,
Мучительнее сон, увещаватель нем,
Проснулась – и душа не растает с нею,
А тело отнято и съёжилось совсем.

Здесь выдержана боль настоем многолетним,
Приземиста постель, протяжна тишина,

Здесь два десятка лет всё кажется последним
Косой вечерний луч, бегущий из окна.

Каких ей ждать вестей? Вот комната пустая,
Где с нею только мать – ни мужа, ни детей...
А Он – глядит с небес, и боли сострадая,
Из нелюбви к себе не помогает ей.

1972, Л-д.

КИПРИДА И АРЕЙ

Нежнейшая пора прикосновений,
Скользкий взгляд, прохладная рука;
На цыпочках уходят облака,
И ветерка легчайших дуновений
Недостает, но слышится река.

Не разбуди его, он спит пока,
И это сон внимательных растений,
И золотистый локон у виска
Завит, но ты не видишь завитка,
А он во сне не видит сновидений.

1972, Л-д.

* *
 *

Увы! промчался этот юный
Прелестный век –
Лавиной лиственной и струнной
Чудес и нег.

Увы, простушка! Оперенье,
Прощай; забудь,
Птенец, стихотворенье,
Воздушный путь.

Бог любит нас, как орнитолог
Пернатых. Стих –
Полнейшая из всех тяжелых
Его улик.

1979, Л-д.

ВНУЧКА И ДЕД

Девочка спит и растет.
Лобик высокий потеет.
Майское небо светло.
Чайки в четыре утра
Вдоль розовеющих вод
белыми духами реют
Или на льдинках плывут,
головы набок склонив.

Встану, накину пальто.
Холод и влагу глотая,
Через Кричевский к мосту
выйду в прозрачную мглу:
Кажется всё: над водой,
будто меня ожидая,
Стройный, еще не старик,
он одиноко стоит.

1977, Л-д.

СМОЛЬНЫЙ ИЗ АВТОБУСА

Колокольни совмещаются:
Не четыре их, а две, –
И о вечном совещаются
В глянцевиной синеве.

Солнце яркое, закатное,
Четко контуры чернит –
Это счастье невозвратное
Нас пытается и дразнит.

1984, Л-д.

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

Главный редактор Андрей С е д ы х

NOVOYE RUSSKOYE SLOVO. 519 Eight Avenue,
New York, N. Y. 10018

Старейшая русская газета за границей

Выходит ежедневно

Об условиях подписки справляться в редакции

ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА

Опять время зовет, скоро срок отойти,
Прости Господи непростимое
Вечер жизни спешит, помоги нам в пути
Прости Господи непростимое

Нашу глупость упрямую, грубость и страх
Прости Господи непростимое
Лицемерие, ложь, да и жадность в грошах
Прости Господи непростимое

Малодушие, хитрость, упрямый раскол
Прости Господи непростимое
Исступлённую месть, ледяной произвол
Прости Господи непростимое

Истязанья, побои, извратность любви
Прости Господи непростимое
И отчаянный, горький наш смех над людьми
Прости Господи непростимое

Преступления, пытки, искание тьмы
Прости Господи непростимое
И наплёвка над всем чем обязаны мы
Прости Господи непростимое

По всеобщему благу друг другу разбойники
Прости Господи непростимое
Мы дерёмся в клочки, чертовщины поклонники
Прости Господи непростимое

Превратили Твой Мир в тюрьмы и лагеря
Прости Господи непростимое

И в развалинах чёрных все топчемся зря
Прости Господи непростимое

На изнанку душа и рыдает и стонет
Прости Господи непростимое
Но упорно и злобно мы шепчем «не стóбит»
Прости Господи непростимое

Ведь веселье и нежность нам дар от Тебя
Прости Господи непростимое
– Да когда ж наконец мы узнаем себя?
Прости Господи непростимое

.. и вновь время зовет, от него не уйти
Прости Господи непростимое
Вечер жизни вернется, и срок перейти
Помоги нам в пути, помоги нам в пути
И прости Боже нам непростимое.

Париж. Янв. 1984-го г.

НОВАЯ КНИГА

А. НЕВИН

Факультет патологии

Роман

США, 1986. 318 с.

Полный удивительно точных деталей роман о московской студенческой жизни, о прекрасной и трагической первой любви, о первых столкновениях с государством в его разных проявлениях, – в общем, о том неизбежном и мучительном процессе, который называется взрослением...

Продается во всех магазинах русской книги
США и Европы.

Россия и действительность

В. Н. Со й ф е р

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА, ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

«И третий ангел вострубил: и упала с неба великая звезда, горящая как светоч, и упала на треть рек и на источники вод.

И имя звезды – Полынь (синоним чернобыля. – В. С.) и сделалась треть вод полынью; и многие из людей умерли от вод, потому что воды стали горьки».

Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Откров. Иоанна. Гл. 8 ст. 11 и 12.

Спустя год после Чернобыльской катастрофы

В выпуске газеты «Интернейшенал геральд трибюн» за 2 февраля 1987 года появилось сообщение о том, что министр по делам охраны окружающей среды ФРГ Вальтер Вальман предложил боннскому правительству рассмотреть возможность уничтожения 3 тысяч тонн радиоактивного порошкового молока... Молоко это было получено от коров, питавшихся травой, загрязненной радиоактивными осадками, выпавшими после чернобыльской аварии. Уровень загрязнения был очень высоким: 6 тыс. распадов в секунду (беккерелей) на килограмм порошка. Согласно правилам ЕЭС, максимально допустимый уровень радиоактивности составляет 370 беккерелей на килограмм молока или другого используемого в пищу человека сухого продукта животноводства.

Будучи съеденным, такое молоко приведет к увеличению поломок генов в организмах людей и животных, а это, в свою очередь, повысит уровень заболеваемости раком, так же, как

и частоту наследственных болезней. Пока известно слишком мало о нарушениях генов в будущих поколениях, но, несомненно, генетическая память о чернобыльской катастрофе переживет нас. Причем, если сейчас в основном говорят о грядущем увеличении числа заболевших раком, то мне как генетику ясно, что в перспективе не менее зловещим станет рост числа случаев наследственных болезней и дефектов развития, которых в количественном отношении будет больше, чем случаев рака. Уже сегодня доктор Гирш из Ганновера полагает, что в недалеком будущем из-за чернобыльской катастрофы число заболеваний раком возрастет в ФРГ на величину от 4000 до 23000 случаев, в то время как число генетических нарушений увеличится на 90 тысяч случаев. Одним из факторов, которые будут способствовать такому росту заболеваний, является накопление в окружающей среде изотопов, период полураспада которых велик (превышает год или более). К их числу относятся изотопы цезия, стронция и др. Кстати сказать, специалисты ФРГ нашли, что в настоящее время в молоке коров уровень цезия выше тех казавшихся огромными цифр, которые наблюдались в 60-е годы, когда СССР и США испытывали ядерное оружие в атмосфере.

*Сколько радиоактивных веществ было
на самом деле выброшено в атмосферу в Чернобыле?*

1 мая, в день, который празднуется по всей стране как День международной солидарности трудящихся всех стран, десятки миллионов людей во всех городах, поселках и деревнях провели много часов на улице, участвуя в демонстрациях и гуляниях. Обезлюдил лишь город Припять на Украине – маленький красивый городок, выросший неподалеку от одной из самых крупных в мире атомных электростанций – Чернобыльской АЭС. Из него эвакуировали всех жителей из-за опасности их радиоактивного поражения. Во всех же ближних и дальних населенных пунктах даже и не подозревали, что с неба на них летит радиоактивная пыль.

Всплеск радиоактивности в атмосфере зафиксировали западные метеоцентры сразу после взрыва на Чернобыльской АЭС. Все указывало на то, что в СССР произошла крупная авария или была взорвана атомная бомба в атмосфере. Только

после запросов о причине случившегося Советский Союз признал, что авария имела место. Первое сообщение, сделанное без указания всяких деталей, советские люди смогли услышать 28 апреля. Об аварии было сказано как о локальном, чуть ли не часто случающемся событии – словно речь шла о взрыве на шахте или о пожаре на одном из тысяч заводов. Затем 1 мая в «Правде» было сказано, что «фактически погибло 2 человека». 2 мая кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС секретарь Московского горкома партии Ельцин, находившийся в то время в ФРГ, первым из высших советских руководителей признал огромный масштаб катастрофы и даже сообщил явно завышенные цифры о радиоактивности на месте аварии, сказав, что она составила 150 рентген в час.

Однако об этих словах Ельцина советские средства массовой информации молчали. А 4 мая Г. А. Арбатов, член ЦК КПСС и директор Института США и Канады, дал интервью станции Би-Би-Си, в котором «успокоил» Запад. Он заявил, что последствия аварии не более серьезны, чем последствия всего лишь одного ядерного взрыва в атмосфере. Но даже и такого «успокоения» советские люди не слышали. Лишь 6 мая в пресс-центре МИД СССР была устроена пресс-конференция, отрывки из которой транслировались по советскому телевидению и во время которой впервые советские люди могли услышать конкретные цифры радиоактивного загрязнения. Было сказано, что в момент максимального загрязнения доза в Чернобыле составляла 15 миллирентген в час (мР/час), а к 6 мая она снизилась в 3 раза. Эти же цифры были повторены М. Горбачевым в телеобращении к советскому народу 14 мая 1986 года.

И только в августе в официальном докладе СССР Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене были приведены цифры, более или менее реалистически характеризовавшие масштаб аварии и уровень загрязнения среды радиоактивными веществами. Сообщив, что точность измерений не превышала 50% (иными словами, оценки могли быть занижены вдвое), советские эксперты признали, что к 17 часам 27 апреля в городе Припять уровень радиоактивности достиг в отдельных местах 1000 мР/час! Выброс в результате пожара, бушевавшего на станции, был столь мощным, что с самолетов, оборудованных счетчиками радиоактивности и облетающих 27 апреля район аварии на удалении нескольких

десятков километров от Чернобыля, была зафиксирована радиоактивная струя высотой почти в полтора километра. Неудивительно, что заражение местности произошло на удалении более тысячи километров от Чернобыльской АЭС (ЧАЭС).

Всего в атмосферу было выброшено около 100 миллионов кюри радиоактивности (примерно половина этой величины пришлось на инертные газы). Если учесть, что точность измерения, как признали авторы советского доклада в МАГАТЭ, составляла всего $\pm 50\%$, то цифра выброшенной в атмосферу радиоактивности на самом деле может быть почти вдвое большей. Чтобы представить себе более наглядно, что означает величина 100 млн. кюри, достаточно вспомнить, что в 70-е годы в США произошло 212 случаев выброса радиоактивности из АЭС во время аварий, однако суммарная активность в 95% случаев всех аварий в США составила от 0,22 до 1,8 кюри, а на долю самой крупной аварии пришлось доза загрязнения в 3085 кюри.

Для оценки последствий аварии важно и то, что радиоактивное топливо реактора ЧАЭС из-за серии взрывов оказалось мелкодиспергированным и, будучи распылено в атмосферу вместе с мельчайшими частичками графита и микрокаплями воды, будет носиться над землей много десятков лет. Еще со времен испытаний атомного оружия в атмосфере известно, что лишь половина изотопов выпадает из атмосферы на землю за ... 7 лет.

Возвращаясь к способам информации людей о чернобыльской катастрофе, следует сказать, что, конечно, нет оснований винить М. Горбачева в том, что названные им величины были почти в 100 раз меньше истинных. Он повторил сведения, представленные ему специалистами, такими, как член Академии наук СССР Валерий Легасов, лично отвечавший в стране за теоретическую сторону безопасности атомных станций. Но надо отдать должное Горбачеву: он отошел от старых стандартов и честно и открыто сказал, что произошла ужаснувшая его катастрофа, последствия которой очень серьезны. Было видно, что для Горбачева погибшие в Чернобыле люди и оставшиеся в живых их родственники – не просто винтики, маленькие винтики в огромной государственной машине. Его скорбь казалась искренней, а не наигранной.

Какие изотопы попали в атмосферу?

В первых официальных советских сообщениях утверждалось, что от 50 до 80% всей радиоактивности, разнесенной из Чернобыльской АЭС, пришлось на долю изотопа иода с массовым числом 131 (I^{131}). Период, за который половина этого изотопа распадается и перестает испускать радиоактивность, равняется 8 дням. Это относительно небольшой срок. К примеру, такой изотоп, как цезий-137, имеет период полураспада ($T_{1/2}$) в 3 года, у стронция-90 эта величина составляет 27,7 лет, а для кюрия-242 – почти 400 тысяч лет.

Из-за относительно быстрого распада иод-131 менее опасен для здоровья человека. Хотя он легко накапливается в теле человека и животных, особенно в щитовидной железе, но зато и распадается быстро. Сообщив о преимущественном содержании быстрораспадающегося иода в материале, выброшенном из взорвавшегося Чернобыльского реактора, советские органы информации сильно снизили накал страстей. Создавалось впечатление, что нужно немного подождать, когда вредный иод сам собой развалится и все вернется «на круги своя».

Однако внимательный анализ данных, представленных в окончательном докладе МАГАТЭ в Вене в августе 1986 года, позволяет убедиться, что это утверждение было неверным. На самом деле и в пробах воздуха, взятых как вблизи места аварии, так и на 30-километровом удалении от него, и в пробах почвы, и в зелени, собранной через 2–3 дня после взрыва станции, на долю иода пришлось только 7, 16 и 11% соответственно. В то же время доля изотопов с достаточно большими периодами полураспада, составляющими год и более, была гораздо выше: 20, 43 и 20% соответственно.

Важно и то, что в числе долгоживущих изотопов, попавших в окружающую среду, были изотопы, легко включающиеся в состав тканей живых существ и с трудом из них выводимые, а также очень токсичные. Так, очень токсичен для человека церий-144 с периодом полураспада в 284 дня. Изотоп цезия-137 интенсивно переходит из почвы и воды в наземную часть растений, накапливается в семенах. Содержание этого изотопа в вегетативных органах растений оказывается почти в 100 раз выше, чем в окружающих корни растений водных растениях. Если учесть, что период полураспада цезия-137 равен 33 годам, то опасность его включения в пищевые цепочки:

«растения (особенно семена) – человек» и «растения – сельскохозяйственные животные – человек», – становится особенно тревожной, ибо в мышцах, сердце, печени, крови человека задерживается относительно много этого изотопа. Еще более опасен стронций-90, период полураспада которого равен 27,7 годам. Он накапливается в костях, причем у детей в гораздо большей пропорции, вызывая раковые перерождения костных тканей и лейкемию. В советском докладе в МАГАТЭ имеется много таблиц с цифровыми данными относительно этих и подобных им долгоживущих изотопов, но чаще всего в таблицах нет граф о процентном содержании тех или иных изотопов. Поэтому мне пришлось пересчитать там, где это было возможно, представленные данные и попытаться определить, какая доля в общем загрязнении среды приходится на те или иные из указанных изотопов. В результате получилась такая табличка:

Изотоп	$T_{1/2}$	Процентное содержание		
		в почве*	в воздухе**	в листьях зелени***
Цезий-134	2 года	7,7	2,0	2,5
Цезий-137	33 года	8,3	3,4	2,5
Церий-144	284 дня	15,8	8,1	16,7
Рутений-106	366,6 дня	4,6	7,0	6,7
Стронций-90	27,7 года	В докладе сказано, что данные для стронция обрабатываются и будут сообщены позднее		

* Образцы почв собраны в пределах 30-км зоны 17 мая 1986 г.

** Данные получены 3 июня 1986 г. в образцах, отобранных вблизи от места аварии.

*** Образцы зелени собраны в Белоруссии спустя 2–3 дня после аварии.

Таким образом во всех доступных для человека средах доля долгоживущих изотопов оказалась большой. А так как в атмосферу было выброшено более 50 миллионов кюри изотопов (исключая инертные газы), то вред для человека именно от этих изотопов может быть огромным. Косвенно признается это и в докладе. Там сказано, что начиная с конца мая 1986 года в образцах мяса на территории Европейской части СССР были найдены только изотопы цезия-137 и цезия-134, и

сообщалось, что «максимальное количество цезия-137 окажется в теле человека лишь летом 1988 года».

Однако, несмотря на очевидную важность изучения именно долгоживущих изотопов, в докладе говорилось, что основные силы всех исследователей в стране, вовлеченных в анализ Чернобыльской катастрофы, были брошены на измерение уровня иода-131 в биологических объектах, главным образом в щитовидной железе человека.

Еще один настораживающий факт: отсутствие интереса в докладе к изотопам, испускающим альфа-частицы. О том, что альфа-излучатели, причем отнюдь не в исчезающе малых количествах, были выброшены в окружающую среду, авторы доклада упомянули, так как эти изотопы нашли в почве, и в воздухе. Среди них нет ни одного короткоживущего: время их жизни огромно – от 2 до 390 тысяч лет. Главным же для нас с вами является то, что альфа-излучатели оказывают в двадцать раз более сильное действие на организм, чем равное им по дозе количество гамма- или бета-излучателей. Однако анализ будущего воздействия альфа-излучателей на человека отсутствует в докладе.

Предельно-допустимые нормы радиоактивного загрязнения и точность оценок риска для населения СССР

Как только ученые поняли, что повышение фона радиации несет вред человеку, были разработаны нормативы, определяющие максимально допустимые величины загрязнения среды. После долговременных исследований Всемирная организация здравоохранения ООН утвердила три категории доз. Для тех, кто непосредственно обслуживает установки с излучающими материалами (и за состоянием здоровья которых особенно тщательно следит медперсонал, исключающий возможность сильного поражения организмов людей, находящихся в опасной зоне), установлена доза 5 бэр в год*. Для людей, жи-

* Здесь надо сделать отступление, чтобы объяснить один очень важный момент. Специалисты используют единицу «Рентген» (сокращенно Р) для характеристики источника радиации. Для обозначения дозы, поглощенной каким-либо веществом, используют единицу рад, рассчитываемую на единицу массы и зависящую от химического

вущих вблизи источников повышенного риска и также находящихся из-за этого под постоянным медицинским контролем, максимально допустимая доза уменьшена в 10 раз и составляет 0,5 бэр в год. Постоянный радиологический и медицинский контроль позволяют выявлять лиц, получивших опасную для их здоровья дозу, и срочно эвакуировать их из очага излучения.

Для остального населения, живущего на безопасном расстоянии от атомных станций и других источников опасности такого рода и потому не задумывающегося о том, а не облучает ли их кто-либо извне, принята доза в 5 бэр за 30 лет, что составляет 0,17 бэр в год, или 0,019 миллибэр/час (мбэр/час). Естественно, что для людей из третьей категории нет нужды держать армию обученных особым образом врачей, которые бы следили за облучаемостью всего населения в целом и каждого человека в отдельности. Кое-где требования к чистоте среды еще более ужесточены. Так, в земле Гессен в ФРГ принята меньшая предельная доза.

Каков же реальный уровень радиоактивного загрязнения в разных странах? Ведь, только зная эту величину, можно понять, насколько она приросла в результате Чернобыльской аварии. Данные о естественном фоне в СССР противоречивы. В работах одного и того же автора можно найти разные вели-

состава поглощающего излучение вещества. Конечно, повреждающее действие разных видов радиации для живых существ будет зависеть главным образом от числа ионизаций молекул в живых клетках, а это число, в свою очередь, зависит от того, испускают ли радиоактивные изотопы только гамма-кванты или еще и электроны (бета-частицы), или же альфа-частицы, или нейтроны. Биологический эквивалент рентгена (сокращенно бэр) совпадает численно с величиной рентгена только для гамма- и бета-излучений. Если клетку бомбардируют альфа-частицами, то для пересчета Р в бэры нужно умножить число рентген на коэффициент 20, а для нейтронов этот коэффициент равен 5-10 в зависимости от энергии нейтронов. Для испускаемых протонов коэффициент равен 10. Таким образом, при переводе дозы внешнего излучения в биологически эффективную дозу можно получить гораздо большую величину, если в составе излучений есть альфа-компонент или если вещество испускает нейтроны. Кстати, поэтому использование в первоначальных советских сообщениях только единиц, выраженных в рентгенах, было некорректным. Лишь в более позднем докладе в МАГАТЭ цифры приводились в той форме, которая принята в научной литературе и которая ясно говорит о дозах, опасных для человека.

чины. Так, в БСЭ говорится, что в разных районах Европейской части СССР фон составляет от 40 до 200 мбэр/год (от 0,0046 до 0,023 мбэр/час). В одной из книг В. А. Легасова и соавторов, изданной в 1984 году, сказано, что один среднестатистический человек в СССР получает за счет гамма-излучения воздуха 32 мбэр/год, за счет радиоактивности в пищевых продуктах 37 мбэр/год и еще сколько-то за счет радиоактивности, испускаемой из почвы и из стен жилищ. Наконец, в докладе, зачитанном от имени СССР в МАГАТЭ тем же В. А. Легасовым в Вене в августе 1986 года, говорится, что жители Европейской части СССР получают ежегодно дозу от 0,008 до 0,012 мР/час или от 70 до 104 мР/год. Для сравнения можно указать, что во Франции, в районе Парижа, доза составляет 125 мбэр/год.

Какие же дозы получили (и получают в будущем) советские люди из-за аварии в Чернобыле? Доклад СССР в МАГАТЭ не дает прямого ответа на поставленный вопрос. Прежде всего надо сказать, что приведенные в нем цифры основаны главным образом на учете облучения радиоактивным йодом-131. Правда, в докладе несколько раз кратко упоминается, что эффект от альфа-излучателей, так же, как от долгоживущих изотопов цезия, церия, рубидия и тем более стронция, ПОКА не подсчитан и не учтен.

Есть и еще два важнейших момента, вызывающих возражение. Для расчета величин риска принята гипотеза, что в будущем, в течение еще 55 лет, спад радиоактивности в окружающей среде будет практически линейным. Такое утверждение было бы справедливо, если бы вся радиоактивность была представлена в основном изотопами с одним и тем же или близким временем полураспада. Мы же знаем, что около трети всей выброшенной из реактора активности состоит из долгоживущих изотопов, поэтому предположение о линейном характере спада уровня радиации неверно, а величина риска из-за этого заметно преуменьшена.

Второе обстоятельство – неучет того, что в воздухе находятся мелкодисперсные частицы расщепляющегося материала. Попав в дыхательные пути человека (а человек в покое вдыхает 5-8 л воздуха в минуту или 4,15 миллионов литров в год), мелкие частицы пыли прилипают к тканям внутри организма и могут оказывать в месте прикрепления вредное действие очень долго. Суммарно полученная доза организмами

может оказаться небольшой, но из-за мелкодисперсности радиоактивных частиц эффект для данной точки тела человека будет зловещим. Столь же ничтожные по размеру клетки и сопоставимые по размеру с пылинками генетические структуры – хромосомы и гены – будут все время облучаться из точечного источника, в результате чего в данном месте либо разовьется раковая опухоль, либо возникнет соматическая мутация, либо мутация половых клеток, если пылинки окажутся вблизи них.

Только имея в виду эти два обстоятельства, можно рассматривать приведенные в советском докладе данные, которые, похоже, заворожали не только умы грамотных людей в СССР, но и сильно сбили накал страстей на Западе.

Обратимся теперь к данным советского доклада в МАГАТЭ о подсчитанном уровне доз облучения людей из-за чернобыльской катастрофы. Прежде всего следует сказать, что в докладе все потенциальные жертвы чернобыльской катастрофы были разделены на три категории. В первую были включены люди, работавшие на самой Чернобыльской АЭС и жившие рядом в городе Припять и в ближайших хуторах. Во вторую категорию включили всех, живших в радиусе 30 км. В третью – остальное население Европейской части СССР, попавшее в зону радиоактивных осадков, переноса изотопов ветром, подпочвенными водами и т. п.

Лица, входившие в первую категорию (их было около 45 тысяч человек), были эвакуированы из опасной зоны 27 апреля. Авторы доклада считают, что вероятная доза, которую они получили, составляла от 1,5 до 5,0 рад по гамма-излучению, 10-20 рад по бета-излучению и 30 рад по облучению щитовидной железы из-за адсорбированного железой радиоактивного иода-137. Все три дозы были определены главным образом по данным учета радиоактивного иода, о других изотопах ни слова не говорилось.

Вторую категорию составляли жители поселков в 30 км зоне (по-видимому, около 90 тысяч человек, так как в разных местах доклада названы две различные цифры). Не исключено, что они получили гораздо большие дозы, ибо их эвакуацию начали лишь в мае (между 2 и 6 мая? Информация на этот счет противоречива). В докладе говорится, что в среднем люди, жившие в этой зоне, получили не более 25-40 бэр, но приходится повторить, что поскольку точность измерений со-

ставляла всего 50%, к тому же в основном измеряли действие иода-131, то реально дозы могут быть бóльшими.

Третья категория – 75 миллионов человек, живущих на территории Европейской части СССР. По мнению авторов доклада, эти люди только за 1986 год получили 8,6 млн. человеко-бэр, а за последующие 50 лет получают еще 29 млн. чел. бэр от внешнего гамма-излучения и 21 млн. человеко-бэр от приема радиоактивного цезия. При этом дозы от источников альфа-излучения и долгоживущих изотопов практически не были учтены.

Приведенные в докладе цифры были с удовлетворением восприняты многими в мире. В журнале «Нэйчур» (том 323, № 6083), опубликованном в сентябре 1986 года, сразу после доклада Легасова в Вене, обозреватели высказали мнение, что полученные дозы не являются сколько-нибудь устрашающими и не столь резко повысят в будущем риск заболеваемости раком, как это предполагалось вначале. Поразительно, что о риске появления новых наследственных заболеваний и дефектах развития не было ничего сказано в советском докладе и полностью выпущено из виду ретивыми обозревателями такого авторитетного в научном мире журнала как «Нэйчур».

Между тем положение с дозами вовсе не столь хорошо.

Прежде всего, рассчитанная с ужасающей погрешностью ($\pm 50\%$) доза радиации для облучения в 1986 году была вовсе не дозой за год, а только за 8 месяцев. Кроме того, цифра 8,6 млн. чел. бэр за это время означает, что доза на одного человека будет равна 0,020 мбэр/час. Фон естественной радиации, имевшейся на территории затронутых Чернобыльской аварией районов, составлял до этого около 10 млн. чел. бэр в год (или 0,015 мбэр/час). Другими словами, даже при столь высокой погрешности измерений был установлен факт огромной важности – авария в Чернобыле сразу удвоила фон естественной радиации на территории, где проживает 75 миллионов человек только в пределах СССР! Этот фон складывался десятилетиями: к радиоактивности почвы, вод, горных пород, космическому излучению добавлялись результаты испытаний ядерного оружия в атмосфере, на земле, вносили свой вклад утечки радиоактивности из всяких инженерных устройств, атомных станций и т. п. До начала 60-х годов основная часть этого радиоактивного загрязнения была обусловлена испытаниями

ядерного оружия. Увеличение фона из-за испытаний этого оружия в наземных условиях привело к самому неприятному для человека результату: начало год за годом расти число наследственных заболеваний и уродств. За каких-то 10–15 лет это число удвоилось. Поэтому в 1963 году СССР и США подписали договор об отказе от испытания ядерного оружия в наземных условиях. С тех пор радиоактивный фон оставался почти неизменным. Но свой страшный вклад в рост числа наследственных болезней стало вносить химическое загрязнение окружающей среды. И вот теперь, всего от одной аварии, фон разом удвоился!

О том, насколько разнятся уровни радиоактивного загрязнения, рассчитанные авторами доклада теоретически и на самом деле наблюдавшиеся и приведенные в докладе, глясят цифры одной из таблиц: для Тульской области предполагалось, что загрязнение молока иодом-131 составит 0,02 – 2,0 микрокюри/л, а фактически было найдено 0,06 – 6,5 мккюри/л; для Брестской области ожидали 0,01 – 1,3, а было найдено 0,2 – 9,0 мккюри/л. Такие несовпадения не могут не породить сомнений в правомочности других экстраполяций, приведенных в докладе. Правда, в ряде случаев теоретически подсчитанные уровни оказались чуть меньше найденных, но это тоже говорит о неточности прогнозов.

Сколько людей заболел раком?

Рассчитывая возможные последствия чернобыльской катастрофы, авторы доклада в МАГАТЭ привели различные величины заболеваний раком для упомянутых выше категорий населения.

Для тех 45 тысяч людей, которые оказались в момент аварии вблизи ЧАЭС, увеличение смертности от рака (так называемая дополнительная смертность) не была определена вовсе.

Для примерно 90 тысяч человек, живших в 30-км зоне, дополнительная смертность от рака не должна якобы превышать 2%-го уровня естественной смертности от этой болезни.

Для 75 миллионов человек постулируется, что из-за увеличения внешнего гамма-излучения в местности, где они проживают, смертность от рака возрастет на 0,05% по сравнению

с уровнем естественной смертности от рака (что составит, как сообщается в докладе, 9,5 миллионов дополнительных смертей за 70 лет). Однако из-за умело вплетенных в текст доклада пояснений, дополнений, равно как умолчаний и недоговоренностей, понять, является ли эта оценка окончательной, нельзя. Например, после приведенной оценки в 0,05% в докладе идут две с половиной страницы текста, на которых обсуждается значение радиоактивного иода, попавшего в щитовидную железу и вызывающего там опухоли, и говорится, что из-за подобных опухолей смертность возрастет еще на некоторую величину (за 30 лет на 1% по сравнению со 150 тысячами от рака щитовидной железы), а затем обсуждается влияние рутения-106, церия-144, цезия-137 и цезия-144. Две страницы текста, посвященные роли цезия (особенно цезия-137, осевшего на поверхности земли в границах СССР в количестве порядка 1 млн. кюри), заканчиваются выводом, гласящим, что только из-за него дополнительная смертность от рака будет составлять внушительную цифру – «0,4% от естественной смертности от злокачественных новообразований».

Затем вкратце говорится еще об одном зловредном изотопе – стронции-90. Оказывается, для него «до сих пор... имеются лишь отдельные, недостаточные для коррективных оценок данные», но авторы доклада признают, что «со временем, возможно, этот нуклид будет иметь наряду с цезием-137 основное значение».

Таким образом, заворожившая многих специалистов цифра повышения в будущем уровня смертности от рака, равная 0,05%, на самом деле относилась только к последствиям адсорбции организмами радиоактивного иода. Основной же вред будет происходить от радиоактивных изотопов цезия, стронция, церия и других долгоживущих изотопов, включая изотопы с альфа-распадом.

Но и к цифре 0,05%, характеризующей последствия заражения иодом, вряд ли стоит относиться как к истине в последней инстанции. При получении этой оценки было сделано слишком много неоправданных допущений, и, к тому же, точность измерения концентраций загрязнения была низкой.

Видимо, все эти обстоятельства привели к тому, что с оценкой уровня повышения смертности от рака не согласились даже те, кто благожелательно относится к Советскому Союзу.

Так, американский специалист по трансплантации костного мозга доктор Р. Гейл во время телемоста СССР – США, передававшегося по советскому телевидению 9 октября 1986 года, в ответ на заявление советского ученого Л. Ильина, сказавшего, что превышение частоты рака составит не более, а скорее всего, менее 0,5% над спонтанным фоном смертности от рака (именно так – 0,5%, а не 0,05%), назвал свою цифру – 1%. Видимо, он имел в виду не только риск от внешнего гамма- и бета-облучения, но и последствия накопления цезия, стронция и других изотопов в среде обитания и переход их в пищевые продукты. Но тут же в американской аудитории, собравшейся для участия в телемосте, встал один из американских ученых и возразил Гейлу, сказав, что, по мнению его коллег и его самого, эта величина достигнет 10%.

Не хотелось бы верить, что правым окажется он или даже доктор Гейл. Для всех было бы лучше, если бы цифры, названные в докладе, оказались даже преувеличенными. Но оснований для такого оптимизма все-таки нет.

Поставлен ли надежный заслон на пути распространения радиоактивных пищевых продуктов?

В советском докладе в МАГАТЭ признается, правда, походя, вскользь, что максимум радиоактивных продуктов аварии население страны получит с продуктами питания и лишь минимум поступит из воздуха.

Казалось бы, осознавая это важнейшее для здоровья людей положение, могучая и разветвленная сеть научных и профилактических учреждений будет направлена на то, чтобы познать максимально полнее вред от самого вредного и поставить преграду на пути распространения загрязненных пищевых продуктов. Но этого не случилось.

Завершающий абзац медико-биологической части доклада начался следующей фразой:

«Таким образом, корректно оценить дозовые нагрузки на население за счет потребления пищевых продуктов местного производства, загрязненных цезием-137 и стронцием-90, можно будет только после установления реальных для данных регионов коэффициентов перехода радионуклидов по пищевым цепочкам».

А между тем, от выяснения вопроса о загрязненности продуктов долгоживущими изотопами, к тому же легко входящими в состав тканей тела, зависел (и не менее определенно сегодня зависит) комплекс мер по охране здоровья населения, по организации разветвленной службы контроля за степенью загрязненности всех продуктов, потребляемых населением пораженных регионов страны. Ведь радиационная обстановка и сегодня вряд ли улучшилась, ибо в том же докладе можно найти не одно и не два упоминания, рассыпанные по тексту без всякого детального анализа, о грядущих бедах. Ведь говорилось же там, что

«Из почв, бедных гумусом (то есть большинства почв Белоруссии и нечерноземной зоны РСФСР. – В. С.) цезий переходит в растения в 10 раз и даже в 100 раз больше, чем из других типов почвы»,

и что:

«В районах Полесья можно ожидать в последующие годы относительно устойчивое и высокое, почти на нынешнем уровне содержание цезия-137 в продовольствии».

Странно выглядит также и то, что осталось только в форме констатации фактов, без принятия должных мер, следующее важнейшее положение:

«Формирование радиоактивного следа после однократного выброса заканчивается примерно через год... В хвойных лесах такое перераспределение заканчивается лишь через 3-4 года (после полного обновления хвои).

В силу указанных причин радиационная обстановка в пределах 30-км зоны (на самом деле, несомненно, в пределах всей зоны выпадения радиоактивных веществ. – В. С.) будет продолжать существенно изменяться в течение 1 – 2 лет, особенно в районах с высоким градиентом уровней загрязнения.

Поэтому проводимые мероприятия по дезактивации населенных пунктов приводят, как правило, лишь к временному улучшению радиационной обстановки».

Почему же можно утверждать, что адекватного тяжести аварии заслона на пути распространения загрязненных продуктов поставлено не было? Ответ на этот вопрос содержится в самом докладе, но для его прояснения приходится опять сопоставлять разбросанные по докладу отрывочные сведения.

Итак, прежде всего в докладе говорится, что в Советском Союзе еще до катастрофы на ЧАЭС был разработан норматив, допускавший на случай аварии содержание иода-131 в молоке не выше 10^{-7} кюри/л. Нормативов для других изотопов и других продуктов питания принято не было. Причиной этому было то, что и мысли не допускалось о возможности серьезной аварии на атомных станциях.

Однако уже через 2-3 дня после аварии в молоке коров в Белоруссии было обнаружено 10^{-6} кюри/л, т. е. в 10 раз больше, чем принятая в СССР норма, а в листовой зелени 10^{-5} кюри/кг.

Масштаб катастрофы заставил принимать срочные меры. В докладе утверждается, что 1 мая 1986 года на территории, захваченной загрязнением, был распространен официальный запрет на потребление цельного молока с концентрацией иода-131 выше 10^{-7} кюри/л, но в том же докладе признается, что в 30 км зоне многие люди тем не менее получали до 4 и 5 мая это молоко.

За пределами 30-километровой зоны, практически на тысячекилометровом удалении от Чернобыля, молоко также нередко имело радиоактивность выше предельно установленной нормы. Так, «в отдельных пробах в ряде областей УССР, БССР и РСФСР концентрация I^{131} в молоке превышала норму в 20-100 и даже больше раз», – говорится в докладе. Кстати сказать, нелишне отметить, что и предельно допустимая доза 10^{-7} кюри/л молока огромна. Партия «Зеленых» в ФРГ и организации по охране окружающей среды, основываясь на данных изучения воздействия малых доз радиации на человека, настаивают, что предельная величина для молока должна быть понижена до значения $1,35 \cdot 10^{-10}$ кюри на литр. В Земле Гессен в ФРГ принята в качестве верхнего предела величина в четыре раза большая ($5,4 \cdot 10^{-10}$ кюри/л), в ФРГ в целом – $1,35 \cdot 10^{-8}$ кюри/л, то есть практически в 100 раз меньшая, чем была принята в СССР. Авторы доклада считают, что в государственную продажу поступало молоко с концентрацией иода-131 не выше 10^{-7} кюри/л, но признаются, что в сельской местности (и только ли в сельской?) продажа и потребление радиоактивного молока имели место и таким образом «максимальные расчетные значения доз внутреннего облучения щитовидной железы людей могли достигать сотен рад».

Признается в докладе и тот факт, что отсутствие норм предельно допустимых концентраций других радиоактивных изотопов могло неблагоприятно сказаться на здоровье людей. Лишь с 30 мая были введены нормативы загрязнения мяса и небольшого числа других продуктов. Но и эти нормативы были сильно завышены по сравнению с международными нормативами. Расчет велся исходя из предположения, что люди могут получать дозу в 5 бэр в год и меньше. Я уже упоминал выше, что такая доза, согласно правилам ВОЗ, допустима лишь для людей, непосредственно работающих на источниках излучений, причем каждый человек, получающий такую дозу, должен находиться под непрерывным радиологическим и медицинским контролем, обеспечивающим возможность немедленной эвакуации из опасной зоны человека, получившего дозу, близкую к предельной.

Но даже и при такой огромной цифре предельно допустимой радиоактивности было найдено, что доля продуктов, имеющих более высокую зараженность, составляла:

в Брестской области: молоко – 50%, мясо – 10%;

в Гомельской области: молоко – 30%, мясо – 40%, рыба – 90%;

в Могилевской области: молоко – 10%, листовая зелень – 20%, ягоды – 20% (мясо, как сказано, не проверяли);

в Курской и Брянской области: молоко 30% (в докладе говорится, что на территории РСФСР мясо и другие продукты не проверяли);

в Калужской области: молоко – 20%;

в Тульской области: молоко – 15%;

в Орловской области: молоко – 10%.

Каким же было бы признано все продовольствие на территории Европейской части СССР, если бы предельно допустимые нормы соответствовали международным стандартам доз облучения людей, живущих вдали от атомных станций?

Следует еще раз подчеркнуть, что при оценке риска преждевременной смерти от рака это многомесячное потребление радиоактивной пищи не было принято во внимание, так как в докладе подчеркивается, что все расчеты производились на основе учета внешнего облучения людей.

Не все благополучно и с этими расчетами. Обсуждая суммарные величины внешнего облучения населения отдельных

регионов Европейской части СССР (таблица 7.2.9 доклада), авторы делают оптимистический вывод:

«Из таблицы 7.2.9 видно, что ожидаемые значения средних по регионам доз внешнего облучения людей в 1986 году в основном оказываются ниже предела годовой дозы для лиц категории Б...»

Напомним, что категория «Б» – это люди, по собственной воле поселившиеся в непосредственной близости от источников радиации и постоянно находящиеся под контролем врачей. Для них, согласно правилам ВОЗ, предельно допустимая доза может быть повышена по сравнению с дозами для всего населения почти в 3 раза и составляет 0,5 бэр/год. Но и этот предел оказался, по данным этой же таблицы, превышен для 4,4 миллионов человек, а еще для 18 миллионов, отнюдь не подпадающих под юрисдикцию «категории Б», были превышены нормы, принятые ВОЗ для всего населения.

Вряд ли при таких обстоятельствах авторы доклада могли заявлять, что данными, приведенными в нем,

«...подтверждается полная безопасность для здоровья населения, проживающего вне 30-километровой зоны вокруг ЧАЭС, сложившихся уровней внешнего гамма-излучения продуктов аварийного выброса».

В целом, надо отметить, что те, кто отвечал за дозиметрический контроль пищевых продуктов в стране, работали недостаточно хорошо. Население должно было получать самые четкие разъяснения по поводу загрязнения продуктов питания. Никакие недомолвки здесь абсолютно недопустимы. И, тем не менее, как выяснилось из доклада, даже в Киевской области не проверяли степень заражения мяса и большинства продуктов питания, не говоря уже о более далеко отстоящих областях Российской Федерации, где проверяли только молоко. Примитивным и далеко не исчерпывающим был контроль за пищевыми продуктами вне сферы государственной торговли.

В этих условиях никак иначе, как безответственным, нельзя назвать поведение председателя Госкомитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды члена-корреспондента АН СССР Ю. Израэля, который в интервью газете «Советская Россия» 29 июня 1986 года (через два месяца после катастрофы в Чернобыле) сказал:

«Москва – абсолютно чистый город. Чисты его атмосфера, водоемы. О каких-либо отклонениях в чистоте продуктов питания и речи быть не может».

Трагическая случайность или «запланированная» катастрофа?

Вопрос, поставленный в заголовке этого раздела, может показаться кощунственным. Разве мыслимо, что есть люди, способные запланировать катастрофу? Разве допустимо, чтобы кто-то проявлял легкомыслие при обращении со столь опасными и коварными устройствами, как атомные станции, в недрах которых «кипит» мирный атом, способный в любую минуту вырваться наружу и стать смертоносным?

И, тем не менее, многие факты, ставшие известными благодаря публикациям прошлых лет, позволяют дать утвердительный ответ на поставленные вопросы. Попробуем разобраться в этом и понять, был ли взрыв ЧАЭС всего лишь трагической случайностью.

Чернобыльская атомная станция начала функционировать в сентябре 1977 года. Первая очередь ее должна была включать два энергоблока, каждый мощностью по 1000 Мвт. Затем предполагалось соорудить вторую очередь из двух энергоблоков большей мощности. Именно во вторую очередь входил IV-й энергоблок, который выдал первую электроэнергию в декабре 1983 года.

Будучи сложными, чрезвычайно мощными и потенциально опасными техническими устройствами, все четыре блока станции требовали к себе постоянного повышенного внимания. Над проектами станции работали крупные исследовательские центры, для сооружения станций и функционирования каждого из блоков были разработаны строгие регламенты, отступать от которых не мог ни один инженер, ни один исследователь или администратор.

А между тем на станции с момента закладки первого камня в фундамент и с первого дня работы творилось нечто такое, что не могло окончиться ничем иным, как катастрофой.

Строители станции отходили от планов, стремясь возвести все сооружение не в согласии с разработанным и утвержденным правительством регламентом, а как можно скорее.

Начальство, управлявшее строительством и пуском станции, намеренно отходило от имевшегося графика, чтобы выполнить так называемые «социалистические обязательства, взятые на себя коллективом строителей», и отрапортовать в победном стиле о досрочном выполнении и этих обязательств и «встречного плана». Таким образом, делалось все, чтобы работать не в согласии с разработками квалифицированных проектировщиков, а с наметками простых строителей, настроенных по-волево, которым за каждый день сокращения сроков выдавали дополнительную оплату в виде премий, которых морально вознаграждали почетными грамотами и орденами, вручаемыми от лица Президиума Верховного Совета СССР.

Позже ту же практику спешки, волевого отхода от жестких регламентов переняли эксплуатационники, ежедневно нарушавшие графики работы и старавшиеся блеснуть новшествами, внести изменения в дотошно разработанные схемы работы станции. Такие нововведения, внедряемые без согласования с проектировщиками этих сложнейших устройств, называемые рационализаторскими предложениями, немыслимые ни на одном из сложных предприятий Запада, в большом ходу в СССР. За каждое рацпредложение рабочих и инженеров поощряют материально и морально. По числу поданных рацпредложений судят о боевитости дирекции предприятий, в СССР проводят ежемесячные, ежеквартальные и годовые конкурсы на лучшего рационализатора, на лучшее предприятие, сотрудники которого подали больше рацпредложений.

Мне думается, что здесь стоит дать одно разъяснение. Я вовсе не настроен критически против «рацпредложений» как таковых. В стремлении сделать свой труд более рациональным или улучшить тот проект, над которым работаешь, не только нет ничего предосудительного, но это нужно приветствовать. И Эдисоны встречаются в любой среде.

Однако рационализаторские предложения могут быть приняты к внедрению только после тщательной проверки и обдумывания их всеми, кто отвечает за столь сложный механизм, как АЭС. Рационализация же, осуществляемая без учета всех возможных последствий локального изменения проекта и идущая в ущерб смыслу и целям всей работы, – недопустима. Таким образом, страшны не сами по себе рацпредложения, а бездумная погоня начальников за перевыполнением

планов путем внедрения любых рационализаций, похвальба количеством внесенных рацпредложений, т. е. шумиха и пустозвонство вместо строгого контроля.

Другое дело – «социалистические обязательства», то есть голые декларации о якобы добровольно принимаемых на себя всем коллективом обязательствах: построить что-то раньше срока, выпускать чего-то больше плана, делать дешевле, чем это стоит, и т. п. Это – принципиально уродливое явление со всех точек зрения, а не «творчество масс» и не социалистическое отношение к труду. Эта школа обмана и лицемерия вообще нигде не допустима, и уж тем более при строительстве и эксплуатации атомных станций.

Однако такая практика, вместе с непродуманной рационализацией, достигла огромного размаха именно на Чернобыльской АЭС. Дирекция этой станции гордилась своими рационализаторами, станция занимала первые места в соревновании среди всех других электростанций, включая и атомные, хотя и на последних немало умельцев старательно вносило изменения в графики работы и в конструкцию устройств.

Все это привело к тому, что I-й энергоблок ЧАЭС был включен на полную мощность с опережением плана на 8 месяцев. Героизм был вознагражден не только материально. 22 января 1978 года Центральный Комитет КПСС направил героям-строителям специальную телеграмму, в которой говорилось:

«Самоотверженный и вдохновенный труд многонационального коллектива по созданию первенца атомной энергетики на Украине является ярким свидетельством целенаправленного претворения в жизнь решений XXV съезда КПСС по обеспечению широкого использования в нашей стране энергии мирного атома».

А через полгода – 21 июня 1978 года – большую группу строителей и эксплуатационников, как сообщалось в советской печати, «наградили высшими правительственными наградами».

Ободренные успехом, руководители атомной энергетики страны еще более нажали на сокращение сроков возведения теперь уже II-го энергоблока. Он был сооружен и запущен «в рекордно короткие сроки – за один год, т. е. в 2,5 раза быстрее, чем предусмотрено нормативами», – писали руководители атомной энергетики Н. М. Фомин и М. А. Лютов в 1985 году.

И снова героизм был вознагражден высшими властями страны – 26 человек получили ордена и медали СССР.

В 1979 году партийное руководство призвало всех трудящихся работать еще быстрее и «новыми трудовыми успехами встретить знаменательную дату – 110 годовщину со дня рождения В. И. Ленина». Руководители ЧАЭС решили самым горячим образом включиться в это патриотическое начинание. По их призыву каждая бригада, заступавшая на очередную смену (а, например, в ночь аварии на станции работало 176 человек операторов и обслуживающего персонала, кроме того 268 строителей трудилось на возведении третьей очереди станции), стремилась выжать из станции все возможное, лишь бы выдать больше электроэнергии и снизить стоимость одного киловатт-часа. Естественно, добиться этого можно было, только нарушая нормы безопасности, только допуская работу вблизи того критического предела, за которым управляемая ядерная реакция могла перейти в неуправляемую. И чем более дешевую энергию удавалось получить, тем больше смелели эксплуатационники, и тем больше наград сыпалось на них сверху.

110-ю годовщину со дня рождения В. И. Ленина чернобыльцы встретили радостно. Их стараниями станция выдала самую дешевую электроэнергию среди всех АЭС страны. Кроме того, сверх плана было наработано 400 млн. квт-часов, все социалистические обязательства были перекрыты с лихвой.

За такой героизм правительство дало самый большой по советским меркам подарок: Чернобыльской АЭС присвоили имя В. И. Ленина.

Та же практика продолжалась и на III-м и на IV-м энергоблоках. Всего к 1985 году сотрудники станции предложили 3049 изменений в конструкции станции и в правилах ее эксплуатации, и САМОЕ ГЛАВНОЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО 2258 ТАКИХ РАЦПРЕДЛОЖЕНИЙ БЫЛО ИСПОЛЬЗОВАНО НА ПРАКТИКЕ. Руководство станции сообщило с гордостью, что благодаря отступлению от регламента работы удалось сэкономить 4 369 600 рублей.

В 1981 и последующем годах ЧАЭС неизменно выходила победителем соцсоревнования атомных станций страны или занимала призовые места. В каждом помещении станции висел лозунг, которым гордились чернобыльцы, считавшие,

что именно этот лозунг лучше всего отражает их устремления: «В фонд пятилетки – вклад каждого».

Чем это кончилось, знает каждый человек в мире.

Но естественен вопрос: а как относились к этой свистопляске ученые и конструкторы, бывшие в курсе того, что творилось на этой и других атомных станциях? Разве они не понимали, что отступление от пусть жестких, но тщательно продуманных и наиболее безопасных регламентов, погоня за сиюминутной выгодой, пусть даже приносящей многомиллионные прибыли, обернется когда-нибудь крахом, катастрофой, а возможно, даже гибелью людей? А ведь жизнь любого человека не оценить в денежном исчислении. Ничего дороже на свете быть не может.

Сегодня приходится признать, что даже те материалы, которые просочились в советскую печать, показывают, что руководители атомной науки в СССР, отвечавшие за безопасность станций, непрерывно занимались успокоением общественности, муссируя на все лады тезис о безопасности и абсолютной надежности всех атомных станций, надежности, исходно заложенной при их проектировании.

Одним из главных специалистов, отвечавших за безаварийную работу атомных станций, был (и остается сегодня) академик Валерий Легасов – выдвигенец престарелого Анатолия Александрова, президента АН СССР, которого вскоре после Чернобыльской катастрофы сместили с поста президента.

На протяжении нескольких последних лет А. П. Александров и В. А. Легасов упорно внедряли в умы советских людей идею о том, что ничего более безопасного, надежного и экономичного, чем атомные станции, человек создать не смог. Например, в 1985 году В. А. Легасов в статье «Источник особой ценности» (тоже ведь не случайный штрих – как он назвал свою статью: не источник повышенной опасности, а именно особой ценности), иллюстрированной красочной панорамной фотографией Чернобыльской АЭС, писал:

«Ядерная энергетика как источник энергии... не только конкурентоспособна, но и превосходит другие источники по совокупности таких факторов, как экономичность, надежность, безопасность и влияние на окружающую среду».

В 1984 году в книге «Ядерная энергетика, человек и окружающая среда», изданной под редакцией А. П. Александрова

(в числе авторов были физики В. А. Легасов и И. И. Кузьмин, врач Л. А. Ильин, инженер Ю. В. Сивинцев), утверждалось:

«Нетрудно видеть, что вероятность гибели в результате радиационной аварии на АЭС в 10 тыс. раз меньше, чем при движении в автомобиле и примерно в 100 раз ниже вероятности быть убитым ударом молнии. Сопоставление с частотой гибели при других стихийных бедствиях... показывает, что радиационный риск близок только к вероятности падения крупного метеорита, способного пройти через толщу атмосферы и достичь земной поверхности. Вероятность гибели от всех других явлений меньше в ~1000 раз».

А годом раньше в журнале «Энергия», издающемся Президиумом АН СССР (член редколлегии В. А. Легасов), утверждалось, со ссылкой на американское издание, что риск гибели от аварии на атомной станции равен для любого человека риску от выкуривания одной-трех сигарет. В заметке, так и названной «Не опаснее трех сигарет», сообщалось:

«Вероятность гибели человека в результате радиационного заражения местности, вызванного работой АЭС, сопоставима с вероятностью его смерти в результате поездки на автомобиле на расстояние 100 км, либо выкуривания им ежедневно 1 – 3 сигарет...»

Особо циничную позицию Легасов проявил в статье, написанной им совместно с В. Ф. Деминым и Я. В. Шевелевым «Нужно ли знать меру в обеспечении безопасности?». Речь шла о безопасности АЭС, причем авторы задались целью опровергнуть укоренившуюся на Западе из-за протестов мировой общественности концепцию о необходимости максимально доступного снижения уровня опасности при строительстве и эксплуатации АЭС, снижения до столь низкого уровня, насколько это достижимо при сегодняшнем уровне технологии (принципа ALARA – as low as practically achievable).

Статья начиналась с безапелляционного утверждения:

«Специалисты, конечно, хорошо знают, что устроить настоящий ядерный взрыв на ядерной электростанции невозможно, и только невероятное стечение обстоятельств может привести к подобию такого взрыва, не более разрушительному, чем артиллерийский снаряд».

Авторы повторяли еще раз, что атомные станции проектируются со столь большой надежностью, а эксплуатируются так квалифицированно, что «безопасность как работников станции, так и населения, живущего рядом с ее предприятиями»

ми», всесторонне обеспечена, ибо «установки проектируются и строятся так, чтобы окружающее население не испытывало ущерба своему здоровью не только при нормальной работе... но и даже при таких экзотических событиях, как падение самолета на реакторное здание».

Попутно авторы предприняли попытку оценить, сколько рублей стоит человеческая жизнь и из стоимости какой оценки риска гибели человека следует исходить при проектировании защитных устройств на атомных станциях. По их гуманным понятиям:

«Ущерб для общества от гибели среднестатистического человека оценивается в 20-30 тыс. рублей (в зависимости от возраста и др.). В пересчете на α (где α – цена риска, пересчитанная в категории экономической значимости безопасности АЭС. – В. С.) это дает $\alpha = 4-6$ рублей».

Такие прагматические оценки, граничащие с каннибализмом, возникли у авторов не на пустом месте и не были случайностью. В той же статье они выспренно разглагольствовали о необходимости платить за комфорт и радости жизни и о готовности современного человека рисковать жизнью, лишь бы урвать толику от комфорта и прочих прелестей. Они писали:

«Цивилизация не только удлинила жизнь человека, несмотря на принесенные ею новые опасности; она сделала жизнь удобной, приятной, облегчила ее и украсила. Социологи, определяя уровень жизни, считают нужным наряду с долголетием измерять стандарт или качества жизни. Это, безусловно, отражает мнение большинства людей, которые в повседневной практике разменивают здоровье на полноту жизни, ради больших удобств рискуют пользоваться относительно более опасными видами транспорта, занимаются альпинизмом, охотой и пр., не расстаются с заведомо вредными привычками, наконец, рискуют жизнью не только ради спасения близких или далеких людей, но и ради получения материальных благ... Человек, озабоченный исключительно своим здоровьем, уподобляется ворону из калмыцкой сказки, рассказанной Пугачевым в назидание молодому дворянину*. Большинство людей отвергает такой стиль жизни».

* В этой сказке орел спрашивал ворона, отчего тот живет 300 лет, а орлы только 33 года? «Оттого..., – отвечал ворон, – что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной». Орел решил попробовать мертвечину, чтобы продлить себе жизнь, но нашел, что она – невкусна и тогда «сказал ворону: Нет, брат ворон, чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст!»

Мне уже приходилось раньше упоминать мнение академика А. Д. Сахарова, высказанное им в связи с аналогичными высказываниями отца американской водородной бомбы Э. Теллера. Сахаров писал тогда (в 1959 году):

«Другой распространенный в литературе ряда стран аргумент сводится к тому, что прогресс цивилизации и развитие новой техники и во многих других случаях приводит к человеческим жертвам. Часто приводят пример с жертвами автомобилизма. Но аналогия здесь не точна и не правомерна. Автотранспорт улучшает условия жизни людей, а к несчастьям приводит лишь в отдельных случаях в результате небрежности конкретных людей, несущих за это уголовную ответственность. Несчастья же, вызываемые испытаниями, есть неизбежное следствие каждого взрыва. По мнению автора, единственная специфика в моральном аспекте данной проблемы – это полная безнаказанность преступления, поскольку в каждом конкретном случае гибели человека нельзя доказать, что причина лежит в радиации, а также в силу полной беззащитности потомков по отношению к нашим действиям».

Сказанное Сахаровым полностью приложимо к позиции, занятой В. А. Легасовым. Единственное отличие заключается в том, что назвать призывы Легасова безнаказанными никак нельзя, особенно учитывая последствия, к которым привели эти призывы.

Столь же неприемлемо другое утверждение Легасова и соавторов:

«Затраты на защитные мероприятия отвлекают средства из других областей, в частности тех, где формируется качество жизни. Поэтому они не должны быть чрезмерными. Именно это очевидное требование игнорируется во всех подходах к обеспечению безопасности, основанных на критерии уменьшения или минимизации суммарного риска и т. п.».

Повторю еще раз: погоня за дешевизной, основанная на аморальных предпосылках о якобы выражаемом большинством людей желании рисковать жизнью и здоровьем ради получения выгод от дешевой электроэнергии, преподала самый страшный урок прагматикам. За их квазинаучные упражнения по части экономной экономики приходится платить всему населению, и не только нашей страны, но и других стран, куда разнеслась и будет еще десятилетиями разноситься радиоактивная пыль Чернобыля.

Сегодня звучит как откровенное издевательство, как, кощунственное глумление над жертвами Чернобыля окончание статьи Легасова, Демина и Шевелева:

«Итак, мера в обеспечении безопасности нужна. Она должна устанавливаться предпочтительно в рамках экономического анализа. Отказ от такой меры, стремление обеспечить максимальную безопасность может привести к противоположному результату.

«Известно всем, что безопасность – всех смертный самый первый враг». Эта мысль, высказанная В. Шекспиром устами леди Макбет, кажется с первого взгляда абсурдной. Однако она, подтверждая известный принцип единства и борьбы противоположностей, может служить иллюстрацией к основному выводу настоящей статьи»*.

Занимая высокий пост в кругах советской научной олигархии, Легасов, естественно, формировал особую среду, в которой его взгляды подхватывались другими людьми и выдавались уже от своего имени. Так, например, близкие к нему И. И. Кузьмин и А. Я. Столяревский в 1985 году, обсуждая вопрос о том, почему в последние пять-семь лет темпы строительства АЭС в странах Европы и в США упали, объясняли это неверным, по их мнению, стремлением повысить надежность атомных станций. Отмечая тот факт, что «...доля затрат на обеспечение безопасности АЭС, эксплуатация которых началась в 1975 году, составляла 30% от общих капиталовложений в АЭС, а для строящихся сегодня эта доля возросла почти до 50%», они осуждали стремление западных стран переусердствовать по части максимального предупреждения аварий.

Поддерживал эту концепцию и член-корреспондент АН СССР А. А. Саркисов, утверждавший:

«Существует мнение, что по мере износа оборудования могут обнаружиться слабые звенья. А одна-единственная авария в состоянии резко ухудшить имеющуюся статистику. Чтобы окончательно устранить необоснованные страхи, необходимо ясно и четко рассказать самой широкой аудитории, как конкретно обеспечивается безопасность атомных энергетических установок».

Спешил поддержать физиков-технократов и человек, который вроде бы своей профессией принужден был

* Выражаю признательность акад. А. Д. Сахарову за указание на эту статью В. А. Легасова и соавторов.

дать отпор нездоровым устремлениям, – первый зам. министра здравоохранения СССР Е. И. Воробьев. Выступая на Международной конференции, посвященной пуску первой атомной электростанции, он сказал:

«Можно с полной уверенностью утверждать, что в настоящее время ядерная энергетика как с точки зрения радиационной безопасности персонала и населения, так и по степени воздействия на окружающую среду зарекомендовала себя как один из наиболее безопасных и перспективных видов человеческой деятельности, связанной с производством энергии».

Нельзя не отметить, что в то же время в докладе, представленном на Международный конгресс ядерной техники в Базеле, Швейцария, в 1981 году, В. А. Легасов, Л. А. Ильин, И. И. Кузьмин и другие старались создать у западных участников конгресса впечатление о себе как о людях, крайне озабоченных необходимостью поднять уровень безопасности АЭС, и перечисляли 6 пунктов, доказывающих стремление советских руководителей атомной энергетики к максимальному снижению риска аварий. Было перечислено, в частности, и «последовательное осуществление всех технических и организационных мер в обеспечении безопасности на всех этапах сооружения и эксплуатации атомных станций».

В августе 1986 года, давая отчет о случившемся в Чернобыле перед сотрудниками МАГАТЭ, Легасов вынужден был признать, что сотрудники Чернобыльской АЭС в ночь на 26 апреля того же года прибегли к недопустимому эксперименту: вывели из строя автоматику, манипулировали с ядерным горючим, изучая, насколько можно повысить выход электричества, преступно вольно обращались с системой замедления нейтронов и с системой охлаждения реактора... и взорвали реактор. Пренебрежение мерами безопасности наконец дало себя знать.

Уроки Чернобыля

Уместно завершить эту статью мыслью, не раз уже высказывавшейся по разным поводам, но не утратившей своей остроты. Нравственная слепота людей, берущихся судить и рядить об экономических материях и цене риска, не сегодня впервые прорезалась в нашем обществе. Это – не первый при-

мер провала, проистекшего от безнравственности, ибо безнравственность – путь к провалам, а прикрытие жупелами требований момента, борьбы противоположностей или, хуже того, блага Отечества и экономического благоденствия не спасает от провалов. Пример Чернобыля стал показательным в этом плане.

В Чернобыльской катастрофе отразились многие социальные болезни, часть из которых присуща всему миру, а часть – конкретно СССР. В их числе и всевозможные пороки в организации производства, и безответственность высокопоставленных должностных лиц (их халатность и беспечность), и укоренившееся повсеместно стремление заменить безотлагательные меры самоуспокоением, намеренное преуменьшение опасности.

Нежелание дать полную и своевременную оценку последствиям Чернобыля нельзя прикрывать идеологией «святой лжи», когда больному не сообщают о реальном течении болезни, чтобы не вызвать у него лишних эмоций. Если люди, призванные принять самые серьезные и срочные меры, станут заниматься патетической риторикой, а на самом деле отвернуться от правды, постараются прикрыть «святой ложью» свое бездействие (в особенности – чтобы спасти свое личное благополучие и свои посты), то ни о какой святости говорить уже не приходится. Этот порок, наравне с другими, должен выкорчевываться системой полной гласности. Капитан тонущего корабля, который решит, опасаясь паники со стороны пассажиров, не подавать сигналов бедствия, будет отдан под суд как преступник. А мы, тем не менее, видим, что до сих пор о многих бедах, принесенных Чернобылем, умалчивают.

Уроки Чернобыля тем более важны, что человечество не обойдется без ядерной энергетики. Уже сегодня в США 16% всей электроэнергии поступает от более чем ста атомных станций, а во Франции уже более половины всей электроэнергии дают собраты Чернобыльской АЭС. Значит, нужно как можно более тщательно обдумать случившееся и постараться навсегда отделаться от лихачества. Уроки Чернобыля побуждают добывать новые знания, уже дорого оплаченные человеческими жертвами. Чернобыль – это грозное предостережение относительно неумолимой и чудовищно высокой платы, которая может быть взыскана с человечества за слишком поспешный прогресс и за безнравственность бесшабашных эгоистов.

Беда с Чернобылем еще долго будет стучаться в наши двери. И не только в увеличении смертей от рака проявится она. Будут и последствия пострашней: порча генов в грядущих поколениях, возрастание доли рождений людей с наследственными болезнями, увеличение числа уродов, преждевременных родов, спонтанных аборт. Об этом речь пойдет в следующей статье.

*Март 1987 года
Москва*

ВНИМАНИЕ!

Вышел 12-й номер журнала

«Литературный курьер»

Редактор Михаил Моргулис

90 страниц, 45 авторов

В номере: Артур Миллер, В. Аксёнов, В. Набоков, Л. Наврозов, И. Косинский, И. Ратушинская, астронавт Джим Ирвин, В. Крейд, В. Бетаки, Т. Пахмусс и мн. др.

В номере: дискуссия о Солженицыне, воспоминания о Хрущеве, критические размышления об А. Зиновьеве. Стихи, эссе, разгадка литературных тайн.

Наш адрес:
Literary Courier
300 Duane St. Glen Ellyn, IL. 60137, U.S.A.

Восточноевропейский диалог

Милован Д ж и л а с

ВЕЧНОСТЬ И ВРЕМЕННОСТЬ СВОБОДЫ

1

Что такое свобода?

Ответ на этот вопрос нелегко точно сформулировать. И не только потому, что любая формулировка несовершенна, даже когда речь идет о явлениях прошлого, а уж, тем более, о свободе, о желаниях и стремлениях, которые вечно существуют в человечестве и вечно осуществляются по-иному... Это как жизнь: кто сможет и сможет ли кто-нибудь когда-нибудь сказать, что такое жизнь? Божий дар, самопознание идеи или способ существования материи – ответы зависят от мировоззрения, и каждый удовлетворителен только для какого-то одного мировоззрения. Да и хорошо, что так: если бы был возможен окончательный и бесспорный ответ, не иссохла ли бы вечная и трагическая красота свободы и жизни?

И все же можно ответить на вопрос, что такое свобода. Только не формулировкой, не на основании точных научных, экспериментальных или философских систем, а обобщая то, что мы знаем об условиях и движении человеческих сообществ. Я не недооцениваю ни научные эксперименты, ни философские системы и отнюдь не считаю их излишними: они тоже условие жизни и свободы. Но я хотел бы дать самое обобщенное, хотя и самое банальное, объяснение того, что такое свобода.

Ведь очевидно и неоспоримо, что со своего зарождения человечество все расширяет свою свободу, или, вернее, духовные, физические, политические и другие условия своего существования. Это не значит, что свобода и существование – одно и то же: некоторые формы личной и духовной свободы могут реализоваться независимо, хотя эта независимость временна, от существования нации или группы. Но существование нации

или группы всегда проявляется как свобода, как стремление к свободе, как только этой нации или группе предоставляется возможность расширить свои условия существования... Так происходит и с людьми, и с человечеством, а кто знает, не является ли жизнь свободой – стремлением или попыткой живого существа противостоять безличности и смерти и как-то по-своему себя утвердить?..

Мильтон выводил неизбежность и оправдание свободы из Закона Божьего: что может помешать человеку выражать свою волю, раз воля дана ему Богом? Почти нет мыслителей или художников, которые не связывали бы творчество и мысль со свободой, а многие просто их отождествляют. Все восстания происходят во имя свободы, все муки и страдания претерпеваются тоже во имя ее. Человек не существует вне свободы, свобода заключена в самом существовании человека, как бы она ни выражалась и что бы он ни делал.

Рабство, угнетение и эксплуатация – неизбежные черты рода человеческого, поскольку человек не может существовать вне общества, вне иерархии и принуждения. Но в этом всюду и неизбежно обнаруживаются также источники нового понимания, новых жертв и сражений за свободу.

2

Особые трудности при формулировке и объяснении понятия свободы вызваны тем, что никто не выступает против свободы – свободы вообще, свободы как таковой. Люди бывают иногда «только» против конкретной свободы – свободы других, «врагов», «реакционеров» и всех «чужих», не своих сил.

Никто разумный не может выступать против жизни, во всяком случае, против жизни как таковой, а следовательно, и против свободы. Но большинство считает свою жизнь, свой образ жизни единственно правильными и оправданными, а иногда даже единственно допустимыми.

Современные тоталитарные тираннии, например, гитлеровская и сталинская, все время твердили о свободе – конечно, по демагогическим причинам и ради обмана. Надо сказать, однако, что они делали это неохотно – ведь само слово *свобода* заразительно, оно вдохновляет всех тех, кто ее лишен, у кого она отнята. Но если бы их кто-то спросил, если бы у кого-то

была возможность безнаказанно обвинить их в отсутствии свободы, Гитлер и Сталин самоуверенно ответили бы, каждый по-своему, что это неправда.

Гитлер объяснил бы, что свободу воплощает лишь высшая раса, которая является носителем технического и культурного прогресса, а плодами этого прогресса в дозволенной мере будут пользоваться и низшие, рабские расы. Значит, важна свобода высшей расы, *Herrenvolk*'а, нацистской элиты, которая воплощает свои стремления и свои желания во всемогуществе и тотальной власти вождя. Для Гитлера, в конечном итоге, настоящими людьми являются только принадлежащие к высшей, арийской расе, а ее загрязнили другие расы, и поэтому необходимо ее очистить и воссоздать. Все остальные, низшие расы – люди лишь по своим физическим свойствам и предназначены быть бессловесной рабской рабочей силой. Гитлер отдавал себе отчет (да и признавал это неофициально) в том, что его цель – это новый рабовладельческий строй.

Сталин объяснил бы свое поведение и свою точку зрения более сложно: свобода подлинна и реальна лишь постольку, поскольку она – свобода трудящихся, то есть партии, руководящей построением бесклассового общества, а в этом обществе не будет и понятия свободы, поскольку в нем все станут равными и свободными. Это общество – историческая необходимость, научно доказанная, или, как сказали бы мистики, высшая необходимость, предначертанная судьбой; а свобода – воплощение этой необходимости или неминуемости. До того, как возникнет коммунистическое общество, свобода должна ограничиваться, а противники этой будущей абсолютной свободы – искореняться и уничтожаться. Сталин верил, заставил себя поверить в осуществимость совершенного тотального коммунистического общества. Но он понимал – и действовал соответственно, – что это возможно только путем тотального полицейско-идеологического насилия.

Итак, те, кто принимает только свободу вообще, иными словами, отождествляет свободу со свободой для себя, для своей догмы, для своей секты, для своей партии, для своей религии, для своего образа жизни и миропонимания, вообще стоят не за свободу, а только за свою монополию, свое господство и свою тиранию. Сторонники такой «свободы» чаще всего, почти всегда выступают от имени народа или нации, ра-

систы – от имени расы, а коммунисты – от имени рабочего класса, которому предназначено построить идеальное общество.

Народы и нации, несомненно, являются этническими, культурными и психологическими общностями. Но социально они всегда дифференцированы, делятся на слои и различные социальные группы, исповедуют разные социальные идеи, а часто и разные религии. Свобода народа или нации в целом оправдывается и подтверждается лишь в критические для данного народа или нации моменты – чаще всего при вторжении захватчиков. Но и тогда в борьбе народа или нации за свое существование такая свобода может возникнуть только при добровольном объединении всех социальных групп, социальных идей и религий: все временно отказываются от своих свобод, чтобы выжить как целое и после освобождения достигнуть большей свободы для каждой социальной группы, для каждой идеи и каждой религии. Свобода всех – это единственное, что в состоянии объединять народы и нации.

С расами и классами дело обстоит иначе. Не бывает чистых рас: выступление во имя своей расы – это обычно выступление во имя определенных социальных групп и социальных интересов, очень часто с преобладанием предрассудков и «идей» о существовании привилегированных рас. Нет также и чистых классов, во всяком случае, в современном обществе, и уж точно нет класса, который был бы един во всем, в то числе и в идеях, и предназначен на роль спасителя-мессии. Это не значит, что классов никогда не было или что они не существуют как некие общности с одинаковым положением, сходными стремлениями и интересами: в обстоятельствах, судьбоносных для их существования, чаще всего в социальных конфликтах, эти классы могут объединяться в сражающиеся отряды и выдавать свою судьбу за судьбу нации, а то и человечества.

Свобода – только тогда свобода, если она и свобода других. Если она конкретна, утверждена законами по отношению к внутреннему положению данного общества и внешнему положению нации. Закон – не всегда и не всюду свобода, но свобода неизбежно является и законом. Свобода, которая не является законом, не сохраняется, и поэтому она невообразима реально. Ибо ее не породить гипотезой, что все люди от природы хороши или что они могут жить в неорганизованных

и необщественных объединениях. Лишь узаконенная свобода может быть свободой – свободой и для других. Для всех, в том числе для врагов свободы.

Свободны – относительно, конкретно и реально – только те общества, в которых разные группы и разные идеи борются за свои интересы и за свою точку зрения, но соблюдают законы, принятые большинством и, следовательно, обязательные для всех.

Это не исключает революций или войн в тех случаях, когда какая-нибудь группа во имя своего «идеального» положения и своей «абсолютной» идеи устанавливает абсолютную власть над обществом или над другим народом и существование других становится, в результате, невыносимым и беспросветным. В таких случаях революции и войны, несмотря на присущее им насилие, становятся движением к свободе или хотя бы порождают надежду на более сносную судьбу.

3

Диктатуры – каждая по-своему, но обязательно все – настаивают на подчинении личного и личности народу, нации, расе, классу, идеологии, обществу, государству. Это упорство основывается на присущих человеку коллективистских свойствах – жертвенности и самоотречении во имя идеалов, общества, человечества. Бывает даже, что сами диктаторы приносят себя в жертву своей утопической власти.

Но даже в тех случаях, когда приносится праведная жертва во имя идеала или общества, личность делает это как личность – она не уничтожает, а утверждает свои свойства. Общество, община и даже диктатура, ставя себя на место личности, не могут ее уничтожить – они могут только придушить ее и лишить слова. Личность – это целое, это мир в себе, это нечто, состоящее из бесчисленных составных, которые созданы самой личностью или ею по-своему преобразованы. Угнетение, эксплуатация, насилие – это всегда и прежде всего разрушение этой целостности, этого самобытного, незаменимого существа. Подчинение и обезличивание личности – величайшая иллюзия и страшнейшее зло всякого насилия.

Но самое демократическое, самое свободное общество (ведь открытое общество – это тоже утопия) разумно и реаль-

но только как незавершенное движение и творческий процесс – самое свободное общество и любая общность не могут существовать, не ограничивая личность. Нормы, обычаи, возможности, законы, свобода всех остальных – всё это ограничивает и должно ограничивать личность. Абсолютная свобода личности нереальна и неосуществима уже потому, что личность не может жить вне какой-то общности, а общность всегда приобретает структуру упорядоченного общества, ограниченного условиями и законами, свободного только потому, что ограничено одинаковыми правами. Личная свобода реальна только в той мере, в какой постулируется свобода для других, для всех. Поэтому раннее христианство – до того, как оно объединилось с государством и создало иерархическую структуру, – было самой полной свободой.

Общепринято и бесспорно одно: без свободных личностей – свободных, поскольку они ограничены одинаковыми правами, – не может быть свободного демократического общества. И не только потому (хотя это одна из причин), что общество состоит из множества личностей, но и потому – и прежде всего потому, – что без свободных личностей не может быть настоящего, полного духовного творчества. А следовательно, нет и творчества общественного, нет движения и открытости общества: демократическое общество, как и всякий коллектив, – дело рук свободных, свободно мыслящих и вдохновенных личностей. Иными словами, ценность личного становится полной, когда она становится коллективной.

4

Идея является свободой, когда она идея свободы и жизни для других и для всех.

Идея не порождает свободу и не создает ее. Но, может быть, идея и не является чистой и творческой идеей, если она не есть идея свободы? Почему не слить воедино идею и свободу в идею свободы? Идея свободы – это жертва, страдание и подвиг. А это есть и сама свобода, поскольку свободой пользуется только тот, кто выстрадал ее, кто устоял против соблазнов и искушений жизни, кто стал выше самой жизни.

Свобода – по ту сторону жизни, ибо иначе она не может быть новой жизнью, началом новой формы жизни.

В коммунистических движениях до тех пор, пока они молоды, то есть пока они верят (или в тех из них, которые верят), задолго до того, как коммунисты раскаются в грехах абсолютной власти, часто употребляется штамп «идейный». Смысл этого штампа, произведенного от слова «идея», – приверженность, преданность идее коммунизма, чаще всего со стороны отдельного человека, реже – группы и очень редко партии. Этот штамп толкает меня на то, чтобы, опираясь на историю коммунистических движений и на собственный опыт и знания, сделать следующий вывод: идейные коммунисты – на самом деле вовсе не самые настоящие, подлинные коммунисты. Они думают и верят, пребывают в убеждении, что только они настоящие коммунисты. Но это такая же иллюзия, как и вера в совершенное коммунистическое общество или в диктатуру пролетариата как высшую форму демократии. Идейные не щадят себя, а чаще всего и других. Тем не менее – но и поэтому, – идейные коммунисты являются своеобразными идеалистами, которых эпоха и условия втянули в коммунизм вместо какого-нибудь другого движения, вдохновляемого идеализмом. Это не оправдывает ни идейных коммунистов, ни идейных некоммунистов, но в какой-то степени объясняет их существование. И обращает внимание на следующий факт: идеализм – это самое мощное, самое благородное свойство свободы; свобода без него бесперспективна и необузданна, но идеализм также становится ловушкой для свободы, как только он превращается в догму и насилие. Не только байки о свободе не стоят ломаного гроша, но и вера в свободу, пусть необходимая, значит очень мало, если не подтверждается делами, если не реализуется, если не становится свободой на деле... Следующий вывод: настоящие коммунисты, самые что ни на есть коммунисты – это как раз те, кто не слишком идеен и для кого идейность – лишь одно из средств в борьбе за тотальную власть, за монополию над обществом. Они идейны в очень небольшой и условной степени, но в пользовании властью как раз они обычно удачливее всех. Идейные – это молодость коммунизма, а неидейные или безыдейные – его старость. Идейные, в конце концов, приходят в отчаяние и упадок, а безыдейные продолжают наслаждаться полнотой власти. Это, конечно, упрощенное представление, ибо существуют промежуточные, смешанные типы и их, пожалуй, больше всего – оппортунисты, которые приспособляются к власти имущим и де-

лают вид, что живут в идейной атмосфере. Примерно то же можно сказать о всяком коммунистическом движении и о самом коммунизме как идее: чем старше они становятся, пользуясь монопольной властью, тем менее они идейны, тем меньше у них идеалов, и тем более обнажается их сущность чистой власти.

Но зачем я начал это рассуждение об идейности и безыдейности коммунистов?

Затем, что, по-моему, надо рассматривать коммунизм и коммунистов конкретно и аналитически, без ортодоксальных тем и без предубеждений – если желать их понять и искать выход из мрака и насилия. Сам коммунизм ни для кого, преданного свободе и справедливости, не может быть выходом после миллионов невинных жертв, после того, как коммунисты овладели множеством стран, показав себя самым привилегированным и монополистическим классом современного мира, после реформ, которые всюду провалились, – выход возможен только тогда, когда налицо идеал справедливости и свободы.

Идеал, идея, идейность оправдываются и утверждаются лишь в том случае, если они реализуются как свобода, если они становятся свободой всеобъемлющей и для всех.

5

В политике всякое движение и всякий вождь обладают своей истиной – истиной своих интересов, своей практики и своих идеалов. Политика основывается на мифах и на иррациональных импульсах, но и политические истины не могут быть тождественны истинам логическим и фактическим. И это по той простой причине, что никакая политика – а тоталитарная несравненно меньше, чем демократическая, поскольку делает невозможными все другие программы, – не может объять в целом жизнь нации и общества. Но это не значит, что политика как таковая противостоит правде. Напротив, каждая политика логична для себя и в себе, она обладает логической структурой, необходимой для того, чтобы она была понята, чтобы ей поверили: для этого любая политика должна настаивать на множестве фактов. Даже самая демагогическая и самая лживая политика всегда приветствует правду более, чем

ложь, если правда приносит ей больше пользы. Иными словами: политика использует ложь скорее по необходимости, чем по убеждению.

Эти слова не противоречат пониманию того, что всякая политика, которая замыкает себя в идеологическую догму – а коммунизм, например, является идеологическим, «научным» догматизмом, – неизбежно основана на неправде и, хочешь не хочешь, ведет ко лжи и самообману. Но даже носители такой идеологически догматической политики обращаются с правдой осторожно и прибегают к обману и лжи по нужде и крайней необходимости. В этом смысле для них как раз все гораздо легче: идеология не только оправдывает обман высшими, «идеальными» целями, но своими крутыми ограничениями защищается от проникновения чужих замыслов и инициатив.

Это, однако, слишком обширная тема для этой статьи. Но возникает вопрос: если невозможна абсолютно чистая, стопроцентно правдивая политика – желательна ли вообще правда в политике, возможна ли она, и если да, то в какой мере и при каких условиях?

Конечно, правда и возможна и желательна. Она неограниченно желательна и относительно возможна. Но не во всякой политике, а лишь в той, которая защищает свободу и борется за расширение ее реальных возможностей. Это не идеальный мир и не идеальный порядок, таковых не может быть, – это идея, борьба, устремленная к большей идеальности, к большей свободе, к недостижимому и непознаваемому идеалу. Свобода, борьба за свободу содержит в себе правду – правду как устремление, правду относительную.

Может быть, точнее было бы заключить: правда является правдой в той мере, в какой она – свобода, борьба за свободу.

Но, как бы мы ни рассуждали, мне кажется бесспорным одно: правда может найти в политике наиболее широкое и прочное место только в свободе, только в борьбе за свободу.

Честно и благородно требовать, чтобы правда нашла себе еще большее место, даже если это иллюзорно, ибо политика не может стать чище человеческой жизни и жизни человеческих общностей. Ведь нравственность стремится к абсолюту, а политика и общество – к возможному.

Вряд ли существует свобода без испытаний и страданий, когда ее защищают или завоевывают и даже когда ее расширяют. Страдают не только угнетенные и лишенные прав, изгнанные и заключенные. Сама борьба за свободу, сами поиски свободы несут в себе муку и страдание, конфликты и жертвы. Ибо свобода всегда и всюду наталкивается на отпор – отпор окостенелых мировоззрений и привилегированных групп. То же самое происходит с творчеством в науке и в искусстве: свобода – это самое полное и живое творчество, а мука и страдания за свободу – самое возвышенное достижение и самое благородное наслаждение. Если борьба за свободу не сопровождается мучениями и неволей, это скорее всего значит, что с этой свободой что-то не в порядке.

Но не одинаковы трудности и значение борьбы за свободу против внешних, чужих, враждебных сил и против себя самого и собственных единомышленников и сторонников. Правда, эти два вида борьбы чаще всего пересекаются – без отречения и давления изнутри, в своей собственной «секте», не бывает обороны и освобождения от угнетателей и завоевателей. Но борьба против внешних враждебных сил – это нечто естественное для каждой общности, особенно этнической, даже если свобода для всех отнюдь не является ее целью и ее путем. В таком случае страдание подразумевается изначально, и его преодолевают, поскольку это страдание общности и движения. Но борьба против своих собственных слабостей и заблуждений, против несвободы своего движения и своей общности – нечто гораздо более трудное, и для того, чтобы ее вести, надо найти основу и вдохновение в себе, в личности, в движении, в общности. Борьба и страдания за эту свободу никак не подразумеваются изначально, и для них нет никакой компенсации в виде страданий общности или движения. Это напоминает мне истолкование, которое дал черногорский мудрец Марко Мильянов Дрекалович двум национальным движениям – чойству и юнашству: «Юнаштво – защита себя от других, чойство – защита других от себя».

Но эта борьба в себе, в своем движении и в своей общности против слабости и непоследовательности – самая полная и предельная преданность свободе. К тому же – свободе для всех. Такое постоянное самоистязание предвещает или прямо

порождает новые фазы, новые возможности и новые формы расширения свободы. Это одновременно и путь к личной свободе – свободе своего духа, даже если мы не восстаем против порядка своего движения, своей «секты», – именно потому, что мы неминуемо принадлежим к судьбе своего народа и человечества. Ибо каждая идея и, в частности, идея свободы не только рискует стать – но даже неизбежно после победы, после узаконения и утверждения станет – эгоистической и утратится в жизненных мелочах и привилегиях. Идея свободы ищет жертву и творца, жертву-творца, каждый раз, как ее границы раздвигаются.

Даже там, где господствуют закон и свобода, идеи и факты свободы сопротивляются ограничениям, давлению и запретам групп, защищающих свои интересы, и окостеневших идей. А там, где не господствуют закон и свобода, появляются тюрьмы, лагеря, плахи и застенки, и они становятся неизбежной судьбой борцов за свободу. Но темницы и плахи особенно губительны как раз для тюремщиков и палачей: они не только не могут истребить дух свободы – наоборот, они его очищают и облагораживают. Идея еврейской свободы, еврейского государства продолжала жить и перерождаться, проходя через столетия гонений и рассеяния, а осуществилась на пепле миллионов жертв нацистских фабрик смерти. Так же происходит или происходило и с другими народами – как и с народом, к которому принадлежит автор этих строк. Так же будет когда-нибудь и с русским народом, и со всеми народами Советского Союза и Восточной Европы: страдания обновляют и оплодотворяют дух, и тем самым заново начинается жизнь народа.

Я не хочу сказать, что темницы и плахи обязательно и всегда облагораживают и одухотворяют. Бывает по-разному. Часто они уродуют и обессиливают. Но те, кого они облагородили и одухотворили, извлекают из страданий всех идею свободы и обобщают ее.

Многие заключенные подтверждают, что они пережили мистический опыт познания Бога. Многие говорят, наоборот, что они не познали Бога, но нашли очищенную идею и с ней отождествились. Я не оспариваю никакого опыта и не подтверждаю его – я не верю в мистику, но верю в идею и в людей. Зато нет сомнения, что во всех этих случаях преодоление страданий и мук заключения становится духовным возвышением и просветлением.

Никто не сотворил человечество одним махом, но оно возникло. То же самое можно сказать об этнических общностях. Хотя политический и социальный порядок, религия и культура, несомненно, влияют на людей и на народы, никто и ничто не может их изменить: вера в то, что, изменив условия, можно вывести нового человека, чистую расу или исключительный народ, является идеологической конструкцией, а главное, ведет прямо к духовному опустошению и тирании.

Этнические общности – это некая форма жизни для всех входящих в них и для каждого члена отдельно. Без самостоятельных народов и наций не может быть свободных личностей и открытых обществ – и наоборот. Всякое общество носит этнический характер, всякая этническая общность обладает общественной структурой, каждая личность является членом общества и этнической общности. Жизнь человека – это нечто целостное: национальность, личность, общество, человечество – нельзя отделить какую бы то ни было часть, не изуродовав целое.

Как я уже говорил, каждая из этих составных нерушима и необъяснима. Я не хочу сказать, что нельзя или не нужно пытаться их понять. Наоборот, понимание и сознание, хотя само по себе и не является свободой, – все же один из верных путей к ней, а люди чаще всего, а может быть, и охотнее всего разрушают то, что недостаточно знают.

Но я хотел подчеркнуть: невозможность окончательного познания таких чувствительных явлений, как национальность или человеческое существо, требует крайне ответственного подхода. Ведь действительно правда, что народ, который соглашается угнетать другой народ, сам себя приговаривает к несвободе. Правда и то, что человеку или народу, который не борется за свободу, свобода никогда не будет дарована свыше; я верю, что и палестинцы когда-нибудь обретут свободу: хотя сами они больше всех вредят себе терроризмом, их трагическая судьба и готовность жертвовать собой обосновывают их право на национальное существование.

Каждая личность национальна – иначе она не полна. Каждое политическое движение национально – иначе оно подражательно и зиждется на иллюзиях. Национализм же зависит от условий, от идеи, от вождя: идея свободы сохра-

няется в нем, только если он не подчиняет других. В наше время это редко и спорно: поэтому всегда надо прислушаться и к той, другой, противной стороне.

С момента своего возникновения человечество стремится к единству. Единство развивалось сквозь угнетение и эксплуатацию, всегда порождавших мятежи и восстания. Подлинное единство возможно только тогда, когда оно добровольно и свободно, то есть когда оно является и утверждением национальных особенностей.

Опыт Югославии поучителен и в этом: революционная коммунистическая партия жертвовала собой и уничтожала своих противников в убеждении, что своей тотальной властью она построит «совершенное общество» и общность равноправных братских народов. Конечные результаты – голая власть монополистических национальных бюрократий, обман народа и потеря гражданских прав. Югославская идеологическая «идеальная» система подтверждает, что без демократии, без свободы нельзя по-настоящему решить ни один жизненно важный вопрос, нельзя открыть ни одного горизонта. В частности, национальный вопрос, т. е. проблема отношений между народностями, не может быть решен в условиях несвободы: национальная нетерпимость углубляется и становится беспредельной, поскольку вытекает из экзистенциальных устремлений, решение которым могут найти только разум и свобода.

Революция сумела разрушить существовавший порядок, но для того, чтобы возникло более свободное существование, нужно открыть путь к свободе.

Если свобода подтверждает свою мощь тем, что предоставляет возможности и своим противникам, – диктатура, несомненно, обнаруживает свое бессилие тем, что сама себя закапывает.

Это происходило и происходит в Югославии. Может быть – будем надеяться, – ее народам и людям суждено терпением и борьбой вновь и вновь овладевать собою и своей судьбой.

Белград, 10 – 20 октября 1986

*Перевод с сербско-хорватского
Ирины Иловойской*

РУССКИЕ КНИГИ

В связи с падением курса доллара
выгодно покупать книги, изданные в США:

Джон Баррон. *Пилот МИГа* – последний полет лейт. Беленко

Е. Гинзбург. *Крутой маршрут* – в 2-х т., предисловие В. Аксенова

А. Кузнецов. *Бабий Яр*. 480 стр.

А. Гладилин. *ФСФСР* – Франц. Сов. Соц. Республика, 170 стр.

В. Некрасов. *По обе стороны стены*, 214 стр.

С. Бадаш. *Колыма ты моя, Колыма...*

С. Пушкарев. *Роль Православной Церкви в истории России*

В. Давац, Н. Львов. *Русская армия на чужбине*

А. Вербицкий. *Исповедь бродяги*, 200 стр.

Э. Дрейцер. *Пещера неожиданностей*

В. Завалишин. *Казимир Малевич* – большой формат, илл.

А. Кторова. *Лицо Жар-Птицы*, 224 стр.

В. Петровичев. *Осень века* – стихи, 152 стр.

В. Крейд. *Восьмигранник* – стихи

Р. Яров. *Музыка для усталых любовников* – рассказы

Аум № 1 – эзотерический журнал, 268 стр.

Армянское радио – 1400 анекдотов

Л. Троцкий. *История русской революции* – 1407 стр.

В. Максимов. *Заглянуть в бездну* – роман о Колчаке

В. Высоцкий. *Памятник* – подарочный альбом из 12 кассет

Наши книги можно приобрести в Европе также на книжном складе *Нейманиса* и на складах издательств «Посев» и «ИМКА-Пресс».

Каталог *Русские книги-86* и список книг по тайноведению и эзотеризму высылаем по требованию.

EFFEKT PUBLISHING, Inc.
Russian Books Printed Outside the USSR
501 Fifth Ave. # 1612
New York, NY 10017 U.S.A.

Запад – Восток

Дора Штурман

О СОЛИДАРНОСТИ И ПРОТИВОРЕЧИЯХ

В газете «Новое русское слово», в статье «Христианство и кубинский социализм», П. Маргушин сообщает, что осенью 1986 года лауреат Нобелевской премии мира католическая монахиня мать Тереза посетила Кубу и произнесла там такие слова:

«Я считаю учение Христа глубоко революционным и абсолютно соответствующим целям социализма. Оно не противоречит даже марксизму-ленинизму...»¹.

Подобные высказывания матери Терезы пришлось по вкусу Фиделю Кастро, который их с удовольствием цитирует.

Я не сомневаюсь в том, что мать Тереза несравнимо лучше меня знает учение Христа. Но достаточно ли известны ей «цели социализма»? Хорошо ли знакома она с первоисточниками марксизма-ленинизма и с его практикой? Своим заявлением она берет на себя огромную нравственную ответственность, усугубляемую ее мировой известностью и высоким моральным авторитетом.

Несмотря на почти полное отсутствие у меня надежды вручить мои размышления матери Терезе, я постараюсь изложить их так, словно она их прочтет.

Тяготение части современного духовенства к «целям социализма» – вещь не новая. Даже в рядах нынешних российских диссидентов есть священник-социалист, не говоря уже о верующих-социалистах во всем мире. Отчасти это происходит из-за терминологической неопределенности. До сих пор, несмотря на долгую жизнь и широчайшее употребление, термин «социализм» не имеет однозначного и общепринятого толкования. Под социализмом значительная часть его приверженцев подразумевает лишь высокий уровень государственного социального обеспечения и гражданских свобод, а также полное равенство прав для всех членов общества и групп населения. При этом, в отличие от несоциалистической

демократии, социалисты во многих случаях говорят не только об исходном юридическом равенстве всех граждан перед лицом закона, но и о необходимости равенства достигнутых каждым членом общества результатов: уровня жизни, власти, общественного влияния. Марксизм предусматривает такое равенство лишь для второй, или полной, фазы своего социализма – для коммунизма.

Равенство результатов должно игнорировать природную неодинаковость людей, пренебрегать различиями в их одаренности, в их заслугах перед другими людьми, в их занятиях, в их приспособляемости и трудоспособности. Выравнивание результатов должно, очевидно, происходить по какому-то среднему уровню. В итоге (если этого удастся добиться) находящиеся по своим заслугам ниже определенной границы получают больше, чем, упрощенно говоря, заслужили, а все находящиеся выше этой границы получают меньше заслуженного. Отвечает ли такое противоестественное выравнивание воздаяния целям великих религий, в том числе – христианства? Как мне представляется, не отвечает: во-первых, религия не ставит перед собой цели создания рая на Земле; во-вторых, люди равны перед Богом и наделены способностью к выбору, но в итоге и в идеале – *в жизни вечной и главной* – им воздается *по заслугам*, а не всем поровну. Есть ад и есть рай. От кары спасают лишь покаяние и искупление, но это уже другая проблема. Есть грехи и неискупимые.

Я написала «наделены способностью к выбору», а не «наделены свободой выбора», потому что имеются противоестественные режимы, которые сужают свободу выбора для своих подданных до выбора между непорядочностью и тяжелыми осложнениями или даже муками; в экстремальных случаях возникает выбор между жизнью и смертью. При этом жизнь покупается компромиссом со Злом или службой ему. Как правило, такие режимы в наши дни вырастают из социалистических иллюзий, националистических или интернационалистских (примеры – национал-социализм и коммунизм).

В государственных масштабах равенства результатов не удалось добиться нигде. Во всех социалистических государствах существуют ярко выраженные иерархия и дифференциация в полномочиях и потреблении их подданных.

Возможно равенство в потреблении (в простейшем значении последнего слова: еда, одежда, жилье) в малых, сравни-

тельно независимых от остального общества коллективах типа монашеских общин или израильских сельскохозяйственных коммун (кибуцев). Но влияние, полномочия и престиж вряд ли распределены между монахами равномерно, вне зависимости от личных заслуг и качеств. В израильском кибуце тоже нет равенства в активности, в авторитете, во влиянии на дела коммуны для всех ее членов. Более того, в кибуцах сегодня всё чаще дебатировался вопрос об установлении зависимости между трудовым вкладом человека и какими-то видами его вознаграждения, ибо отсутствие такой зависимости снижает производительность труда людей не абсолютно бескорыстных, а таких в обществе большинство.

Казалось бы, равенство судеб существует в тюрьмах и лагерях, но только для обреченных неминуемой гибели. Остальные и там приспособляются, караются и поощряются по-разному.

Еще один исконный социалистический идеал, на котором покоится идея равенства в полномочиях и потреблении, – уничтожение частной собственности. Это цель реальная, достижимая, и на пути к ней находятся многие пока еще свободные страны. Может быть, это ее мать Тереза считает совпадающей с целями христианства?

Что же мы наблюдаем там, где эта цель уже достигнута? Возложение обязанностей ограбленных и частью (иногда – большей частью) уничтоженных собственников на специальные аппараты и учреждения. Иерархическое (полномочия возрастают снизу вверх) присвоение этими аппаратами *всей* общественной инициативы, колоссальный правовой перевес этих аппаратов по отношению к остальному обществу. Успешно справиться с управлением всей экономикой из одного центра нельзя. Неминуемо плохую работу такого центра приходится уравнивать принуждением. Последнее подкрепляется идеологической монополией правящей партии, оправдывается постоянными ссылками на внешнеполитическую угрозу, обеспечивается репрессиями и особым распределением жизненных благ (в зависимости от полезности гражданина государству – *с государственной же точки зрения*). Уровень свободы в обществе, уничтожившем частную собственность, стремительно падает. Существование диктаторского центра и его аппаратов становится самоцелью. Когда централизованно управляемые производство и потребление

заходят в полный тупик, власть лечит их малыми дозами допущения частной инициативы. Когда последняя начинает уменьшать зависимость общества от государства, частную инициативу урезают, подавляют налогами или искореняют. Добавьте к этому идеологически предопределенную внешнеполитическую экспансию, для которой тоже необходимо государственное экономическое и политическое полномочие. Та же Куба, на которой коммунисты так почтительно принимали мать Терезу, посылает своих солдат в горячие точки планеты для участия в битве за мировой социализм. Диктатуре Фиделя Кастро в полной мере присущи все те парадоксы социализма, которые связаны с уничтожением сколько-нибудь существенной частной собственности и с «монополией легальности» (Ленин) единственной партии. Неужели реальность кастровской Кубы мать Тереза считает совпадающей с целями христианства? Или ей видится другой социализм – без уничтожения частной собственности и без исключения политико-идеологического плюрализма? Но тогда что в нем останется от социализма?

Не будем, однако, тешить себя иллюзиями: мать Тереза произнесла свою речь *на Кубе*. Следовательно, она отождествила с целями христианства вполне реальный социализм, возвращенный на их родине и насаждаемый во всем мире ее гостеприимными хозяевами – кубинскими коммунистами. Более того: она вполне однозначно сказала, что *«учение Христа... не противоречит даже марксизму-ленинизму»*. Речь, следовательно, идет не о каких-то расплывчатых социальных идеалах, которые грезятся простодушным демократическим социалистам и либеральным социал-демократам и которые куда ближе к западной демократии, чем к социализму. Речь идет о вполне реальном социализме, растущем из попыток радикальных марксистов-ленинцев (коммунистов) осуществить утопию Маркса и Энгельса. Это их цели отождествляются с целями христианства, это их учение объявляется не противоречащим учению Христа.

Я не могу изложить здесь все аргументы, чужие и собственные, позволяющие ответственно определить учение Маркса и Энгельса как утопическую, а не научную доктрину, неизбежно при попытках ее воплощения в жизнь порождающую тоталитарные режимы*. Я коснусь лишь некоторых эти-

* Желающие познакомиться с этими аргументами могут обра-

ческих аспектов миропонимания Маркса, Энгельса, Ленина – для того, чтобы моя воображаемая читательница могла хотя бы отчасти увидеть, с кем и с чем она, христианка и высоко нравственный человек, декларативно солидаризуется.

* *

*

Для начала – кое-что об отношении Маркса и Энгельса к религии. В 1850-м году Марксом был окончательно отредактирован «Устав Коммунистического Союза». Второй пункт этого «Устава» гласил:

«Членом Союза может стать тот, кто удовлетворяет следующим условиям:

а) свобода от всякой религии, отказ в повседневной жизни от участия в каком бы то ни было церковном союзе и от всех обрядов, кроме тех, соблюдение которых предписывается гражданскими законами».

Маркс и Энгельс никогда не пересмотрели этого своего отношения к религии, которое перенял у них Ленин, развязавший кровавый террор против священнослужителей и Церкви в 1918 – 1922 гг. Разве не возникает уже в этом пункте неразрешимое противоречие между марксизмом и религией? О нынешнем, сугубо тактическом, использовании различных Церквей коммунистами я здесь не говорю. Гонения на верующих и пастырей, не считающих себя обязанными служить орудиями коммунистической политики, в тоталитарных странах не прекращаются.

Согласно пункту I того же «Устава Коммунистического Союза» (1850), созданная Марксом и Энгельсом партия – «организация тайная и не подлежащая роспуску до тех пор, пока пролетарская революция не достигнет своей конечной цели»³.

В другом документе того же 1850-го года (написанное Марксом и Энгельсом «Обращение центрального комитета к союзу коммунистов»⁴) говорится, что Союз будет добиваться своих целей... «не только в одной стране, но и во всех господствующих странах мира», причем добиваться всеми пропаган-

таться к работе Д. Штурман «Наш новый мир. Теория. Эксперимент. Результат», 1986, Иерусалим (Д. Тиктин, 422/6 Тальпиот Мизрах, Иерусалим 93802, Израиль).

дистскими и политическими средствами, в том числе и насильственными. В частности, там сказано:

«Для нас дело идет не об изменении частной собственности, а об ее уничтожении, не о затушевании классовых противоречий, а об уничтожении классов, не об улучшении существующего общества, а об основании нового общества... *в предстоящих кровавых конфликтах...*»

Насильственность коммунистической революции постулирована и «Коммунистическим манифестом» (1848 г.).

Немногие задумываются над тем, что «уничтожение классов» означает не только отмену классового разделения общества (отмену, которая нигде не удалась: обязанности «отмененных» классов были переданы другим исполнителям, поставленным и оплачиваемым диктаторским государством), но и – в значительной степени – физическое истребление *«в предстоящих кровавых конфликтах»* контингентов уничтоженных классов. Об этом свидетельствует реальная история всех марксистских режимов.

Есть неоспоримые свидетельства того, что марксисты-ленинцы нашего времени, как, впрочем, и современные террористы других толков, не изменили прогнозам основоположников своего учения.

В работе «Положение рабочего класса в Англии»⁵, написанной в 1845 году, Энгельс рисует устрашающую картину близящейся (несмотря на малочисленность пролетариев-коммунистов) пролетарской революции. Он пишет, относя свой прогноз непосредственно к Англии 1852-1853 годов:

«Война бедных против богатых будет самой кровавой из всех войн, которые когда-либо велись между людьми. Даже переход части буржуазии на сторону пролетариата, даже улучшение нравов всей буржуазии не помогут. Ведь изменение во взглядах всей буржуазии не может пойти дальше половинчатой *juste-milieu**; те буржуа, которые более решительно примкнули к рабочим, образуют новую Жиронду, которая погибнет в ходе развертывания насильственных действий».

Итак, уничтожение классов (в «Обращении» 1850 года сказано: «всех более или менее имущих классов») предполагается заранее как физическое истребление восставшими рабочими их состава, даже в той части, которая попытается перейти «на сторону пролетариата». Правда, в этой же работе Энгельс выразил надежду, что коммунистическое просвещение постепенно смягчит гнев и нравы рабочих и они начнут

экспроприировать буржуазию, не истребляя её физически. Но как же этому верить, если в том же «Обращении центрального комитета к союзу коммунистов» (1850 г.) Маркс и Энгельс пишут о желательном для них поведении рабочих не в «пролетарской» (т. е. коммунистической, марксистской), а уже в буржуазно-демократической революции:

«...рабочие прежде всего должны, насколько это возможно, противодействовать попыткам буржуазии внести успокоение и вынуждать демократов привести в исполнение их теперешние террористические фразы ...чтобы непосредственное революционное возбуждение не было опять подавлено тотчас же после победы... Они не только не должны выступать против так называемых эксцессов, против случаев народной мести по отношению к ненавистным лицам или официальным зданиям, с которыми связаны только ненавистные воспоминания, они должны не только терпеть эти выступления, но и взять на себя руководство ими».

Мать Тереза вряд ли знакома с этими основополагающими документами марксизма, ибо невозможно себе представить, что она могла бы солидаризоваться с откровенной пропагандой погрома.

Потрясает злободневная для нынешнего мира откровенность, с которой Маркс отстаивает насильственные приемы коммунистической революции в своей газете «Neue Rheinische Zeitung» («Новая рейнская газета»), выходявшей в Кельне в конце 1840-х гг. Так, в статье «Полицейское уничтожение „Нойе Рейнише Цайтунг“»⁶ он пишет в мае 1848 года:

«...существует лишь одно средство *сократить*, упростить и концентрировать кроважидную агонию старого общества и кровавые муки родов нового общества, только *одно средство* – *революционный терроризм*» (курсив Маркса).

И далее в конце той же статьи:

«Мы беспощадны и не просим никакой пощады у вас. Когда придет наш черед, мы не будем прикрывать терроризм лицемерными фразами...» (курсив Маркса).

И всё это – ради того, чтобы уничтожить независимую частную собственность, уничтожить политико-идеологический (в том числе – профсоюзный) плюрализм «буржуазной» демократии и создать экспансионистское, террористическое тоталитарное государство, которое пребудет вечно. Ибо следующий, согласно марксистскому учению, шаг: создание

мировой «безвластной» (безгосударственной) самоуправляющейся коммуны – безнадежно утопичен.

Мы только чуть-чуть приподняли расписанную соблазнительными лозунгами завесу над политической этикой Маркса и Энгельса, отнюдь не исчерпав вопроса и не коснувшись их личной этики, тоже далеко не безупречной. Но уже на основании этой, весьма малой, части того, что можно было бы процитировать, возникает уверенность в несовместимости учения Христа с учением Маркса.

Но мать Тереза отрицает противоречия не только между христианством и марксизмом. Она реабилитирует марксизм-ленинизм, то есть совокупность мировоззрения, стратегии, этики и тактических приемов Ленина, лежащую в основе коммунизма советского типа.

Попытаемся слегка приподнять завесу и над этим историко-политическим и этико-идеологическим феноменом.

В своей знаменитой, хрестоматийной для коммунизма речи на III съезде Российского коммунистического союза молодежи⁷ (1920) Ленин так говорит о священных и абсолютных для христианства категориях морали и нравственности:

«Всякую такую нравственность, взятую вне человеческого, вне классового понятия, мы отрицаем. Мы говорим, что это обман, что это надувательство и забивание умов рабочих и крестьян в интересах помещиков и капиталистов.

Мы говорим, что наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата. Наша нравственность выводится из интересов классовой борьбы пролетариата».

«Вот почему мы говорим: для нас нравственность, взятая вне человеческого общества, не существует: это обман. Для нас нравственность подчинена интересам классовой борьбы пролетариата.

А в чем состоит эта классовая борьба? Это – царя свергнуть, капиталистов свергнуть, уничтожить класс капиталистов».

Заметьте: не только «свергнуть», но и «уничтожить».

«Когда нам говорят о нравственности, мы говорим: для коммуниста нравственность вся в этой сплоченной солидарной дисциплине и сознательной массовой борьбе против эксплуататоров. Мы в вечную нравственность не верим и обман всяких сказок о нравственности разоблачаем. Нравственность служит для того, чтобы человеческому обществу подняться выше, избавиться от эксплуатации труда».

Для того, чтобы обнаружить непримиримое противоречие между учением Христа и ленинизмом, достаточно этого одного основополагающего для Ленина суждения.

Едва придя к власти и во все оставшиеся ему после этого годы активной жизни (конец 1917-го – начало 1923-го гг.), Ленин санкционировал такой террор, что будь все его распоряжения выполнены, в бывшей Российской Империи произошел бы за эти годы геноцид населения, не меньший, чем в Камбодже Пол Пота (тоже марксиста). Слова «расстрел», «расстрелять» не сходят с его языка и непрерывно возникают под его пером. Только молниеносно сформировавшийся партийно-советский бюрократизм и плохая управляемость гигантской бездорожной разоренной страны несколько сузили размах санкционированного Лениным террора. Но и в этих условиях он оставался чудовищным.

Уже в декабре 1917-го года в статье с невинным названием «Как организовать соревнование»⁸ Ленин стремится направить террористический, истребительный произвол примкнувших к его партии рабочих и крестьян против всех тех, в чьем поведении ему видится угроза для новой власти. Он пишет:

«Надо организовать соревнование практиков-организаторов из рабочих и крестьян друг с другом, в приемах *п о д х о д а* к делу в *с о с о б а х* осуществления контроля, в *п у т я х* истребления и обезвреживания паразитов (богатых и жуликов, разгильдяев и истеричек из интеллигенции и так далее и тому подобное)».

«В одном месте посадят в тюрьму десяток богачей, дюжину жуликов, полдюжины рабочих, отлынивающих от работы (так же хулигански, как отлынивают от работы многие наборщики в Питере, особенно в партийных типографиях). В другом – поставят их чистить сортиры. В третьем – снабдят их, по отбытии карцера, желтыми билетами, чтобы весь народ, до их исправления, надзирал за ними, как за *в р е д н ы м* и людьми. В четвертом – расстреляют на месте одного из десяти, виновных в тунеядстве. В пятом – придумают комбинации разных средств и путем, например, условного освобождения добьются быстрого исправления исправимых элементов *из богачей, буржуазных интеллигентов, жуликов и хулиганов*. Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт, тем вернее и быстрее будет успех социализма, тем легче практика выработает – *и б о* только практика может выработать – *н а и л у ч ш и е* приемы и средства борьбы»

15-го мая 1922 года в письме народному комиссару (министру) юстиции Д. И. Курскому Ленин делает ряд дополнений к

проекту Уголовного Кодекса РСФСР, требуя «расширить применение расстрела» по двенадцати статьям, в том числе и «за неразрешенное возвращение из-за границы».

В том же письме, делая предельно расплывчатым и широким понятие жесточайше наказуемой «антисоветской деятельности» (зловещая статья 58 УК РСФСР, которую почему-то считают знаменем только сталинского периода), Ленин требует:

«Суд должен не устранить террор..., а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Формулировать его надо как можно шире, ибо только революционное правосознание и революционная совесть поставят условия применения на деле, более или менее широкого»⁹.

26-го июня 1918 года Ленин пишет Г. Зиновьеву и другим членам Центрального Комитета партии:

«Тов. Зиновьев! Только сегодня мы услышали в ЦК, что в Питере р а б о ч и е хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы... удержали.

Протестую решительно!

Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, т о р м о з и м революционную инициативу масс, в п о л н е правильную.

Это не-воз-мож-но!

Террористы будут считать нас тряпками. Время архивоенное. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример коего р е ш а е т.

Привет! Ленин»¹⁰.

Между тем, советологическая традиция велит считать тираном Зиновьева и гуманистом Ленина.

С 1918-го по март 1921-го года Ленин вел поистине страшную продовольственную политику, сводящуюся к «продразверстке», т. е. к изъятию у разоренного войной крестьянства хлеба, насущно необходимого, а иногда и всего, для прокормления своей армии, своих аппаратов, своей военной промышленности и работников своего транспорта. К весне 1921 года эта политика привела к тотальному голоду и всенародному возмущению против коммунистов, что заставило Ленина отступить от «военного коммунизма» к «новой экономической политике», дав народу некоторую (как он сам категорически утверждал, временную) передышку. Меня не покидает весьма мало оправданная надежда, что мать Тереза и ее единомыш-

ленники увидят эту статью. Поэтому я вынуждена объяснить непереводаемый термин «кулак». В контексте ленинских (позднее – сталинских) статей и распоряжений это любой крестьянин, не считающий нужным, а чаще того не имеющий возможности выполнить очередной приказ коммунистической власти. Против таких крестьян и направлены трудно переводимые террористические телеграммы, которыми сыплет Ленин на головы старательных или нерадивых своих помощников.

Телеграмма Пензенскому Губисполкому
14. VIII. 1918 г.

Пенза Губисполком Минкину

Получил на вас две жалобы: первая, что вы обнаруживаете мягкость при подавлении кулаков. Если это верно, то вы совершаете великое преступление против революции. Вторая жалоба, что вы сокращаете агитацию, уменьшаете тираж листов, жалуетесь на недостаток денег. Мы не пожалеем сотни тысяч на агитацию. Требуйте денег срочно от ЦИКА, *недостатка денег не будет*, такие отговорки не примем.

Предсовнаркома ЛЕНИН.¹¹

Заметьте: коммунисты никогда не жалеют денег на агитацию, как не жалели их в голодной России 1918-го года, истекшей кровью в братоубийственной смуте.

А вот – поощрение:

Телеграмма Ливенскому исполкому
20. VIII. 1918 г.

Ливны

Исполкому

Копия военкому Семашке и организации коммунистов

Приветствую энергичное подавление кулаков и белогвардейцев в уезде. Необходимо ковать железо пока горячо и не упуская ни минуты организовать бедноту в уезде, *конфисковать весь хлеб и все имущество* у восставших кулаков, повесить зачинщиков из кулаков, мобилизовать и вооружить бедноту при *надежных* вождях из нашего отряда, арестовать заложников из богачей и держать их, пока не будут собраны и ссыпаны в их волости все излишки хлеба. Телеграфируйте исполнение. Часть образцового железного полка пошлите тотчас в Пензу.

Предсовнаркома Ленин¹²

Видит ли Ленин голодную смерть детей за этими своими бесчисленными приказами отобрать *весь хлеб* у сопротивляю-

щихся продразверстке и не имеющих никаких хлебных «излишков» людей, которых он именует «кулаками»?

А это – телеграмма, которая должна особенно живо заинтересовать людей, не обнаруживающих противоречия между ленинизмом и христианством:

9 августа 1918 г. Москва.
Телеграмма

Пенза Губисполком,
копия Евгении Богдановне Бош.

Получил вашу телеграмму. Необходимо организовать усиленную охрану из отборных надежных людей, провести беспощадный массовый террор против кулаков, *полов* и белогвардейцев. Сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. Экспедицию пустить в ход*. Телеграфируйте об исполнении.

Предсовнаркома Ленин»¹³

Подчеркнутое мною презрительное «попов» весьма выразительно свидетельствует об отношении Ленина к священнослужителям. Впрочем, казалось бы, матери Терезе, албанке по происхождению, не надо объяснять, как относятся коммунисты к религии: на ее родине храмы и молитвенные дома всех вероисповеданий закрыты, отправления религиозных культов строго-настрога запрещены, а священнослужителей, преступивших этот запрет, репрессируют, а то и казнят. Но, быть может, она не считает албанских коммунистов последовательными ленинцами? В таком случае ей было бы полезно познакомиться с ленинским призывом «провести массовый беспощадный террор» против священников. Из этого призыва следует, что в данном вопросе албанские коммунисты стоят ближе к Ленину, чем те компартии, которые допускают поднадзорное существование различных Церквей, чтобы использовать их в своих интересах. Стоит обратить внимание и на то, что в «концентрационный лагерь» (за пятнадцать лет до прихода к власти нацистов в Германии с их концлагерями) приказано «запереть» не преступников, а всего лишь «сомнительных».

Некоторые ленинские карательно-профилактические распоряжения производят впечатление чудовищного устрашающего гротеска:

* Речь идет о военной карательной экспедиции. (Прим. Д. Ш.)

В Нижегородский совдеп*
9. VIII. 1918 г.

В Нижнем явно готовится белогвардейское восстание. Надо напрячь все силы, составить тройку диктаторов, навести т о т ч а с массовый террор, р а с с т р е л я т ь и в ы в е з т и с о т н и п р о с т и т у т о к , спаивающих солдат, бывших офицеров и т. п.

Ни минуты промедления. Надо действовать вовсю: массовые обыски. Расстрелы за хранение оружия. Массовый вывоз меньшевиков и ненадежных. Смена охраны при складах, поставить надежных.

Ваш Ленин¹⁴

Напоминаю: меньшевики – это социал-демократы, российские умеренные марксисты, то есть те самые демократические социалисты, которые сегодня во всем мире склонны идеализировать Ленина и которых он беспощадно подавлял, высылал и уничтожал:

Мы уже останавливались на ленинском толковании морали и нравственности как понятий сугубо релятивистских, относительных, призванных служить достижению коммунистами поставленных ими перед собой и обществом целей. Фактически это ничем не отличается от гитлеровского «Я освобождаю вас от химеры совести». Приведу два примера ленинского политического аморализма.

С начала 1918 года коммунистами вводится строжайшее запрещение свободной торговли хлебом. Лица, продающие и покупающие хлеб вне коммунистического централизованного распределения, которое предусматривало обеспечение хлебом только нужных ленинцам слоев населения, объявляются преступниками. Солдат и рабочих, за исключением контингентов, решительно необходимых власти на местах их службы, бросают на изъятие хлеба у населения и на уничтожение «спекулянтов» – людей, пытающихся обойти запреты самоснабжения хлебом. Совсем незадолго до этого, летом 1917 года, Ленин яростно клеймил попытки демократического Временного правительства ввести государственную монополию хлебной торговли, клеймил как насилие над народом. Теперь, на Совещании президиума петроградского Совета с представителями продовольственных организаций 27-го (14-го) января 1918 года, он говорит:

* Совет депутатов. (Прим. Д. Ш.)

«...Необходимо созвать пленарное собрание Совета и постановить произвести массовые обыски в Петрограде и на товарных станциях. Для обысков каждый завод, каждая рота должны выделить отряды, к обыскам надо привлечь не желающих, а обязать каждого, под угрозой лишения хлебной карточки. Пока мы не применим террора – расстрел на месте – к спекулянтам, ничего не выйдет. Если отряды будут составлены из случайных, не сговорившихся людей, грабежей не может быть. Кроме того, с грабителями надо также поступать решительно – расстреливать на месте.

Зажиточную часть населения надо на 3 дня посадить без хлеба, так как они имеют запасы и других продуктов и могут по высоким ценам достать у спекулянтов»¹⁵.

Но ведь свободная продажа и покупка хлеба запрещена под страхом расстрела на месте! В какое же положение ставится часть населения, объявленная «зажиточной»? Тем более, что «3 дня» растянутся на 3 года – на весь период до введения «новой экономической политики».

На этом же совещании Лениным был предложен «Проект резолюции о продотрядах», который немедленно превратился в декрет. Вот этот документ:

«1) Привлечь всю массу солдат и рабочих к образованию нескольких тысяч отрядов (по 10-15 человек, а может быть, и больше), которые обязаны уделять ежедневно известное число часов (например, 3-4) на службу по продовольственному делу.

2) Полки и заводы, которые не будут аккуратно поставлять требуемое число отрядов, лишаются хлебных карточек и подвергаются революционным мерам воздействия и карам.

3) Отряды должны произвести немедленно обыск, во-первых, вокзалов, с осмотром и учетом вагонов с хлебом; во-вторых, путей и узловых станций около Питера; в-третьих, всех складов и частных квартир.

Инструкция для осмотра, учета и реквизиций вырабатывается Президиумом Петроградского Совета с участием делегатов от Районных Советов или же Особой Комиссией.

4) Пойманных с поличным и вполне изобличенных спекулянтов отряды расстреливают на месте. Той же каре подвергаются члены отрядов, изобличенные в недобросовестности.

5) Из общей суммы революционных отрядов для крайних мер спасения от голода выделяются наиболее надежные и наилучше вооруженные отряды для отправки на все станции и во все уезды главных, доставляющих хлеб, губерний. Этим отрядам, при участии железнодорожников, взятых по уполномочию местных железнодорожных комитетов, поручается, во-первых, контроль за продвижением хлебных грузов; во-вторых, контроль за сбором и ссыпкой

хлеба; в-третьих, принятие самых крайних революционных мер против спекулянтов и для реквизиции хлебных запасов.

б) Революционные отряды, при всяком составлении протокола реквизиции, ареста или расстрела, привлекают понятых в количестве не менее 6 человек, обязательно выбираемых из находящегося в ближайшем соседстве беднейшего населения»¹⁶.

Но в конце продовольственного террора, лицом к лицу с опасностью всенародного восстания против коммунистов, в преддверии лихорадочного поворота к «новой экономической политике» Ленин так заговорит о действиях продотрядов, словно сам он ни малейшего отношения не имеет к их насильственным акциям:

«...Разверстка: у нас такой *нажим* был, что револьверы к вискам приставляли. Народ возмущен....

Но сельское хозяйство из-под палки вести нельзя... Надо освободить из-под палки, чтобы поднять сельское хозяйство. Палка – продовольственные реквизиции»¹⁷.

Но кто же их вдохновлял и санкционировал, эти реквизиции? Кто приказывал не «револьверы к вискам приставлять», а беспощадно расстреливать на месте без суда за несданный хлеб?

На X съезде РКП(б) (см. стенограмму съезда, изданную в 1963 году в Москве) отчетливо будут представлены все перипетии возглавленного и вдохновленного Лениным продовольственного террора. Но тогда Ленин не сочтет полезным для партии спасти ее продовольственников и активистов ни от самосуда крестьян, ни от трибунала (по жалобам крестьян). Напрасно Цюрупа, глава наркомпрода*, будет кричать с трибуны: «Как же можно отнять хлеб у голодных (выделено мною. – Д. Ш.), не применяя насилия?» И будет требовать, чтобы в губернии и уезды не рассылался циркуляр ЦК о привлечении наркомпродовцев к уголовной ответственности за применение насилия. Но циркуляр разошлют, потому что Ленину необходимо отвести от себя, от партии крестьянское возмущение и переадресовать его наркомпродовцам: мавр сделал свое дело – мавр может уйти. И Цюрупа с его коллегами по Наркомпроду напрасно будет рассказывать съезду о самосудах, о самоубийствах наркомпродовцев – как раньше другие напрасно рассказывали и писали Ленину о порках крестьян

* Т. е. министр продовольственного обеспечения.

за неспасение хлеба, о расстрелах и других преступлениях, канонизированных позднее в качестве «крайностей» военного коммунизма.

Ленин походя, без тени смущения, отмахнется от упреков Цюрупы...

Если эта реальность (этика и практика) ленинизма и может вызвать какие-то ассоциации с Новым Заветом, то отнюдь не с учением Христа, а с поступком Иуды Искарриота. Правда, тридцать сребренников у каждого свои: у Иуды – деньги, у Ленина – власть. Безоглядная и беспощадная власть во имя победы утопии-оборотня, которая принесла и еще принесет столь многим народам никем по сей день не измеренные страдания. Заметим, что Ленин в своих жестокостях и в своих изменах себе, вчерашнему, никогда не каялся. Самоубийство, в отличие от Иуды, ему не грозило.

Приведу пример еще одного ленинского предательства. Марксистское учение изначально требует в качестве первых шагов приближения к социализму отмены постоянной армии и полиции и замены их вооружением всех трудящихся. Ленин яростно бичевал Временное правительство за невыполнение им этого марксистского требования. До октября 1917 года года из статьи в статью, из речи в речь Ленина (особенно в адресованных *воюющей русской армии* его выступлениях) кочует лозунг *немедленного* роспуска постоянной армии и замены ее «поголовным вооружением *всего народа*». Что же говорит Ленин о поголовном вооружении всего народа после прихода коммунистов к власти и создания ими собственной армии и охраны?

Телеграмма совнаркому Украины
26. V. 1919 г.

Декретируйте и проведите в жизнь полное обезоружение населения, расстреливайте на месте беспощадно за всякую сокрытую винтовку. Весь гвоздь момента: быстрая победа в Донбассе, сбор всех винтовок из деревень, создание прочной армии. Сосредоточьте все свои силы на этой задаче, не ослабляйте энергии, мобилизуйте рабочих поголовно. Прочтите эту телеграмму всем видным большевикам.

Ленин¹⁸

Кстати, разоружают, расстреливая «беспощадно на месте за всякую сокрытую винтовку», не только украинских селян, но и уральских пролетариев:

Телеграмма Реввоенсовету Востфронта
17. VII. 1919 г.

Симбирск, Реввоенсовет Востфронта.

Поздравляю с победами. Следует принять особые меры: первое, для нерастаскивания оружия уральскими рабочими, чтоб не развилось у них губительной партизанщины, второе, для того, чтобы сибирская партизанщина не разложила наших войск...

Ленин¹⁹

Но не сами ли коммунисты-ленинцы призывали вооружаться и этих крестьян, и этих рабочих?

Повторяю: располагай Ленин по-сталински отрегулированным и упорядоченным механизмом террора, не говоря уже о машиноподобной организации террора гитлеровского, его бесчисленные расстрельные рекомендации, приказы, резолюции, декреты, письма и телеграммы обошлись бы народам СССР в не меньшее число жертв, чем режимы Сталина и Гитлера. Да и то сказать: кто подсчитал и обнародовал количество жертв ленинизма 1917-го – 1922-го годов (с начала 1923-го года Ленин был уже практически не у дел)?

* *
*
*

Здесь не исчерпаны, а только затронуты те причины, по которым отрицание непримиримого противоречия между учением Христа и марксизмом-ленинизмом ужасает осведомленного человека. Это отрицание становится угрожающим фактором нашей общей истории, когда оно исповедуется личностью, окруженной ореолом высокого нравственного авторитета. Более того: уже одно только принятие такой личностью гостеприимства Фиделя Кастро угрожающе реабилитирует во многих глазах режим, при котором проявленное инакомыслие сто́ит смельчакам десятилетий жестокого тюремного заключения. Разумеется, в разбираемом случае и это отрицание, и этот визит проистекают из самых благих и возвышенных побуждений, но последние не устраняют злокачественности объективного смысла таких поступков.

Как уже было сказано, у меня нет почти никакой надежды, что мои размышления окажутся в руках человека, кото-

рому они в первую очередь адресованы, или его единомышленников. Но противоречащая опыту вера, что сказанное не исчезает вполне бесследно, заставила меня высказать эти свои соображения.

ЦИТИРУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. П. Маргушин. Христианство и кубинский социализм. «Новое русское слово» от 31. X. 1986 г.
2. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. II, т. 7, стр. 565 – 568. М., 1955.
3. Там же, стр. 565.
4. Там же, стр. 257 – 267.
5. Там же, т. 2, стр. 251 – 517.
6. Там же, т. 6, стр. 546 – 549.
7. В. И. Ленин. «Задачи союзов молодежи». Речь на всероссийском съезде коммунистического Союза молодежи. Изд. «Молодая гвардия», М., 1975.
8. В. И. Ленин. Соч., изд. IV, т. 26, стр. 367 – 376.
9. В. И. Ленин. ПСС, т. 45, стр. 190.
10. В. И. Ленин. Соч., изд. IV, т. 35, стр. 275.
11. Там же, стр. 289.
12. Там же, стр. 292.
13. В. И. Ленин. ПСС, т. 50, стр. 143 – 144.
14. В. И. Ленин. Соч., изд. IV, т. 35, стр. 286.
15. В. И. Ленин. Соч., изд. III, т. 22, стр. 243.
16. Там же, стр. 244.
17. В. И. Ленин. «Записка членам ЦК и наркомам». ПСС, т. 42, стр. 384 – 385.
18. В. И. Ленин. Соч., изд. IV, т. 35, стр. 329.
19. Там же, стр. 345.

Факты и свидетельства

В. П. (Москва)

НОВЫЙ САМИЗДАТ

Вступительная заметка Н. Горбаневской

Публикуемая статья нуждается в нескольких предварительных поправках, относящихся не к ее непосредственной теме, не к «новому самиздату», а к временам более ранним. Мы не могли попросту исключить или исправить «историческую» часть полученного нами текста, поскольку автор представляет читателю «новый самиздат», сопоставляя его со «старым». У меня создалось впечатление, что автор статьи достаточно молод и сведения о самиздате 50-60-х и даже первой половины 70-х годов черпал из доступных ему, большей частью устных источников, фрагментарно, и дополнял общую картину логикой и воображением. Поэтому хочу сделать несколько уточнений – читатели, принадлежащие к моему поколению, могут их пропустить и перейти сразу к картине самиздата наших дней, впервые – насколько мне известно – очерченной столь полно и разносторонне.

Первая неточность касается изобретения слова «самиздат». Оно действительно родилось из употреблявшегося Николаем Глазковым термина «самсебяздат», которым он помечал свои сборники стихов еще в н а ч а л е, а не в конце 50-х. К концу 50-х сократившийся термин начал закрепляться, еще не приобретя окончательной формы, колеблясь между «самиздат» и «самоиздат». Наиболее сжатая форма победила только в 60-е годы (в 70-е же слово вошло чуть ли не во все иностранные языки; интересно притом отметить, что в странах, где аналогичное явление имело место, термин видоизменял свое значение: так, у поляков с появлением широкой «независимой печати», использовавшей типографские и полутипографские способы размножения, слово «самиздат» осталось определением лишь для кустарного, машинописного самиздата, т. е. к «новому самиздату» не подошло бы; в Чехословакии,

напротив, это слово употребляется независимо от техники размножения, но зато приобрело единичное значение – там говорят «самиздаты», т. е. то, что мы назовем самиздатскими изданиями, «самиздат» по-чешски – это одна книжка или один журнал).

Более серьезно ошибается автор, говоря о том, что в самиздате 60-х годов «тон задавал документ». До второй половины 60-х годов самиздат оставался чисто литературным (а до 62 – 63-го и вообще по преимуществу поэтическим): документов в нем появлялись считанные единицы (первая вспышка самиздатских документов, пришедшая на осень 56-го года, была удушена вслед за Венгрией). Исключением был имевший особую сферу распространения религиозный самиздат, откуда в «общий» самиздат и пришел один из первых документов – письмо священников Николая Эшлимана и Глеба Якунина, тот случай (позднее частый), когда письмо, направленное определенному адресату, превратилось в «открытое письмо». Это был 1965 год; в том же году в Ленинграде (недолго) издается политический журнал «Колокол», в 1966-м появляется первая запись политического процесса («Белая книга» Александра Гинзбурга) и первый альманах, объединяющий литературу, философию, политику, историю и документы («Феникс-66» Юрия Галанскова), и именно процесс над обоими издателями вызывает лавину чисто правозащитного самиздата, включая первые подлинно открытые, т. е. без адресата, письма. Однако и во второй половине 60-х – может быть, кроме богатого событиями 1968-го – «тон задавали» проза и мемуары: романы Солженицына, рассказы Шаламова, лагерные воспоминания Евгении Гинзбург и Анатолия Марченко, расхившийся без имени автора владимовский «Верный Руслан» или часть будущей «главной книги» Владимира Максимова («Семь дней творения») – «Двор посреди неба» (быть может, интересно отметить «технику» моего первого знакомства с этой книгой в 1965 году: у Александра Гинзбурга дома я читала через фотоувеличитель негативную пленку, снятую с машинописи).

Следует также сказать, что во второй половине 60-х широко распространились и копии западных изданий (слова «тамиздат» не было) – политических, исторических и религиозно-философских. Правда, копировались они крайне примитивно – на фотопленку, а затем на фотобумагу, так что

любая книга превращалась в толстую, неудобную (и дорогую) пачку. Однако этот способ издания сохранялся (и был перенесен на размножение объемных самиздатских книг и журналов), по крайней мере, до середины 70-х (о дальнейшем я, покинув в 1975 году Советский Союз, говорить не берусь). В начале 70-х предпринимались уже и попытки издания книг путем ксерокопирования – в 1974 году мне довелось видеть целый чемодан первого тома «Архипелага», изданного с уменьшением, компактно, и привезенного в Москву из одной союзной республики.

Кстати, с появлением «Архипелага» связано и серьезное расширение читательских кругов за счет, например, рабочих (опять мои личные сведения) – автор статьи считает, что только теперь читатель самиздата стал «более демократическим». Возможно, он стал еще более демократическим, но и в 60–70-е годы (особенно следует дополнительно учесть слушавших западное радио и либо записывавших передачи на магнитофон, либо откликавшихся на них письмами и поездками к правозащитникам, чьи адреса сообщались по радио, – и тому, и другому есть свидетельства) он не ограничивался теми кругами, которые называет автор статьи.

На этом заканчиваются мои замечания – все, что пишет автор о сегодняшнем дне, основано на его личном опыте и знаниях (отметим лишь, что статья закончена в декабре 1986 года, до освобождения многих правозащитников и самиздатчиков из заключения).

Н. Г.

Самиздат – старше книгопечатания и почти ровесник письменности. В самом деле, если самиздатом называть не санкционированное властями воспроизведение письменной продукции, то на Руси (да и во всем мире, наверное) самиздат – древнее официальной издательской деятельности.

Если самиздат рукописный существует издавна, то печатный самиздат в России появляется в прошлом веке, временами слабеет и затухает, но уже не исчезает никогда. Даже в самые жестокие годы сталинского террора люди продолжали сочинять стихи не по приказу и иногда печатали их на своих либо казенных пишущих машинках. Слово «самиздат» придумал в конце 50-х годов поэт Николай Глазков.

Расцвет самиздата в СССР приходится на 60-е годы. Частично он совпал с окончанием хрущевской «оттепели» и началом правозащитного движения. Некоторое «замирание» самиздата было связано с разгромом правозащитников и даже несколько опередило его. Сейчас правозащитное движение в России разгромлено и, может быть, надолго. Чуть ли не половина потребителей самиздата 60-х годов сейчас в эмиграции. Не менее 3/4 авторов и активистов того самиздата (в самой активной части совпадавших с основными кадрами правозащитников) – в тюрьмах и лагерях либо тоже в эмиграции. Самиздат, однако, вновь растет и ширится. И – уже можно говорить о «новом самиздате», новом по отношению к самиздату 60-х годов.

По сравнению со «старым» самиздатом в «новом» самиздате наблюдается следующее:

1. Изменилось соотношение жанров и тем.
2. Сменился (пока еще не столько вырос количественно, сколько сменился по составу) потребитель.
3. Роль технических средств выросла и возрастает стремительно.
4. Самиздат становится выгодным коммерческим предприятием, у него появился – и расширяется – рынок.

1. В самиздате 60-х гг. было всё: стихи и песни, поэтические сборники и магнитозаписи концертов, мемуары, романы и повести, нелегальные журналы и альманахи, политические трактаты и исторические исследования. Но тон задавал документ: открытые письма, правозащитные заявления, стенограммы политических процессов и научных конференций, наконец, публицистические статьи на актуальные темы – то, что перепечатывалось и переписывалось в сотнях экземпляров в Москве и Питере, в десятках экземпляров в Киеве, Одессе, Ереване, Харькове, Новосибирске, эпизодически проникало и в другие города. Пожелтевшие и истрепанные страницы самиздатских документов 60-х годов и сейчас еще хранятся в письменных столах многих московских семей.

Сегодня основной продукт самиздата – копия старой либо изданной на Западе книги. Статистики, разумеется, не существует, но по некоторым оценкам: первое место принадлежит перепечаткам книг типа псалтири, молитвослова и т. п.; второе место занимают копии западных изданий популярных

поэтов: Пастернака, Ахматовой, Мандельштама, Цветаевой, Гумилева, а также «Доктора Живаго» и прозы Набокова; затем примерно наравне идут серьезная религиозно-философская литература (Бердяев, Булгаков, Флоренский) и собственно «антисоветская» литература, включая «худлит» (Солженицын, Войнович, Александр Зиновьев, Евгения Гинзбург, Надежда Мандельштам, Лидия Чуковская, Авторханов, Роберт Конквест, Дж. Орвелл).

Открытые письма и информационные сообщения о нарушениях прав человека из самиздата почти полностью исчезли, хотя комментаторы вещающих на русском языке радиостанций продолжают по традиции именовать их «самиздатскими документами». Фактически, это теперь тексты, отпечатанные в 2-3 экземплярах и с самого начала предназначенные для переброски «за бугор» с целью последующего оглашения их по западному радио. Их не «распространяют» – говоря языком следствия, – поскольку переправка на Запад, в сущности, решает дело. Если такой документ попадает на радиостанцию «Свобода», рано или поздно все заинтересованные люди в СССР с его содержанием познакомятся. Сократилась в самиздате публицистика – она очень редко выходит за пределы узкого круга ближайших друзей автора, а если выходит, то тоже благодаря радиопередачам.

Есть, конечно, и исключения. Например, в 1985 году не только по Москве и Ленинграду, но буквально в десятках городов читали и перепечатывали так называемый «антиалкогольный доклад», подписанный псевдонимом «В. Жданов». Виновниками «алкогольной разрухи» в России в этом докладе объявлялись «иноверцы», троцкисты, а также ... Гитлер и ЦРУ. Этот доклад, по крайней мере частично, распространялся не без содействия компетентных органов, в иных НИИ его вывешивали на стенку по распоряжению парткома. Потом пошли официальные опровержения разглашенной в докладе статистики, партийным пропагандистам велено было отрицать достоверность фактического материала, приведенного «В. Ждановым». Но ни один человек за распространение этого документа больше, чем выговор по партийной линии, не получил. Это был явно не типичный случай, когда самиздатским по происхождению материалом (видимо, из кругов, близких к обществу «Память») воспользовались причастные к власти люди для своих собственных групповых или ведомственных

интересов. Исключение другого порядка мы наблюдаем в Москве сейчас – повальное чтение и размножение переписки двух писателей, Натана Эйдельмана и Виктора Астафьева. Если общественная обстановка и далее будет тому способствовать, такие рецидивы самиздата 60-х годов будут повторяться.

Давно ничего не было слышно о самиздатских журналах: уже лет пять тому назад КГБ сначала покончил с «Поисками», затем (весной 1982 года) разгромил журналы «молодых социалистов» «Левый поворот» и «Варианты» и примерно тогда же настоятельно порекомендовал группе Г. Шиманова прекратить выпуск православно-националистического издания «Многая лета». Отдельные номера «Поисков», впрочем, до сих пор «ходят», а некоторые статьи, видимо, изредка перепечатываются. Понятно, почему нет сейчас журнала с объявленной редакцией: хотя психологическое значение такого издания было бы велико, выпуск его в настоящее время едва ли возможен. Не исключено, что журналы с анонимными редакциями в каких-нибудь провинциальных городах и существуют: в провинции – духовный голод, и где-нибудь в Тамбове или Пензе завезенный бывшим студентом Московского университета выпуск «Левого поворота» (или воспоминание о нем) еще долго будет образцом для подражания и источником теоретической оснащенности местных оппозиционеров.

2. Основной потребитель самиздата в прежние годы – это человек общественно-активный, если не оппозиционер-правозащитник, диссидент, то – либерал-реформист, работающий на перерождение режима. Это также столичная интеллектуальная элита – ученые, писатели, артисты и их ближайшее окружение. Теперь читатель самиздата – более демократический, хотя и общественно не активный, таящийся. Но в потенции – это все советское «молчаливое большинство», которое в конечном счете и решит судьбу этой страны (добавим: если успеет, потому что политика коммунистов вполне способна довести страну и мир до катастрофы раньше, чем «молчаливое большинство» осознает свою силу и заговорит).

Сознание современного советского человека в значительной степени деидеологизировано. «Простой советский человек» уже не верит (или считает преувеличением), что на Западе рабочие живут совсем плохо, а безработные голодают. Но он еще верит, что Рейган и ФРГ только и ждут момента,

как бы сокрушить Россию, даже атомной бомбой. Для советского человека характерно не знать, чего хотят диссиденты, и он склонен верить официальной пропаганде, что все они поголовно изменники на содержании у ЦРУ – в крайнем случае, евреи. Характерно так думать о Чехословакии 1968 года и Польше 1980 года: «Мы их освободили от немцев, а они...» Неизвестно, чего здесь больше: незнания фактов (например, того, что сначала мы помогли Гитлеру Польшу завоевать) или незнакомства с принципами человеческого общежития. В своем большинстве советские люди, даже те, кто способен здраво судить о коррупции или эксплуататорском характере советского государства, полагают, что, «освободив поляков», мы имеем право ими руководить. Для советского человека характерно иметь одну из двух идей насчет исправления своей страны: 1) «нужен новый нэп»; 2) «нужен новый Сталин» (новейший вариант: «новый Андропов»). Иногда эти две идеи противоестественно объединяются.

Содержание большинства самиздатских документов 60-х гг. было чуждо советскому человеку. Даже и теперь лозунг «права человека» не может привлечь широкое народное сочувствие: слишком неразвито правовое самосознание. Это лозунг для столичной интеллигенции, а непосредственно сейчас даже и не для нее. К тому же, из конкретных требований диссидентов, как это ни печально, только «право на эмиграцию» получило (хотя А. И. Солженицын верно сказал, что это «тридцать пятое право человека») широкую рекламу – благодаря совместным усилиям «Голоса Америки» и советского агитпропа. Уже сейчас понятно значительной части населения – к политическим и гражданским правам по недомыслию равнодушного – такое предложение оппозиции, как легализация и расширение частного сектора, для начала хотя бы в сельском хозяйстве и сфере обслуживания. Очевидно, следующее требование, которое может быть понятно, – это «право на забастовку» как орудие борьбы со злоупотреблениями администрации. Может быть, впоследствии – и «права человека» в полном объеме.

Хотя теперешний самиздат попадает к советскому человеку, особенно в провинции, редко, он ему понятен; он его хочет читать, и это вселяет надежду. Советский человек все еще остается советским человеком, но и он меняется. На его развитии сказалось все-таки влияние «оттепельной» литературы-

ры, которая «работала» и после краха «оттепели»; не всё же было изъято из библиотек, а что было изъято – приобрело дополнительную привлекательность. Деятельность правозащитников влияла на народ опосредованно, их самиздат читался в основном активным меньшинством интеллигенции – и то не везде, но магнитофонные записи Владимира Высоцкого слушали везде и повсюду. Влияние Высоцкого на умонастроения советских людей, сформировавшихся во второй половине 60-х – начале 80-х гг., еще не оценено в должной мере. Именно Владимир Высоцкий подорвал основы советской идеологии больше, чем кто-либо, и сократил разрыв в сознании между фрондирующей столичной интеллигенцией и остальным населением страны, особенно молодежью. Чтобы вытеснить из сознания людей бесформенные ошметки коммунистической идеологии и шовинистических штампов, требуется теперь, может быть, не так уж и много: литература. В Москве, Ленинграде и некоторых других городах число людей, время от времени читающих самиздат и тамиздат, растет очень быстро. Это инженеры, учителя, врачи, музейные работники, студенты, чиновники, иногда рабочие. То, что это эпизодическое, а не систематическое чтение, по сути не важно. Часто одна-единственная книга способна перевернуть представление советского человека о мире и убедить его, что он тоже в оппозиции к власти, хотя не знал этого раньше.

3. Читатель в России гораздо чаще имеет дело с самиздатской копией литературного текста, чем с тамиздатским оригиналом. Самый распространенный тип «нового» самиздата – ксерокопия книги (о магнитофонных записях популярных бардов – а теперь и рок-групп – я в данном случае не говорю: это очень самостоятельная отрасль самиздата). Машинописные перепечатки еще не ушли в прошлое, но авторов, чьи произведения в машинописном виде встречаются чаще, чем в ксерокопированном, легко по пальцам пересчитать: Иосиф Бродский, барды, Венечка Ерофеев... В виде микропленок и фотографий распространяются более «толстые» книжки, но тираж таких «издания» уж слишком невелик. Наиболее распространенный разовый выпуск ксерокопий – 5, 10, а то и 15 экземпляров. Популярные авторы пускаются в производство по нескольку раз; по мере распространения книги количество желающих приобрести такую же – растет. Качество печати

«новых» изданий, сделанных на ксерокопировальных аппаратах разных систем, часто намного лучше, чем в Ленинской библиотеке. Именно техника ксерокопирования, теперь уже не редкая, сделала собственно книгу – самым главным продуктом самиздата. Но уже ясно, что придет этой технике на смену: на очереди выход на широкий простор компьютера.

Автору этих строк уже приходилось видеть сделанные на ЭВМ сборники Высоцкого (и перепечатку официального «Нерва», и самиздатскую подборку на 400 песен), небольшую книжку Гумилева, романы братьев Стругацких («Трудно быть богом» и «Гадкие лебеди»), «Один день Ивана Денисовича» и Л. Чуковскую («Предсмертие»). Главная трудность работы на ЭВМ по сравнению с ксерокопированием – то, что текст приходится впечатывать в память машины вручную, как при работе на пишущей машинке. Зато однажды набранная программа может потом воспроизводиться бесчисленное множество раз, ее можно переписать на магнитную ленту и вычистить из памяти компьютера все следы «левой» работы, переводить программу с машины на машину. Говорят, есть уже компьютеры, способные сами «считывать» текст построчно или постранично – то есть соединяющие достоинства ксерокса и ЭВМ. Как ксероксы, так и ЭВМ обычно эксплуатируются не на дому, а по месту работы, поскольку в частном владении их, как считается, нет. Но недаром наша страна считается «страной чудес»: как раз в эти дни (декабрь 1986) в Москве идет следствие по делу группы молодых людей, попавшихся на квартирной краже, – и в доме одного из них милиция обнаружила средних размеров компьютер вместе с печатающим устройством. Если с работы «несут» уже ЭВМ, значит, скоро они появятся на черном рынке.

Кроме компьютера, который, можно надеяться, в ближайшие 10-15 лет произведет революцию в самиздате, на горизонте следующие перспективные направления:

1) микрофиши. Как и микропленка, они не очень удобны в пользовании, поскольку требуют специальной аппаратуры для чтения, но имеют немаловажное достоинство: максимально компактны;

2) видеокассеты. Если телевизор (как вначале радио) – это орудие порабощения человеческого разума, то видео – хочется верить – послужит для его освобождения (как уже служит магнитофон). Пока что самый распространенный видео-

«самиздат» – порнография, но уже есть «левые» копии хороших советских и западных фильмов, в том числе, как с тревогой отмечала советская печать, «идейно-чуждых».

4. Поскольку на книги, не издаваемые государством, есть спрос, возник и ширится рынок самиздата. Существует два типа «бизнесменов» от самиздата: операторы «ксерокса» (вероятно, ЭВМ тоже, но – пока не сталкивался) и перекупщики. Осмелюсь утверждать, что практически все, кто связан с работой на ксерокопировальных машинах, делают «левую» продукцию. Чтобы от «Хранителей» Дж. Толкина или «Королевы Марго» перейти к Солженицыну, требуется, конечно, некоторая доля смелости, но главное, чтобы заказ стоил свеч: был больше, например, чем два-три экземпляра. На копиях Александра Дюма оператор много не заработает, поскольку оригинал все-таки легко доступен на черном рынке. За копии книг по теме научной работы ученый люд охотно дает 5 копеек за разворот (половина госцен), но на таких изданиях тем более не сделать тираж. Другое дело что-нибудь популярное, но редкое, например, религия.

Заказывая ксерокопию книги дореволюционного издания, потребитель или оптовый заказчик вполне может рассчитывать на цену 5-7 коп. за лист или разворот. Копии с западных изданий (даже если это поэзия, но производства «страшной» ИМКА-Пресс) идут по цене от 7 до 12 копеек за разворот: цена зависит от условий оператора, а иногда и от аппетитов посредника-перекупщика. Посредник – не всегда перекупщик, и еще реже в полном смысле слова бизнесмен. Иметь источником доходов куплю-продажу антисоветчины пока еще вряд ли возможно. Гораздо легче «заработать» на перекупке поэзии или религиозного самиздата.

Года три-четыре в советских газетах было несколько публикаций о коммерческой фирме, во главе которой стоял православный христианин Виктор Бурдюг, недоучившийся историк. В. Бурдюг занимался продажей сделанных по его заказу ксерокопий и даже книг типографской печати (массовые «левые» допечатки изданий, предназначенных для Патриархии). Несколько человек брошюровали и переплетали вынесенные листы – кто за деньги, а кто и бесплатно, «из веры». Счет шел, по уверениям газеты «Советская Россия», на десятки тысяч экземпляров. Вокруг ядра этого предприятия, состоявшего

из нескольких советских «безработных» (т. е. интеллигентов, не имеющих работы по специальности и перебивающихся случайными доходами), кормилось некоторое количество оптовых покупателей, развозивших товар по провинции. У самого В. Бурдюга и его друзей религиозные мотивы и желание «заработать» в разных пропорциях сочетались. Лидер группы практически весь свой доход (и немалый!) вкладывал в расширение дела. Деятели этой «фирмы» попались на случайной оплошности, когда у них уже была налажена собственная производственная цепь из приобретенных за границей (!) копировальных аппаратов и оборудования для переплетного дела – что сделало бы их совершенно независимыми от работающих «налево» сотрудников государственных учреждений. Оборудование было размещено на нескольких дачах, снятых или купленных в Подмоскowie; задействовать его они так и не успели. У Бурдюга имелись связи с группой «молодых социалистов»: на следствии по делам обеих групп фигурировал портативный «ксерокс», который социалисты пытались купить у православных христиан.

Примерно тогда же или чуть позже власти осудили в Москве группу подпольных бизнесменов, занимавшихся размножением видеозаписей, а заодно перепродажей контрабандных видеомагнитофонов и их ремонтом. Эти люди (судя по всему, с немалыми техническими способностями) никаких идейных побуждений не имели, просто «делали деньги». Они оперировали сотнями тысяч рублей и получили очень большие сроки. Интересно, что в распространении порнографии их, кажется, не обвиняли. Видимо, порнографию изготавливает другая «фирма».

Возвращаясь из сферы «чистой коммерции» к самиздату, отмечу такое существенное для заинтересованных лиц наблюдение: попавшихся на «левой» работе операторов власти обычно не сажают (может быть, теперь, когда номенклатура объявила мелкой подпольной буржуазии войну за «нетрудовые доходы», и будут сажать). Обычно от них требуют «искренних» показаний, возмещения причиненного государству ущерба и выгоняют с работы. Не были посажены, в частности, многочисленные операторы «ксероксов» и типографские рабочие, делавшие книги для группы Виктора Бурдюга.

То, что самиздат постепенно становится отраслью «левой экономики», будет иметь и уже имеет последствия самые раз-

ные. Разумеется, литература, имеющая оттенок развлекательности, в условиях «рынка» обгонит такие важнейшие книги, как «Архипелаг ГУЛаг» или «Большой террор». С другой стороны, именно экономический стимул становится могучим механизмом, который ускоряет распространение нового самиздата и в будущем сможет обеспечить духовной пищей провинцию, которой ее так недостает.

Таковы состояние и перспективы «нового самиздата» — как они видятся на сегодняшний день. Будут ли эти наблюдения актуальны завтра — в связи с началом новой «оттепели» — сказать трудно.

*Сентябрь 1985, декабрь 1986
Москва*

МАГАЗИН — КНИГА-ПОЧТОЙ
«ЛУКОМОРЬЕ»

ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ КНИГУ:
ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ

«СТИХИ. ПОЭМЫ.
ПРОЗА».

Издательство «Гилея». Нью-Йорк. 1986 год.
637 с.

Сборник, содержащий множество редких иллюстраций и текстов, выпущен к 100-летию со дня рождения одного из талантливейших русских поэтов.

Наш адрес: LUKOMORYE BOOK STORE.
P. O. Box 161. Bay Station. Brooklyn, N. Y. 11235.

Тел. (718) 891-1927 после 6 часов вечера. Суббота, воскресенье — весь день.



СОЦИАЛЬНОЕ РАВНОВЕСИЕ

(Теория современного общества)

Результаты моих двадцатилетних (с середины шестидесятых годов) исследований экономики и социальных условий по всему миру оказались необычными и, как я думаю, очень важными для любой страны. Я пришел к заключению, что экономический застой или депрессия, понижение во многих случаях уровня жизни, инфляция, безработица (открытая или скрытая), рост нищеты, интенсивная «классовая» борьба и даже нехватка (дефицит) денег у правительств неотделимы друг от друга и имеют одну общую причину: *отсутствие социального равновесия*. Объяснение дается ниже.

Любые товары и любые услуги создаются и производятся в любой стране трудящимися: инженерами, учеными, техниками, рабочими, артистами, художниками, ремесленниками и т. д. и т. п. Вся материальная и духовная культура любой страны создана ими. Ничто не валится с неба. Ничто не создается и не производится правительствами, профсоюзами или партиями, самими по себе. *Трудящиеся являются источником всего. Поэтому именно они ответственны и за процветание, и за нищету любой страны. Вопрос заключается в том, почему трудящиеся часто очень плохо работают и ввергают свою страну в вышеуказанные бедствия?*

Из всего колоссального разнообразия духовных и материальных, высоких и низменных мотивов трудящихся, побуждающих их к *обязательной* работе (без этой *обязательной работы* ни одно общество существовать не может), я выберу самый общий, самый универсальный и в нашем случае самый важный мотив: *желание трудящегося получить максимальную зарплату за минимальный обязательный труд в наилучших условиях*. В зарплату, конечно, нужно включить и любые привилегии, как всякие премиальные, всякие субсидируемые служебные столовые, транспорт, жилища и т. д. и т. п.

Нетрудно видеть, к чему это желание ведет, если оно будет удовлетворяться *беспрепятственно*. Меньше и хуже вложенный труд – меньше производится товаров и услуг, а их качество ухудшается. Высокая зарплата за меньший и менее качественный труд ведет к более высоким ценам, к тому же за некачественные товары и услуги, т. е. ведет к инфляции. Высокие цены за менее качественные товары и услуги ведут к уменьшению спроса и ведут к разорению предприятий, их производящих (скрытому при социализме и открытому на Западе). Инфляция приводит и к трудностям экспорта: слишком дорогие и плохие товары и услуги и за границей не покупают. Это все приводит к безработице. Безработица и инфляция ведут к росту нищеты. Растет контраст между бедными и богатыми. Обостряется «классовая» борьба. (Классовая в кавычках потому, что от нее капиталисты или богатые не страдают, а страдает свой же брат-трудящийся, т. е. это не классовая борьба, а борьба одних трудящихся за свои шкурные интересы против других трудящихся.)

Все это, вместе взятое, ведет к резкому возрастанию всяких «социальных» нужд и к всеобщим и чрезвычайно многочисленным требованиям к правительству: дай денег на то, дай денег на это; сделай то, сделай это. В то же время доходы государства уменьшаются и *получается резкая нехватка государственных финансов*. В особенности, если нужно платить пособия по безработице и помогать инвалидам, больным и старикам. *Ясно, что эти интересы трудящихся, если им нет достаточного противодействия, ведут к разрушению благосостояния как самих трудящихся, так и всей страны.*

Очевидна необходимость существования некоторой, достаточно мощной силы, действующей в прямо противоположную сторону, противодействуя тенденции экономического самоуничтожения трудящихся: силы, способной выжать из трудящихся больше и качественнее труда в не слишком шикарных условиях за меньшую зарплату.

Положительное равновесие между этими двумя противодействующими силами, т. е. социальное равновесие (социальный баланс) и может ликвидировать указанные выше беды трудящихся и привести страну и трудящихся к материальному и духовному процветанию. И духовному потому, что занятие целесообразным и производительным трудом (по заповеди Христа) ведет к здоровому самосознанию.

ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ, ЭТА ЧУДЕСНАЯ СИЛА?

1. Самая могущественная сила в мире и в истории – государственная социалистическая диктатура СССР или Польши, ГДР, Венгрии, Чехословакии, Румынии, Кубы, Эфиопии, Вьетнама, Северной Кореи и т. д., в совокупности с их соответствующими КГБ и аппаратами насилия, оказывается неспособной решить задачу. Население всех социалистических стран остается более или менее нищим по сравнению, скажем, со странами Запада: заставить своих трудящихся производительно трудиться не в состоянии даже такая колоссальная сила, какая есть у социалистической диктатуры. *Это значит, что задача не может быть решена и никакой другой государственной силой.*

Прошу учесть, что в социалистических странах нет капиталистов – все, включая Политбюро, являются наемными трудящимися.

2. Демократически избранные правительства Запада, как правило, тоже неспособны выполнить задачу. Они зависят от голосов избирателей и вынуждены этих избирателей своими программами подкупать. Трудящиеся же представляют собой большинство избирателей. *Поэтому правительства и стараются убогатить именно трудящихся, помогая этим самым их экономическому самоубийству.*

3. Управляющие (начальники) государственных предприятий и корпораций Запада также не в состоянии выполнить задачу. *Они тоже являются наемными трудящимися. Они управляют не своим имуществом и распоряжаются не своими деньгами.* Они также зависят в своей работе от степени сотрудничества их подчиненных. Поэтому они используют государственные финансы для подкупа этих своих подчиненных. (Если их подчиненные откажут им в сотрудничестве, им долго не усидеть на месте.) Как и их коллеги в социалистических странах, они не в состоянии должным образом противодействовать своим подчиненным трудящимся. *Как правило, управляющие государственным имуществом разоряют свою страну, действуя заодно со своими подчиненными.* За очень редким и кратковременным исключением, все государственные предприятия работают в убыток. Если не в убыток, то, будучи часто монополиями, вздувают цены до небес.

4. Управляющие общественной (акционеров) собственностью, т. е. корпорациями, тоже не в состоянии выполнить задачу. Они тоже являются наемными трудящимися. Они тоже управляют не своим имуществом и распоряжаются не своими деньгами.

По специальному исследованию финансов британских корпораций, предпринятому знаменитой фирмой «Америкен Экспресс», оказалось:

1) 2,6 миллионов менеджеров британских корпораций истратили в 1984 году на свои банкеты, увеселения, путешествия, отели, транспорт 17,4 миллиарда фунтов стерлингов. Сравните эту цифру со всем британским бюджетом обороны в 18 миллиардов. Это наряду с чрезвычайно щедрыми зарплатами и привилегиями (вроде служебных шоферов и шикарных автомобилей, бесплатных шикарных домов, субсидируемой шикарной пищи и т. п.), которые они сами себе устроили. (Председатели ряда американских корпораций получают совершенно немыслимые зарплаты до 3 миллионов долларов в год. Зарплаты британских председателей корпораций несколько меньше, но того же порядка.) В то же время британские корпорации уплатили налог на корпорации всего 8,4 миллиарда ф. ст.

Таким образом, расходы на удовольствия британских менеджеров составляют самую главную и самую крупную статью расхода. Американские и другие менеджеры от британских, конечно, не отстают.

2) В том же исследовании отмечено, что менеджеры и вообще не особенно считают общественные денежки: «...только немногие из высших менеджеров имели какое-либо представление о величине указанных издержек» («Таймс» 17.5.85).

Вполне естественно, что менеджеры эти не могут не покупать сотрудничество своих подчиненных. Поэтому и менеджеры «частных» корпораций не могут должным образом противодействовать своим трудящимся, не говоря о противодействии самим себе.

Следует обратить внимание читателя и на следующий факт. Имущество корпораций «принадлежит» миллионам акционеров. Имущество СССР тоже «принадлежит» советским «акционерам» — миллионам трудящихся. Корпорации управляются Советом директоров, а «гигантская корпорация»

СССР управляется Политбюро. Рядовые акционеры западных корпораций, как и рядовые трудящиеся СССР, имеют примерно одинаковую возможность управлять «своим имуществом». В обоих случаях управляют «киты», а не рядовые «собственники». Поскольку своя рука – владыка, Политбюро и Совет директоров совместно с «китами» обдирают акционеров по принципу: с миру по нитке – «голому» рубашка, или с миллиона по копейке – трудящемуся управителю миллион. Разница в том, что на Западе корпораций много, а в СССР только одна. На Западе есть остатки рыночных отношений, а в СССР их нет совсем. Ну и, конечно, западный акционер может продать свои акции и так вернуть свое имущество в свое собственное распоряжение. У советского «акционера» имущество отобрано навсегда.

Так или иначе, но западные корпорации – это не капитализм, а солидный кусок социализма.

5. Единственной достаточно мощной силой, способной противостоять саморазрушительным интересам трудящихся, является сила миллионов собственников, которые являются одновременно предпринимателями и управляющими. Они управляют своим собственным имуществом и распоряжаются своими собственными деньгами.

Их эгоистический интерес направлен против эгоистических интересов трудящихся и заключается в том, чтобы *выжать из трудящихся побольше и получше труда в не слишком шикарных условиях за минимальную зарплату.* (Конечно, они тоже имеют не менее, чем у трудящихся, огромное множество мотивов для своей деятельности, как материальных, так и духовных, как высоких, так и низменных. В данном случае нас опять интересует все тот же эгоистический мотив.)

Если между собственниками, кроме того, есть достаточно сильная конкуренция, она сильно умеряет их собственные эгоизм и жадность. Им приходится добиваться взаимовыгодных компромиссов с трудящимися и их добровольного сотрудничества. Однако добиваются они этого, необходимого во всех случаях сотрудничества не подкупом за чужой (государственный или акционеров) счет, а именно разумными, взаимовыгодными компромиссами, обеспечивающими необходимую для дела прибыль, а следовательно, общественную полезность и эффективность.

Положительный (социальный) баланс между этими двумя многомиллионными силами приводит и трудящихся и всю страну к материальному и духовному процветанию и к ликвидации всех тех бед, которые были указаны выше.

Социальный баланс является единственным реальным способом осуществления всеобщего духа сотрудничества, общественной солидарности, взаимопомощи, политической и экономической стабильности вместо нынешнего всеобщего духа «классовой» борьбы и свары, господствующего в условиях полной потери политического и экономического равновесия. Нетрудно видеть, что этот социальный баланс будет, однако, недостижим, если будут продолжать существовать гиганты и монополии: государственные, банковские, промышленные, партийные, профсоюзные. Эти монополии в междуусобной борьбе за господство подминают под себя собственников-предпринимателей, а также всякую «мелочь», так важных для здоровой экономики, раздирают страну на враждебные лагеря, дестабилизируют и экономику и политику. Правительства под воздействием этих мощных, неуравновешенных сил все время сбиваются с курса и не могут нормально функционировать.

Равновесие между гигантами невозможно. «Покой» может наступить только тогда, когда одна гигантская монополия (как в СССР – государство) подчинит себе все остальные. Трудно сказать, какая монополия на Западе одержит верх: государственная, банковская, партийная, профсоюзная? Ясно одно, что тогда наступит социалистической рай – «наиболее совершенная организация человеческого общества» – независимо от того, кто будет вождем: председатель разросшегося до размеров государства Дженерал Моторс, председатель Федерального Резервного Банка, председатель Демократической или Республиканской партий или председатель профсоюза Тимстеров.

Ниже следуют дополнительные пояснения.

ИНФЛЯЦИЯ

Цена любого товара или услуги состоит из многих составляющих: зарплаты работников (включая администрацию и управляющих); налогов (включая налоги на сами товары и услуги, налоги на здания и имущество, налоги на корпорации,

налоги на прибыль и все остальные); стоимость материалов, инструментов, топлива, энергии, рекламы; стоимость амортизации зданий и оборудования; издержки системы, доводящей товары до потребителя; и наконец прибыли.

Зарплаты, налоги и прибыль являются первичными составными частями цены. Все остальные части, в свою очередь, состоят из зарплат, налогов, прибыли, стоимости материалов, топлива, энергии и т. д. Если мы проследим все эти цепочки стоимостей до конца, т. е., точнее, до начала, то мы увидим, что все эти цепочки начинаются с природных сырьевых ресурсов страны: земли, воздуха, воды, залежей угля, железа, меди, олова и т. д. и т. п. В процессе добывания и использования этих ресурсов они постепенно превращаются в дома, пищу, автомобили, в средства связи, в средства обслуживания и т. п., постепенно обрастая зарплатами, налогами и прибылями. Таким образом, *цена любого товара или услуги состоит, в конечном итоге, только из трех элементов: суммы всех зарплат, суммы всех налогов, суммы всех прибылей (по всем разветвлениям цепочек цен от начала в сырьевых ресурсах до конца в цене данного товара или услуги) и ничего более.*

Сумма прибылей, в среднем, составляет около 10% и даже меньше. Остальное приходится на сумму зарплат и сумму налогов. В наше время эти две последние части примерно равны. Получается, что любая цена состоит на 40%-50% из зарплат, на 40%-50% из налогов и на 5%-15% из прибылей. Таким образом, *единственными причинами инфляции являются рост зарплат без соответствующего роста производительности труда и рост налогов.*

Это означает, что *инфляция есть следствие потери социального баланса.*

Что касается так называемого закона спроса и предложения, *воздействующего на цены, то он воздействует только на величину прибыли (или убытка) и поэтому не может вызывать значительного изменения цен.* Конечно, я имею в виду масштаб всей страны и всю совокупность цен по всей стране, а не цену некоторых товаров или услуг, которая при дефиците может вздыматься до небес. Совокупность цен в стране может зависеть от спроса и предложения только в пределах величины прибыли, т. е. в пределах 0,1 части цены. Таким образом, *увеличение или уменьшение прибыли в 2 раза изменит цену только на 5%.*

ПРОГРЕССИВНЫЙ НАЛОГ

Прогрессивный подоходный налог не может изменить дифференциалов, т. е. различий в реальной (после вычета налогов) оплате, скажем, разносчика газет и пилота реактивного самолета или уборщицы и управляющего банком или корпорацией. Если эти различия нарушаются, начинаются всякие трудовые конфликты и забастовки, и различия восстанавливаются.

Даже чрезвычайно прогрессивный налог не уменьшает контраста между богатыми и бедными: бедные остаются бедными, а богатые – богатыми. Прогрессивный налог как средство сглаживания контрастов совершенно бесполезен. Однако сбор прогрессивного налога очень дорого стоит. Прогрессивный налог приводит к развитию подпольной экономики (которую налогом не обложишь), к уходу от налогов, к взяточничеству, к коррупции и т. п. Прогрессивный налог определенно увеличивает число банкротств, т. е. способствует безработице. *Прогрессивный налог определенно разрушительно действует на экономику страны.*

Можно думать, что прогрессивный налог увеличивает доходы государства. Однако и этого нет. Вот, для примера, цифры прогрессивного налога в Великобритании в 1974-75 году. В этом году Великобритания имела 28 274 000 налогоплательщиков из 56 миллионов душ населения. Общее число наемных работников было около 22 миллионов, т. е. налогом облагались и нетрудовые доходы.

Число богатых налогоплательщиков с доходом 20 000 ф. ст. в год и выше составило 33 000 человек (примерно 1 человек на 1 000 налогоплательщиков). Их общая сумма доходов составила 1 060 миллионов ф. ст., т. е. 1,6% от суммы доходов всех остальных в 65 625 миллионов ф. ст. Налог, уплаченный этими 33 000, составил в среднем 66% их дохода и сумму 700 миллионов ф. ст. Остальные уплатили налог в среднем 18,4% их дохода и сумму 12 095 млн. Сумма налогов на богатых составила всего 5,5% всей суммы собранных налогов.

Если обложить всех налогоплательщиков налогом в одинаковой для всех цифре 19,2%, то доход государства полностью сохранился бы. Имея в виду, что стоимость сбора именно прогрессивного налога находится на уровне миллиарда ф. ст., прогрессивный налог не увеличивает доходы государства.

Итак, прогрессивный налог не уменьшает контраста между бедными и богатыми, не делает богатых беднее, а бедных – богаче и не увеличивает доходы государства, но действует разрушительно на экономику страны, увеличивая безработицу, коррупцию и жульничество.

Для ограничения безнравственно огромных и нетрудовых доходов от спекуляций акциями или имуществом лучше и дешевле облагать налогом в 100% весь излишек дохода сверх определенной разумной цифры, скажем, 50 000 или 500 000 ф. ст. Это оставит денежный стимул для 99,999% всех жителей страны неизменным, но устранил небольшое число, я бы сказал аморальных, доходов, ослабит спекуляцию и несколько ублаготворит наше чувство зависти или, выражаясь по-марксистски, справедливости.

КТО ПЛАТИТ НАЛОГИ?

Любым правительствам в любой стране всегда не хватает денег. В ходе времени они стараются выжать из населения все больше и больше всякого рода налогов и сборов. Налоговые системы становятся чрезвычайно сложными и всепроникающими. Стоимость сбора налогов по отношению к собранной сумме все время растет. По крайней мере сотня тысяч людей могла бы кормиться на деньги, затрачиваемые на сбор налогов в Англии. Любое правительство старается также облагать больше налогом богатых и меньше бедных. Главная трудность состоит в том, что богатых много меньше, чем бедных, а сумма, которую нужно собрать, очень велика, и поэтому главная ее часть должна быть собрана с многочисленных небогатых. Но это и не существенно. Все равно люди смотрят на доходы за вычетом налога.

Самое же главное, что ни бедные, ни богатые денег не печатают. Как я уже отмечал, все зарплаты, все доходы и все налоги войдут в цену товаров и услуг. *Все налоги (подходный налог, налог на прибыль, налог на имущество, налог на корпорации, налог на энергию и т. д. и т. п.), таким образом, платят не бедные и не богатые, а потребители товаров и услуг. Налогообложение богатых есть миф.*

Однако налоги определенно понижают желание работать, подавляют дух предпринимательства, увеличивают безработицу, инфляцию, нищету, понижая уровень жизни.

Поскольку так или иначе все налоги войдут в цены товаров и услуг, есть полная возможность заменить все, без исключения, налоги одним-единственным налогом – налогом на определенные товары и услуги. Облагая больше товары и услуги, которыми пользуются богатые, и меньше те, которыми пользуются бедные, можно реально осуществить действительно большее налогообложение богатых и ослабить контрасты. К сожалению, сейчас облагаются налогом больше всего именно предметы насущной необходимости, сильнее ущемляя бедных.

МОНЕТАРИЗМ

Для борьбы с инфляцией буквально все правительства Запада проводят так называемую политику монетаризма. Суть ее в поддержании в одном и том же соотношении совокупности товаров и услуг, производимых в стране, и совокупности денег, находящихся в обращении в стране. Для этого меньше печатают новых денег и повышают цену кредита, т. е. увеличивают проценты на займы. Дорогой кредит увеличивает сопротивление хозяев (не хватает денег) требованиям работников увеличить зарплату и другие привилегии, увеличивает число банкротства, уменьшает число новых предприятий, заставляет сокращать штаты. Это понижает спрос на труд и тем сдерживает рост зарплат. Безработица резко увеличивается, зато инфляция уменьшается. *Сила профсоюзов и трудящихся (разрушительная) ослабляется.*

Однако дорогой кредит одновременно приводит к уменьшению прибыли в хозяйстве страны *(непомерно увеличивая прибыли банков)* и, следовательно, к уменьшению или даже к прекращению вложений в новые предприятия. Все это, вместе взятое, ведет, по существу, к торможению развития экономики, а иногда и к ее деградации. Ведет к росту нищеты и к общему снижению уровня жизни (прежде всего, самых бедных). Недаром эта политика называется «суровой политикой», политикой «затягивания ремней на животе».

Теперь, я думаю, нетрудно видеть, что эта политика сводится к попытке восстановить утраченное социальное равновесие, о котором я говорил выше, с помощью грубой и тупой экономической силы. Ее тупость в том, что она действует в

обе стороны, уменьшая и одновременно увеличивая инфляцию. Безработица и рост нищеты резко увеличивают расходы (многомиллиардные) на пособия по безработице и нищете. Приходится изыскивать новые налоговые средства (обычно не подходящий налог), тем увеличивая инфляцию. Приходится печатать новые деньги или залезать в долги (под высокие проценты). И то и другое увеличивает инфляцию. Банкротства и уменьшение вложений (из-за дорогого кредита) сокращают объем производства и, несколько понижая предложение товаров и услуг, увеличивают инфляцию.

В самое последнее время появились статьи в прессе, в которых прямо заявляется, что монетаристская политика терпит провал и монетаристы испытывают приступы паники.

Неэффективность и ненужность этой суровой политики можно видеть на примере Швейцарии, которая близка к социальному балансу. В Швейцарии стоимость кредита, т. е. реальные проценты на займы в три раза ниже, чем, скажем, в Англии («Экономист», 29. 6. 85). Однако в Швейцарии инфляция очень мала, а безработица и нищета практически отсутствуют, вопреки всем теориям монетаристов.

Вместо монетаризма нужно восстановить социальное равновесие более целесообразными способами: освободить миллионы собственников-предпринимателей от удушения налогами, законами в пользу трудящихся и против собственников-предпринимателей, от удушения сотнями тысяч ненужных правил и регламентаций, от удушения мощью профсоюзных монополий, от удушения регулированием цен и зарплат, от удушения невозможностью подобрать себе нужных и удалить ненужных работников и т. п.

Освободить от таких же пут миллионы трудящихся-одиночек, работающих самостоятельно.

Наоборот, подавить и расщепить гиганты и монополии, удушающие собственников-предпринимателей и тем удушающие здоровое развитие экономики и повышение благосостояния трудящихся.

Фактически, решение проблемы инфляции (и всех других бед) не в затягивании поясов, а в росте производительности труда через осуществление социального баланса. Монетаристские страдания просто не нужны. Нужно, чтобы трудящиеся больше и лучше работали и тем себя больше и лучше всем обеспечивали. Никто за них этого не сделает.

БЕЗРАБОТИЦА

Высокая инфляция разрушает экономику страны. *Большая безработица разрушает души людей.* Ликвидируйте инфляцию, и после нее не останется никаких последствий. Однако после безработицы останутся страшные последствия в психике людей и в их поведении. Длительная безработица разрушает души, разрушает мораль и нравственность, усиливает «классовую» борьбу, разрушает сотрудничество, увеличивает преступность и насилия.

Безработица может разрушить нацию. Она есть следствие отсутствия социального баланса.

МИФ ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА И НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Можно многократно слышать, что новая технология и перепроизводство делают безработицу постоянной. Это совершенно неверно. *На протяжении 3-4 последних столетий поток новой технологии никогда не прекращался. Новая высокопроизводительная технология все время требовала перемещения и переобучения рабочей силы,* но именно она, подняв чрезвычайно производительность труда, привела к невиданному ранее высокому благосостоянию этой самой рабочей силы. *Самое же главное, что эта новая технология не уменьшала, а увеличивала полное число рабочих мест в стране.*

Очень легко проверить, что безработица не зависит от новой технологии, но полностью зависит от уровня активности мелкого и среднего бизнеса, от уровня активности именно собственников-предпринимателей. С 1950 по 1976 годы средний работник в США стал производить в 1,56 раза больше товаров, т. е. новая технология заменила 36% работников 1950 года. Следовательно, в 1976 году безработица должна была достигнуть 36%, по крайней мере. Никак нет. Число работающих, наоборот, увеличилось в 1,52 раза с 64 миллионов до 97.

Перепроизводство тоже миф. Есть вздутые цены (низкая производительность труда при высокой зарплате и вздутых налогах) и производство некачественных или не пользующихся спросом товаров. Снизьте достаточно цены (повысьте достаточно производительность труда), и все полезные и качественные товары будут в момент раскуплены. При распрода-

жах крупные универсальные магазины распродают товаров на миллионы, а покупатели тысячами осаждают прилавки после того, как провели целую ночь в очереди перед магазином.

Потребности людей (материальные и духовные) беспредельны. Они непрерывно меняются, но всегда расширяются.

Ну и какое же может быть перепроизводство, если все еще есть голодные, все еще есть нищие семьи, нуждающиеся буквально во всем; если не хватает жилищ, а, скажем, в Англии 700 000 человек ждут хирургической операции и, бывает, умирают, так и не получив ее.

Миф перепроизводства создан инстинктивно или намеренно двумя категориями людей или организаций. Во-первых, социалистами и марксистами в доказательство необходимости и неизбежности социализма. Во-вторых, гигантами и монополиями, чтобы замаскировать то, что единственной причиной кризисов перепроизводства, инфляции, безработицы и роста нищеты являются они сами. Теперь уже известно, что даже мировой кризис 1929 года был организован банковской монополией (во главе с Федеральным Резервным банком) и не был кризисом перепроизводства, а был крахом кредитной системы, организованным для концентрации банковского дела в руках немногих монополистов. О каком перепроизводстве может идти речь, если многие миллионы страдали от голода и холода и острого недостатка самого необходимого. Цепочка событий была следующая. Банкротство одного-двух банков и их отказ отдать вкладчикам их деньги обратно вызвал подозрения у вкладчиков других банков. Федеральный Резервный банк не вмешался, как был обязан, и не помог выплатить вкладчикам требуемые ими деньги. Вкладчики в панике бросались вынимать свои деньги и в других банках. Множество относительно мелких и средних банков разорились или прекратили выплаты. Невозможность получить кредит привела к сильнейшей волне разорений в промышленности. На улице оказались миллионы безработных. Эта цепочка, естественно, распространилась на другие страны. Таким образом, этот кризис был результатом антисоциального манипулирования гигантами и монополиями общественного хозяйства. В социально сбалансированном обществе это было бы невозможно. Следует отметить вред от «борьбы» с безработицей с помощью ранней отправки людей на пенсию или употребления 2-3 человек там, где достаточно одного. Все товары и услуги, которые трудя-

щиеся производят, делятся, так или иначе, и на всю остальную, не работающую или нетрудоспособную часть населения. Указанная выше «борьба» в одном случае приводит к перегрузке работающих необходимостью содержать и кормить увеличивающуюся не работающую часть населения, а в другом – приводит к удорожанию продукции, к инфляции. Всё вместе понижает общественную производительность труда, понижает конкурентоспособность на внешних рынках, увеличивает нищету и, конечно, способствует разорениям, т. е. безработице. В социально сбалансированном обществе обеспечивается полная занятость *и обязательно в полную меру.*

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРАНОЙ

Имеются две фундаментально разные системы управления страной: система полного государственного управления и система автоматического самоуправления. Все системы управления странами всего мира можно классифицировать по степени полноты государственного или автоматического управления.

Социализм есть, конечно, система полного государственного управления. В этом случае вся страна является государственной собственностью. Имеется единственная и единая власть. Имеется единственная и единая структура аппарата управления. В стране, естественно, не могут быть допущены никакая другая власть, никакая другая структура управления. Понятно, что в этом случае возможен только один способ управления: полное государственное планирование необходимых экономических балансов, как, например, баланса между зарплатами, ценами и объемом производства. Естественно, что планируется не только производство, но и распределение. Фактически должны планироваться все стороны жизни людей, поскольку все это тесно друг с другом связано. Страна управляется ограниченной группой или слоем людей. В стране нет собственников-предпринимателей (капиталистов) вообще. Имеются только наемные трудящиеся. Все они, естественно, от рядовых граждан до высшей власти, имеют указанный мной выше универсальный интерес: побольше зарплаты и привилегий, поменьше *обязательной* работы и получше условия работы. Конечно, это не значит, что они совсем не выпол-

няют своих служебных обязанностей или не имеют никаких трудовых амбиций и духовного удовлетворения работой и достижениями в ней. Конечно, нет. Но указанный интерес является для всех общим и главным экономическим фактором жизни. *Поскольку в стране нет собственников-предпринимателей, то социализм есть случай предельного отсутствия социального баланса, который не может быть компенсирован никакой государственной властью и силой. Кстати, у этой государственной силы и интерес тот же самый, что у всех.*

Зарплаты, как и цены, в стране социализма, естественно, тоже планируются на годы вперед. Поэтому трудовая активность, *не запланированная вперед*, не может быть должным образом оплачена. Это неизбежное при государственном планировании отсутствие связи между результатами труда и вознаграждением и полное отсутствие социального равновесия ведут к низкому качеству и количеству труда трудящихся. *Трудящиеся, включая высшую власть, фактически сообща грабят и разоряют свою социалистическую страну.*

Еще один неустранимый и чрезвычайно разрушительный дефект полного государственного управления в том, что оно лишает миллионы отдельных работников возможности предпринимать собственные решения и реализовать свои индивидуальные творческие способности. *Колоссальный творческий созидательный потенциал населения при социализме не может быть использован.*

В то же время творческий потенциал управителей (даже если они гении) не может компенсировать колоссальный дефицит творчества.

Полное государственное управление оказывается также крайне нечувствительным к изменению обстоятельств в стране. Эти изменения должны накапливаться до размеров национального бедствия, пока система управления (страшно тяжелая) придет в некоторое движение по этому поводу. Такая задержка с реакцией на изменения обстоятельств делает преодоление национальных бедствий, связанных с этим, очень трудным; если не невозможным.

Колоссальная хозяйственная сеть страны с ее миллионами производственных и учрежденческих ячеек, с миллиардами их связей между собой невообразимо сложна и превышает любую возможность понимания человеческим разумом,

вооруженным любыми компьютерами в любом обозримом будущем.

Кроме того, нужно иметь в виду чрезвычайную неодинаковость и непредсказуемость людей, осуществляющих работу этой огромной планируемой сети.

Группа математиков из Киева подсчитала, что составление полного плана для одной только Украины потребовало бы работы населения всего мира в течение 10 миллионов лет. Этот подсчет, однако, тоже не учитывает неодинаковость и непредсказуемость людей и непредсказуемость природных и погодных условий.

Это значит, что действующие государственные планы и их цели всегда являются и не могут не являться произвольными, необоснованными, волюнтаристскими. (Помните «волюнтариста Хрущева»?)

Эта неспособность понимания человеческим разумом этого самого общества, которое планируется, ведет к концентрации усилий страны на примитивных, престижных проектах (большой частью бесполезных или даже вредных), вроде поворота течения рек, или, конечно, предельного раздувания и без того гипертрофированной военной машины. *Полное государственное управление любит строить «египетские пирамиды»!*

Автоматическое самоуправление характеризуется преобладающей в стране частной (не корпоративной) собственностью, свободным и сильно конкурентным рынком, отсутствием чрезмерных концентраций экономической, политической, профсоюзной и социальной силы, т. е. отсутствием гигантов и монополий.

В такой системе осуществляется максимальная реализация (и расширение, воспитание) творческих, созидательных способностей населения, ведущая к материальному и духовному процветанию.

Эта система характеризуется социальным балансом и, следовательно, социальной стабильностью, духом сотрудничества, духом индивидуальной и коллективной ответственности за свои дела и, парадоксально, духом коллективизма. Как оказалось, принудительный коллективизм социализма ведет к торжеству крайнего индивидуализма и эгоизма, а свободный индивидуализм общества социального равновесия через добровольные взаимные связи и взаимную зависимость друг от

друга, а не от безличного государства, ведет к общественной солидарности и к ослаблению эгоизма. Узкий личный, так сказать, эгоизм превратится в широкое понимание и ощущение тесной связи личного благосостояния с благосостоянием всего общества.

Общество социального баланса (при достаточно сильной конкуренции) очень чувствительно к любым изменениям обстоятельств. Оно немедленно и легко к ним приспосабливается без всякого шума.

Полноправное участие миллионов граждан в управлении страной (через частную собственность и свободный конкурентный рынок) колоссально увеличивает количество информации (поставляемой жизнью), которая может быть обработана человеческим мозгом, и резко повышает скорость этой обработки для получения миллионов решений в миллионах местных обстоятельств. Риск ошибок минимален, и сами ошибки, будучи индивидуальными и местными, мало отражаются на обществе в целом.

Общество социального баланса работает над своими миллионами решений, как мощнейший компьютер с многими миллионами параллельных процессоров, которые колоссально увеличивают мощность и скорость работы. Никакие реальные компьютеры не могут иметь миллионов параллельных процессоров, которые общество социального баланса в себе имеет. *Социализм же эквивалентен маломощному компьютеру с всего одним процессором.*

Общество социального баланса не строит «египетских пирамид». (Я надеюсь, вы не скучаете по ним?)

К сожалению, система управления в странах Запада ближе к системе полного государственного управления. Имеется определенное господство гигантов и монополий. Настоящая частная (не корпоративная) собственность не является преобладающей. Достаточно свободный, достаточно конкурентный рынок близок к полной ликвидации. Творческий, созидательный потенциал масс подавляется (безработицей, монополиями и гигантами). В результате значительной потери социального баланса наблюдается усиленная поляризация и «классовая» борьба, сотрудничество и чувство общественной взаимозависимости постепенно исчезают. Весьма разумные и настойчивые попытки премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, а также президента США Рональ-

да Рейгана приблизиться к социальному балансу встречаются в штыки и усиленно саботируются как якобы направленные против трудящихся и бедных. Соответственно, результаты оставляют желать много лучшего. Конечно, мы все и народы мира должны быть благодарными Западу, что он все еще удержался от перехода к полной бесчеловечности системы полного государственного управления социализма. В противном случае на земле не осталось бы человеческого убежища.

В заключение хочется отметить связь многих других балансов с утраченным социальным балансом и движением к социализму. Утрата социального баланса привела и на Западе к потере чрезвычайно важного для здорового национального самосознания баланса между религиозной верой, верой вообще, и знанием. Знание может определять наше поведение только в небольшой части. Я думаю, не больше 20%. Остальное определяется нашим кодексом веры, основанном на нашем личном опыте, эмоциях и природном характере. Утрата религиозной веры и веры вообще, приводит людей к потере смысла и направления жизни.

Потерян и баланс между мудростью стариков и энергией молодых. Утрачен баланс между родителями и детьми в деле воспитания детей. Потерян баланс между родителями и управлением школ. Потерян баланс между преступлением и наказанием: преступники процветают. И т. д. и т. п. Только единственная Швейцария, близкая к состоянию социального баланса, все еще сохраняет многие другие балансы.

Мне кажется, что в будущем Российском государстве, которое возникнет на развалинах социализма, мы должны учесть не только наш собственный социалистический опыт, но и опыт Запада: построить наше Российское государство именно на основе социального равновесия. Воссоздать таким образом все остальные балансы и вернуть к жизни высокие духовные и религиозные ценности, так необходимые для материального и духовного процветания человеческого общества.

Истоки

Рута У.

БОЖЕ, КАК ЕЩЕ ХОТЕЛОСЬ ЖИТЬ

Перевод с латышского Элхонона Иоффе

Предисловие Евгения Селги

«Боже, как еще хотелось жить» – так редакторы латышского издательства «Грамату Драугс» («Книголюб») в Нью-Йорке назвали книгу, изданную на латышском языке по записям четырнадцатилетней латышской девочки из Риги, Руты У., которая со своей мамой, бабушкой и двумя младшими сестричками, двенадцати и девяти лет, 14 июня 1941 года была арестована и сослана в Сибирь вместе с тысячами других латышских семей, так называемых «врагов народа» и «чуждых элементов». Эта первая массовая депортация, за которой последовали несколько других, началась ровно через год после вступления советских войск (по тайному сговору с Гитлером) в Латвию, Литву и Эстонию – три самостоятельных прибалтийских государства – и их насильственного присоединения к Советскому Союзу.

В данной публикации читатель сможет ознакомиться с начальными главами этой печальной повести. Написанная правдиво и просто, эта документальная повесть-дневник раскрывает драматические события ареста, вывоза по этапу в Сибирь и жизни в Сибири в жестокой борьбе за существование в холоде, голоде, непосильном труде, болезнях и медленной гибели. Перед читателем возникает образ автора – юной девушки, не по возрасту суровой в своих суждениях о жизни, о судьбе своей семьи, своего народа, местных жителей и в то же время наивно и по-детски восторженно восхищающейся красотами природы и редкими мгновениями радости.

Книга заканчивается возвращением ее автора – Руты У. – и ее сестер из ссылки в Сибирь, где остались могилы бабушки и матери, многих знакомых и соотечественников, в родную Латвию в конце 1946 года, духовно надломленной, с раз-

рушенным здоровьем и ненавистью в душе к своим мучителям.

В послесловии книги, написанном отцом Руты, излагается дальнейшая трагическая судьба этой многострадальной семьи. До января 1950 года все как будто было относительно неплохо. Они жили в небольшом городе Бауска. Рута и ее отец работали на промкомбинате, и Рута училась в вечерней школе. Две младшие сестры тоже учились в школе, как вдруг во время очередной (уже третьей) депортации их всех снова арестовали и сослали опять в Сибирь (на этот раз вместе с отцом). К этому времени Рута уже болела туберкулезом легких. В 1956 году все они были реабилитированы и вернулись в Латвию, где Рута вскоре умерла от туберкулеза.

Записи Руты были тайно вывезены американскими друзьями семьи на Запад и тут же стали готовиться к изданию. Но «недремлющий» КГБ, вскрывающий частные письма, узнал об этом и, угрожая репрессиями отцу Руты и оставшейся семье, заставил остановить публикацию книги. Лишь через десять лет господин У. решился дать согласие на ее издание. В 1977 году книга Руты У. вышла на латышском языке и пережила уже восемь изданий. Она также переведена и издана на английском (США), немецком (ФРГ), испанском (Венесуэла) языках и сейчас готовится к печати на португальском языке (Бразилия).

Евгений Селга

1941 ГОД

После счастливого, беззаботного детства в моей жизни и в жизни моей семьи открылась новая, написанная кровавыми буквами страница – 1941 год.

Этот год навеки останется в памяти латышского народа, ибо он стал годом уничтожения латышей. Тысячи латышей были насильно отправлены коммунистами по далекому пути истребления в сибирские каторжные лагеря и в тайгу. Пройдя через муки и унижения, многие закончили там свой жизненный путь.

Ничтожная часть сосланных вернулась на родину в 1946 году. Главным образом, это были сироты, родители которых

не вынесли страданий. Те, кто сумел выжить, в тяжких муках продолжали задыхаться на чужбине. Но и они один за другим уходили в вечность, и мало кто остался в живых.

Это большое, безвинное братство мучеников. Раны пострадавших никогда не заживут.

НАШ АРЕСТ НА РИЖСКОМ ВЗМОРЬЕ

Занималось утро страшного дня, 14 июня 1941 года, мрачное и дождливое. Какая-то тяжесть нависла и придавила всех, как будто заранее предвещающая что-то недоброе.

Ночью мы слышали, что автомашины проезжали чаще, чем обычно, но о причинах этой езды мы ничего не знали. После завтрака мы с мамой пошли на базар за покупками. По дороге мы увидели грузовики, увозившие людей с пожитками. Женщины и дети плакали и причитали. Из пансионата госпожи П. вывели целую группу людей и усадили в грузовик. У некоторых мужчин за спиной были связаны руки. Наверное, они пытались сопротивляться. Кругом царили большое волнение и беспокойство.

Мы встретили нашу тетю К., которая была чрезвычайно взволнована. Она рассказала, что всю прошлую ночь шли аресты. Смутное чувство погнало меня домой. Идя по улице, я увидела ехавший мне навстречу грузовик с чекистами. На крыше шоферской кабины, согнувшись и держа винтовку в боевой готовности, молодой, высокого роста еврей с растрепанными волосами и в распахнутой шинели. Грузовик медленно продвигался по проспекту, приостанавливаясь у домов как бы в поисках нужного номера.

Я очень хотела, чтобы они поскорее проехали мимо нашего дома – и кончилась бы эта тяжкая неизвестность.

Но внезапно машина остановилась прямо у наших ворот. Высокий еврей что-то прокричал, и все выскочили из машины.

Мгновение я стояла в такой растерянности, что не могла сдвинуться с места. Жаркая дрожь пробежала по всему моему телу. Очнувшись, я кинулась бежать назад к маме, которая уже подходила к дому.

Мы вошли в сад, окруженный чекистами. Они спросили, где папа. Не поверив, что его здесь нет, обыскали все углы, надеясь его найти.

Обрыскав всё без успеха, они приказали нам взять необходимые вещи и приготовиться ехать с ними, но не сказали, куда нас повезут. Их было восемь в охране: один латыш-милиционер, три еврея и четыре монгола.

Милиционер Каугурс отнесся к нам вежливо и сочувственно. Уложили вещи в чемоданы и мешки, продукты – в корзины. Чекисты нас очень торопили и гнали в машину. Усевшись в грузовик, мы увидели, как мимо проехал наш двоюродный брат. Он видел нас и понял, что происходит.

ЛИХОРАДОЧНАЯ СПЕШКА В РИГЕ

Въехав в Ригу, мы увидели, что здесь в еще более усиленном виде происходит эта акция вывоза. Много охраняемых грузовиков, везущих несчастных людей. Нас привезли домой. Там мы нашли бабушку в большом волнении, ибо эти же самые захватчики были у нее ночью – выломали дверь, ворвались в квартиру и устроили обыск в поисках папы.

В лихорадочной спешке паковали вещи, но упаковка толком не поддавалась, ибо что один укладывал, то другой считал ненужным и выкладывал. Тем временем чекисты рылись в папином письменном столе и читали его письма. Один включил радио, чтобы заглушить наш плач. Я перебежала через улицу к нашей старой нянюшке. Она пришла и жалобно заплакала. Я взяла со своего письменного стола фотографию папы и простилась со своей комнатой.

Уходя из дому, я была полностью уверена, что когда-нибудь, хоть через несколько лет, но все же мы обязательно вернемся в Латвию.

Забравшись снова в машину, мы увидели, как много грустных глаз смотрело на нас из соседних окон. Машина зарокотала – и мы покатали прочь от дома, где родились, выросли и пережили столько прекрасных, незабываемых мгновений. Это был самый тяжелый миг нашей прощальной боли, ибо только теперь мы начали понимать и осмысливать наше положение.

Когда родное место стало удаляться от глаз, сердце больно защемило, и слезы затуманили взгляд.

В ОХРАНЯЕМЫХ ЧЕКИСТАМИ ВАГОНАХ

Нас отвезли на Торнякалнскую товарную станцию, но там не приняли, так как вагоны с высылаемыми были уже переполнены. Тогда нас отвезли в Шкиротава, где высадили из грузовика. Здесь стоял и ждал отъезжающих длинный эшелон с решетками на окнах. Привезенных людей загнали в вагоны для скота. Нас поместили в середине одного такого эшелона, где мы нашли несколько знакомых, привезенных еще до нас.

В вагоне были построены два ряда широких двухэтажных нар. На каждой стороне по ряду. Нас было больше тридцати человек.

Так как лучшие места были уже заняты, мы кое-как расположились на нижних нарах и вещи сложили под ними.

У некоторых было с собой довольно много вещей: большие корзины, чемоданы, мешки. Было очень тесно. Трудно, даже невозможно повернуться. Невыносимо спертый воздух. Кто-то выбил стекло в окошке, тогда стало лучше.

Весь день подвозили арестованных. Нас хотели пересадить в другой вагон. Мы умоляли, чтобы не переводили. Учли, наконец, мольбу, и нас оставили здесь.

Еды нам не выдавали. У кого было продуктов побольше, тот делился с теми, у кого их не было. Мучила страшная жажда, но воды не полагалось.

К великому удивлению, нам вернули отнятые на квартире драгоценности. Вооруженные чекисты охраняли вагоны. Ночью они переходили из вагона в вагон, выкрикивая имена тех, кого еще разыскивали. Имя нашего отца тоже часто называли. В Риге мы простояли всю ночь и следующий день.

Днем стало лить. Струи дождя становились все сильнее и сильнее, так что вода потекла через щели худой крыши вагона. Те, у кого были зонты, держали их раскрытыми, чтобы не промокнуть. Всё время было слышно, как туда и сюда ездили автомашины. Казалось, что Ригу опустошали полностью. Снаружи царила большая суета. Люди ходили, бегали. Некоторые кричали, плакали. Безостановочно рокотали машины.

Ночью бушевала гроза и завывал ветер. Внезапно двери вагона отворились. Чекисты приказали, чтобы все мужчины, имена которых будут названы, через полчаса были готовы к переходу в другой эшелон. Многие стали протестовать, так как у них здесь оставались семьи. Их успокаивали утвержде-

нием, что в конце пути все снова встретятся. Сначала все в это поверили, ибо в тесном, переполненном вагоне мужчинам и женщинам находиться вместе было неудобно. Только позднее мы узнали, что мужчины увезены в Москву, чтобы предстать перед судом, где каждому был зачитан приговор, на какой срок каждый осужден*. Оттуда они были отправлены в лагеря каторжных работ.

В последний момент перед отправлением нашего поезда к нашему вагону подбежал чекист и выкрикнул имя моего отца. Его не нашли! Стало легче на душе, мы думали и надеялись, что, может, ему удастся спастись, остаться в Латвии и помочь нашему скорому возвращению.

Ночью с 15 на 16 июня около полуночи мы выехали из Риги навстречу неизвестности. Ночь была темной и жуткой. Дождь лил беспрерывно, грохотал гром, и завывал ветер. Молнии рисовали свои огненные знаки. То тут, то там в вагоне были слышны крики и плач. Было безысходно мрачно. Казалось, вся латышская земля в эту ночь дрожит в слезах и муках. Никто из нас ни на мгновение не сомкнул глаз этой ужасающей ночью. Мы прощались с родиной, и наши губы шептали одно слово: Латвия! Эту страшную и мрачную ночь не забыть вовеки.

ПО ДОРОГЕ В СИБИРЬ

Рига – Даугавпилс – Великие Луки – Ржев – Москва – Щербаков – Ярославль – Иваново – Горький – Киров – Молотов – Свердловск – Челябинск – Петропавловск – Омск – Новосибирск.

Ранним утром мы приехали в Даугавпилс. Поезд на короткий момент остановился. К вагонам подходили люди и несли нам съестное и питье. Охрана их не подпускала, но наиболее ловкие все же сумели передать нам свои припасы. Среди подносящих было много старых тетушек, которые горячо просили брать и не отвергать их приношения.

* Эшелоны с мужчинами, как это выяснилось впоследствии, были отправлены прямо в лагеря. Приговоры, вынесенные каждому в Москве, им сообщили лишь через несколько месяцев, а некоторым даже год спустя. Это были заочные приговоры, с заранее определенным сроком наказания.

Многие из заключенных писали записки и отдавали их незнакомым людям, прося передать по назначению. Другие выбрасывали написанные записки на ходу поезда. Они описывали наше положение и предупреждали оставшихся о подобном бедствии. Были записки и такого содержания: «Отомстите за наши муки и унижение!»

Когда мы уезжали из Даугавпилса, много людей стояло вдоль ограды железной дороги; плача, они махали нам на прощание платками. Белые платки и опечаленные люди за оградой было последнее прощание нашей родины.

Переехав латвийскую границу, мы сразу же попали в совершенно иной мир, который был совсем не похож на латвийскую землю. Посреди сиротливых, заброшенных полей стояли полуразрушенные хибары без крыш, неприглядные дома, по большей части нежилые, что заставило нас содрогнуться, ибо показалось, что и нам придется жить так же.

В Великих Луках, где нам выдали первый обед, я шла за ним под конвоем.

Москву мы проехали ночью, так что города не увидели. На следующей остановке в Щербакове (бывшем Рыбинске) нам дали рыбный суп и компот. Мы, правда, и не ожидали получить такие яства.

Некоторые остановки были ночью, но за едой мы все же шли. Иногда нам давали подгоревшую пшеничную кашу. Хлеб был выпечен в формах, сильно пересолен, к чему мы позднее привыкли. Сохранились у нас еще и свои запасы хлеба и других продуктов из дома. Так что на голод мы не жаловались.

Дальше, по пути, мы встречали эшелоны с ссыльными из Литвы и Эстонии. В окнах вагонов можно было видеть тоже только женщин и детей.

Мы продвигались вперед очень медленно, так как из глубины России и Сибири шли нам навстречу несчетные военные эшелоны. Они направлялись в Европу. Мы не могли толком понять, что все это могло значить. Рассуждали всяко. Может, они едут пополнять войска, размещенные в Прибалтике, или принять участие в акции по высылке. Прикидывая различные варианты, мы с большим интересом ждали дальнейшего развития событий. Так как магистраль железной дороги была перегружена военными эшелонами, нас везли по смежным дополнительным путям. Во многих местах мы останавлива-

лись и подолгу ждали. Похоже было, что нам придется пробыть в пути еще долгое время.

Когда мы проезжали через Ярославль, на остановке нас впервые выпустили из вагонов. Поблизости был небольшой пруд, в котором мы смогли помыться. Здесь же мы встретили знакомых из других вагонов.

В пути умерло много маленьких детей и грудных младенцев, не вынесших ужасных условий. Их выносили из вагонов и тут же, недалеко от путей, закапывали.

Самые большие трудности были с водой. Часто после сильно пересоленной пищи нас мучила страшная жажда. Иногда мы получали чистую воду, но нередко нам приносили грязную, желтую, зачерпнутую тут же из канавы у полотна. Воду нам приносил какой-то русский заключенный, кому эта работа была поручена. Он был всегда очень голоден и с большой жадностью брал хлеб и другие продукты, которые мы ему давали.

Приближались к Горькому. Кругом было много болот и торфяника. Потом приехали в Киров. Здесь в наш вагон подсадили еще десять человек. Стало еще теснее и неудобнее.

В некоторых вагонах только сейчас отделили мужчин от женщин, перевели их в особый эшелон и увезли в Вятский и Соликамский каторжные лагеря. Там в первый же год почти все умерли от голода и ужасных условий.

За Молотовом, на значительном от него расстоянии, мы достигли Больших Уральских гор. Я восхитилась этой дикой, красивой природой, скалистыми горами. Кое-где были видны небольшие хижины и возделанные огородики. То тут, то там виднелись озеро или речка, бегущая между горных камней. Многие горы поросли хвойными лесами: соснами, елями, а также и лиственными деревьями. На какой-то горной остановке худые, бедно одетые русские женщины вынесли топленое молоко в обмен на хлеб. Денег они не брали, говоря, что на них ничего не купишь — всё очень дорого. Мы отдали им весь свой хлеб: он был невкусный. Мы знали, что на следующей станции мы его снова получим. Хлеб у нас не переводился. Топленое молоко сначала нам с непривычки не понравилось: оно было очень жирное, с толстыми коричневыми пленками. Позднее оно стало нравиться нам.

Нам разрешили держать двери вагонов немного приоткрытыми, так что мы могли видеть пробегающие мимо пейза-

жи. Два дня мы ехали через Урал. Пересекши Уральские горы, границу Европы и Азии, достигли большого железнодорожного узла – Свердловска, где сходятся железнодорожные линии Европы и Азии, а также севера и юга. Свердловск – самый большой город на Урале.

Очень, очень хотелось узнать что-нибудь о внешнем мире, о политической ситуации, а также – почему в таком большом количестве перевозят солдат и военную технику в сторону Европы. Но узнать что-либо было невозможно. Тем не менее мы надеялись что-нибудь выяснить в этом большом городе.

Это было накануне Лиго*. Недалеко от нашего вагона стоял какой-то железнодорожник и читал газету. Госпожа Е. бросила ему коробочку папирос и попросила, чтобы он за это кинул нам газету. Сначала он был очень сдержан и не хотел пускаться с нами ни в какие разговоры, но в ответ на повторные просьбы скомкал газету в виде шарика и ловко закинул ее между прутьями решетки в окно вагона.

Жадными глазами мы читали газету, где на первой странице большими буквами было напечатано, что 22 июня 1941 года началась война между Германией и Советским Союзом. Эта новость была первым радостным известием и придала некоторую уверенность нашим слабым надеждам. Об этом известии мы говорили теперь беспрерывно, рассуждали и делали всякие выводы. Возникла даже такая совсем смелая мысль, что, может быть, наш эшелон отправят назад. Эта мысль, как радостная весть, распространилась быстро. Во многих вагонах стали уже праздновать Лиго. И у нас тоже зазвучали песни Лиго и другие народные песни. Было весело, и все думали, что вот и мы будем спасены, но эшелон стоял и не двигался... Загремели военные фанфары, но мы были уже далеко, в глубине России.

Из Свердловска мы поехали на юг, чтобы освободить путь военным составам, которые огромным потоком стекались в Европу. На поворотах железнодорожного полотна через щель в дверях можно было видеть, какой нескончаемой длины был наш эшелон. Наш вагон находился в середине, и за нами тянулся предлинный ряд других вагонов. В Челябинске рус-

* Латышский праздник, соответствующий славянскому дню Ивана Купалы. – Р е д.

ские женщины продавали нам вкусный клюквенный сок и русские пироги.

Проехав Курган, мы стали приближаться к Петропавловску. Стали исчезать горы, началась равнина, с широкими сухими степными пространствами. Не видно было ни домов, ни людей. И лесов не было видно. Кое-где редко разбросаны небольшие, мелкие кустарники. И все это необъятное пространство покрывала сухая степная трава.

Вечерами, когда садившееся солнце, как красный огненный шар, озаряло багровым отсветом все лица, становилось особенно грустно и тяжело... Луна, проплывая над тихой степью, излучала свой холодный свет... Снова приходила ночь, темная, мрачная и безмолвная. День за днем все дальше и дальше катил эшелон. Казалось, что он никогда не достигнет своей цели. Когда въезжали в какой-нибудь город, то настроение становилось несколько лучше, чем среди степной равнины.

С каждым километром мы оказывались все глубже в Сибири, и все мрачнее становилось на душе. Наши надежды, возродившиеся в Свердловске, снова стали улетучиваться.

Ночью мы приехали в Омск, там нам выдали пшеничную кашу с творогом и изюмом. На подъезде к следующему городу нам сказали, чтобы приготовились: будут высаживать. Это было новым, большим волнением, так как появились слухи, что теперь детей отделят от матерей и поместят в детские дома, т. е. приюты, а матерей отправят на работы.

Сложили в большой мешок наши одеяла и подушки и упаковали другие вещи. Сидели в неведении и ждали, что с нами теперь будет. Так мы приехали в Новосибирск – столицу Сибири. Здесь отперли двери нашего вагона и выпустили всех наружу. Потом приказали всем вместе пересаживаться на большую баржу, чтобы двинуться дальше в сибирские «деревни».

НА БАРЖЕ ПО ОБИ

Привезли нас к небольшой пристани, где была пришвартована баржа огромного размера. На таких баржах по сибирским рекам перевозят грузы. Сама пристань тоже была оборудована на старой барже, так что сначала мы не поняли, на какую нам грузиться.

Вниз баржи вели широкие, крутые ступени. Нам указали наше место: внизу, в носовой части. Всех людей нашего эшелона разместили в этой же части баржи. На другом конце находился уже раньше привезенный эстонский эшелон.

Если нужно было подняться на палубу баржи, то было трудно добраться до лестницы, так как все кругом было забито людьми. Надо было перешагивать через лежащих людей и вещи. Не повезло тем, кто находился вблизи лестницы: их все время тревожили, им не было никакого покоя. На пристани можно было кое-что купить. Тут продавали сметану, творог и русские пироги с капустой и яйцами. Было даже мороженое. Мы купили кружки и тарелки, так как свои забыли взять из дома.

Подвезли новые эшелоны, что следовали за нами. Этих тоже пригнали на нашу баржу. В общем, здесь оказалось четыре эшелона: три латышских и один эстонский. На барже мы почувствовали себя свободнее, чем в поезде. На обширной палубе можно было прогуливаться. Мы не были также разделены вагонными стенами, а находились все вместе. В большой толпе бодрее себя чувствуешь. В подъезжавших эшелонах можно было встретить знакомых.

Когда наконец всех погрузили на баржу, ее потащил большой буксир.

Спать на барже было гораздо хуже, чем в вагоне, так как там, по крайней мере, у каждого было свое место на нарах, а здесь все должны были устраиваться на своих вещах. Приходилось спать в скрюченном положении. Вытянуть ноги было невозможно. Спать в таком виде было трудно, и ночи были мучительными и долгими. Не было здесь также и питания, которое мы получали в поезде. Каждый день нам давали жижу из переквашенной капусты, сдобренную прогорклым постным маслом. Эту жижу почти никто не ел, за исключением тех, у кого не было своих продуктов, взятых еще из дому. И хлеб выдавали более скудно, чем в поезде.

Однажды днем случилось с нами несчастье. Мы сидели на своих вещах и обедали. Внезапно с палубы через открытый люк прямо на нас свалилась какая-то молодая женщина. Наше место было прямо под люком. Женщина была пьяна и, не устояв на ногах, свалилась в люк. Больше всех пострадала бабушка и младшая сестренка. Бабушка получила сильный удар по голове, и она у нее потом долго болела. У сестры по-

явился большой синяк под глазом. Вся купленная посуда была перебита, а также разбилась банка с маслом. Нам пришлось масло растапливать и процеживать сквозь марлю, чтобы очистить его от осколков стекла.

Большую часть дня мы, помоложе, проводили на палубе, а бабушка оставалась внизу с вещами. Она не хотела карабкаться по крутым ступеням и преодолевать настоящие мучения, чтобы добраться до лестницы.

Нам казалось странным, что везущие нас не боялись, что мы можем убежать, ибо на барже не было ни одного охранника, кроме одного чекиста, нашего начальника, который должен был доставить нас по месту назначения. Но, прикидывая возможности побега, каждый понимал, что они очень малы. Однако позднее появились слухи, что кое-кто из парней, узнав о начале войны, сбежал и добрался до Латвии.

Мы плыли по большой сибирской реке – Оби. Баржа медленно скользила по течению на север. Проехав несколько дней, мы заметили, что за нами плывет большой белый пароход. Распространились слухи, что на пароходе везут мужчин, отделенных от нас в поезде. Когда пароход подплыл ближе, мы увидели на нем много женщин и детей, а также юношей, только-только достигших совершеннолетия. Их потом отчислили и увезли куда-то.

Белый пароход присоединился к нашей барже, и мы поплыли рядом. На пароходе разместились один латышский и один эстонский эшелоны. Там мы встретили знакомых. На кухне парохода продавалась еда, но ее так быстро раскупали, что всем не хватало. Помню один красивый летний вечер. Стояла теплая, приятная погода. У некоторых латышей и эстонцев были аккордеоны и скрипки. На скорую руку они составили оркестр. Над баржей поплыли милые звуки латышской музыки. Многие молодые стали вращаться в танце... Было так странно слышать мелодию вальса «У янтарного моря», звучащую над широкой Обью. И жизнерадостные парни и девушки, одетые в свои лучшие одежды, кружились в вихре танца. В молодости невзгоды так долго не подавляют, как в старости. Но для многих, очень многих этот странный танец в багровом озарении заходящего солнца над широкой Обью был последним в их жизни! Об этом мы тогда еще не знали и даже не могли себе представить, как много молодых латышских парней и девушек очень скоро будет покоиться в этой чужой земле.

Вместе с радостью танца было так страшно... Кругом широко открывались взору дикие и мрачные пейзажи. Обь — одна из самых широких рек в мире, и здесь она раскрывала все свое могущество. Местами она была так широка, что невозможно было разглядеть ее берегов. Казалось, что мы плывем по морю. Особенно сильно Обь разливается летом, выходя из своего русла и затапливая берега. На высоких берегах росли деревья. Фруктовых садов я не видела. Здесь, наверно, зимы очень холодные. Проплыв сотни километров, мы не увидели ни одного дома, ни одной деревни. Все так мрачно и жутко, и мы скользили все глубже в этот безлюдный, как бы опустошенный мир. Мы начинали понимать, что нас преднамеренно увозят подальше от всяких путей сообщения, чтобы затруднить бегство и возвращение на родину.

НАС ПРЕВРАЩАЮТ В НЕНУЖНЫЙ ГРУЗ

Уже прошла неделя, как мы плывем по реке. Из-за тесноты на барже соблюдать чистоту невозможно, как и невозможно уберечься от заражения болезнями. Установили много случаев заболевания тифом. Никакой врачебной помощи не было. Не было возможности изолировать больных, ибо не было свободных помещений. Мечась в горячке, больные лежали в ужасной грязи рядом со здоровыми. С большим нетерпением мы ждали, когда нас где-нибудь высадят на берег, иначе нам всем не избежать этой страшной болезни. Положение становилось все серьезнее.

По берегам реки кое-где стали показываться то домишко, то захудалая деревушка с маленькими, бедными хибарами. В одном месте выкрашенная в синий цвет лестница вела наверх, на высокий берег реки, к серому поселку. Позднее мы узнали, что это город Колпашев. Комендант нашей баржи, офицер НКВД, сошел на подъехавшую маленькую лодку. Она пристала к берегу, и он поднялся по лестнице наверх. Вернувшись, он сообщил, что главный комендант города не хочет нас принять. Это нас глубоко задело и оскорбило. Подумать только, нас вырвали из наших домов, из родной земли, увезли далеко на чужбину и здесь возят, как рабов, предлагая бедным русским деревням поселить нас где-нибудь на своих задворках, иначе хоть оставайся под открытым небом.

Поплыли дальше. На следующий день пристали у маленького городка Парабель. Белый пароход поплыл дальше на север, в Шпал-завод.

К нашей барже пристало несколько барж поменьше. Нас вызывали в таком порядке, как мы были в вагонах, и распределяли по малым баржам, которым предстояло развезти нас дальше по колхозам. Часть людей оставили тут же в Парабели. Как мы потом узнали, эти оказались самыми везучими. Тех немногих мужчин, которые ехали в нашем эшелоне и у которых не было семей, посадили на одну малую баржу и увезли на какие-то лесопильные заводы. Между ними были некоторые известные латышские общественные деятели, как Динсбергс, Спилва, Дамбекалнс. Они сердечно простились с нами, остальными латышами. Наша семья оказалась на небольшой барже вместе с людьми из нашего и соседних четырех вагонов.

Когда все вещи были перенесены с большой баржи на малую, мы продолжили путь. Было грустно проститься со всеми остальными соотечественниками. Все это время мы держались вместе и чувствовали себя как большая, сильная семья, в которой горе и трудности переносятся легче. Теперь нас разлучают и делят на малые части. Так нас, латышей, рассеяли, как пылинки, по громадной России.

ВСЕ ГОРЕСТНЕЕ СТАНОВИТСЯ НАША ПЕСНЯ

Был теплый, тихий летний вечер. Мы еще слышали грустные звуки песни «Вей, ветерок», которую пели оставшиеся на берегу, она еще долго звучала у нас в ушах и постепенно растворилась в полной тишине.

Нашу баржу тащил маленький буксир. У баржи была дощатая крыша, что защищало от ветра и дождя. Штурман, он же и лоцман, был древний старичок, с длинной белой бородой. Он не умел ни читать, ни писать, но реку знал, как в своей хижине стены. Он был очень душевный и разговорчивый. Позднее выяснилось, что он латыш. Его родители приехали в Россию, когда он был еще ребенком. Они умерли, и он остался один. Поэтому, всю жизнь проживши в России, он совершенно забыл латышский язык. Нас очень поразило, что здесь, в далекой Сибири, нам привелось встретить латыша былых времен.

Но позднее нам приходилось встречать и других латышей, что осели здесь еще до Первой мировой войны.

Когда мы высаживались с баржи, латышский старичок, прощаясь с бабушкой, подарил ей кусок сахарной головы.

Мы плыли весь день и всю ночь. На следующий день из широкой Оби выехали в ее меньший приток – Парабель. По мере нашего продвижения река становилась все уже. Мы сидели тихо и ждали того места, где нам суждено увядать.

После обеда наша баржа подплыла к небольшой деревушке – Петкуль. Перекинули на берег длинную доску, по которой нам пришлось сползать вниз на берег. Тем, у кого вещи были побольше и потяжелее, было трудно выбраться на берег. Некоторые, волоча тяжелые чемоданы, сваливались в воду, где изрядно вымокли. Как только мы выгрузились с баржи, она отчалила. Людям одного из вагонов нашего эшелона велели оставаться здесь, в Петкуле. За их вещами приехали две подводы. Остальным, из других трех вагонов, в том числе и нам, сказали ждать, пока из других колхозов приедут за вещами.

Второй вагон был отправлен в Покровку, третий – в Малый Чигас, а наш – в Большой Чигас.

Так через месяц пути наши ноги вновь коснулись земли. 10 июля 1941 года мы приехали в колхоз Большой Чигас Парабельского района Новосибирской области, примерно за шесть тысяч километров от нашей Латвии.

В КОЛХОЗЕ ЧИГАС

Вскоре мы дождались своих подвод. Уложили вещи и на них усадили бабушку, которая была слишком слаба, чтобы пройти пешком восемь километров до деревни.

Дорога была ужасная. Она шла через заболоченное место. Так как совсем недавно прошли сильные дожди, ее затапило. В некоторых местах были такие лужи, что колеса утопали в них до рессор. Туфли пришлось снять и шагать босиком. Мы не привыкли ходить босиком и поэтому продвигались вперед очень медленно, ушибая ноги о сучья, которых здесь было ужасно много. Подвода кренилась то на одну, то на другую сторону, и бабушке с трудом удавалось удержаться на ней. Слабые, изможденные лошадки еле-еле волочили навьючен-

ные подводы. В лесу, которым мы ехали, было очень много комаров, и мы были просто счастливы выехать в поле. Проехали бедную деревушку Покровку. Здесь должны были обосноваться люди из второго вагона. Через несколько километров достигли Большого Чигаса. Это место было предназначено нашему вагону.

Из всех окон на нас смотрели любопытные глаза. Подвода остановилась у какого-то большого дома. Это оказалась школа. Она состояла из двух комнат побольше и одной поменьше, большой кухни и передней. Мы внесли свои вещи в большие комнаты, расстелили одеяла на полу и легли спать, ибо очень устали.

Большой Чигас находился на пригорке. С одной стороны его огибала речка – Малая Парабель, за которой видна была непроходимая лесная чаща, с другой стороны были поля и луга.

Кое-как начали привыкать к жизни в школе. Это было самое большое, недавно построенное здание в поселке, с большими окнами и высокими потолками. При школе был небольшой огород. Русские приходили каждый день целыми гуртами подивиться на нас. Наш приезд был для них большим событием. Никогда еще в своей жизни местные жители не видели так хорошо одетых людей, поэтому им недостаточно было на нас смотреть, они еще и ощупывали нас. Сами они были одеты в серые лохмотья.

Как-то днем неожиданно к нам приехал так называемый комендант. Он выдал всем взрослым справки, которые должны заменить паспорта на двадцать лет. Позднее он также приезжал каждый месяц нас регистрировать, проверяя, не убежал ли кто.

Староста деревни издал приказ, по которому к определенному числу мы должны были освободить помещение школы и найти прибежище у жителей деревни.

Выселив нас из школы, еще больше рассеяли латышей. В последний, прощальный вечер мы собрались все вместе, пели наши народные песни и разговаривали о далекой родине. Было очень грустно...

Небольшие семьи легче нашли себе новый приют. Нам, пятерым, пришлось трудно, поэтому еще на какое-то время нам разрешили остаться в школе. Из-за непривычной еды и плохой воды бабушка заболела дизентерией. Долгое время

мучилась она этой болезнью. Совсем ослабела, и, казалось, она не выживет, однако поправилась, хотя медицинской помощи не было никакой.

ЖИВЕМ У РУССКИХ

После долгих поисков мы наконец нашли квартиру у одной добросердечной русской женщины. Мы заняли маленький уголок в небольшой комнате, где всех нас вместе жило девять человек. Жизнь здесь была весьма непривычной и неудобной. Деревенские жители чувствовали себя теперь смелее и уже с утра стояли у дверей квартиры и смотрели, как мы одевались и что ели. Лето здесь было жарче, чем в Латвии, и в жаркие дни воздух был полон мелкой мошкары, которая забиралась под одежду, в уши, в ноздри, высасывая кровь. Это было очень болезненно и изнурительно.

Взятые из дома продукты иссякли, и мы стали выменивать одежду на еду.

Первое время нам давали по килограмму хлеба на человека. Потом перестали. Заставляли вступить в колхоз. Но мы пока не хотели связываться с колхозом, ибо слышали, что развязаться с этим нелегко.

Появился первый снег, а мы все еще не хотели верить в горькую правду, что нам придется здесь провести долгую, суровую зиму. Мы чувствовали себя, как перелетные птицы, которым пришел последний срок улетать, пока холодная зима не заморозила их. Но мы должны были с болью подавить все свои чувства и тоску по далекой родине и приготовиться встретить то, что нас ожидает.

Зима здесь суровая и тянется восемь месяцев. Иногда поднимаются сильные ветры со снежными метелями. Их называют здесь буранами. Нас однажды застал в пути такой буран. Мы ходили в село Чигас, находившееся от нас в восьми километрах, чтобы выменять какие-нибудь продукты на оставшиеся вещи. На обратном пути нас настиг буран. В лесу мы его еще не чувствовали, но, когда вышли в открытое поле, ветер стал швырять нас на землю. Дорога была замечена, идти было трудно, к тому же мы были увешаны мешками с мукой — за одно шерстяное платье мы получили пуд муки крупного помола. Хорошо, что дом был уже недалеко. Наконец, мы

счастливого до него добрались. И тогда засвиристывал настоящий буран.

Иногда мы шли проведать наших земляков. У одного украинца, у которого тоже жили латыши, был патефон. Когда мы туда приходили, он с большой охотой ставил его на стол и разрешал нам самим его заводить. Правда, пластинки у него были лишь с танцевальной музыкой. Так мы проводили несколько отрадных часов, слушая музыку и говоря о родине. Проходила зима – в большом беспокойстве и ожидании, что нам принесет весна 1942 года. Из маленькой местной деревенской газеты, которую мы иногда получали, мы узнавали, что немецкая армия быстрыми темпами занимает и оккупирует обширные области России.

Весна приходила медленно. Наша хозяйка отказала нам в квартире. Другая женщина сдала нам будку, служившую хлевом для скота. Будка была в весьма жалком состоянии, ее нужно было отремонтировать.

Взялись деятельно за работу. Сначала нужно было выгнать большое количество навоза, нижний слой которого был еще замерзшим и поэтому с трудом поддавался. Вычистили его в несколько дней. Правда, руки были в сплошных мозолях и ужасно саднили. Крыша была совершенно прогнившей, ее нужно было заново перекрывать. Для этого из леса мы принесли прямых, длинных сучьев, обтесали их и уложили поверх перекрытий. Так как досок не было, мы обошлись березовой корой. В лесу было много комаров и тучами стояла мелкая мошка, и, пока мы отдирали нужное количество коры, это причиняло нам большие страдания. Поверх сучьев мы настелили мелкого хворосту, на него уложили кору, а поверх коры насыпали толстый слой песка, покрыли его дерном – и крыша была готова. Тогда мы замесили глину и обмазали ею стены хижины, выравнивая поверхность дощечкой.

Важнейшим делом было построить печку. Где взять кирпичи? Не оставалось ничего другого, как попробовать самим изготавливать кирпичи. Достали большое корыто, в нем размешали глину, белый песок и лошадиный навоз с водой. Все это нужно было раздобыть и принести с отдаленных мест. Правда, навоз мы собирали на дорогах и брали на колхозной конюшне. Все это мы высыпали в корыто и месили ногами, пока замес получился густым и ровным. Тогда замес заложили в формы, сжали и вывалили на старые доски; на солнце он затвердел и

превратился в кирпич. Замесили изрядное количество корыт, чтобы получить нужное число кирпичей. Один местный старичок за 150 рублей сложил нам большую печку.

Вырыли небольшой подвал. Не хватало досок для пола. Пошли с Л. на поиски. Пришли на колхозную конюшню. Во время обеда там никого не было. Мы незаметно пробрались вовнутрь. Со стен – за стойлами и в других местах, где доски были слабо прикреплены, – отодрали несколько и через маленькое окошко выбросили их в сторону речки. Затем стащили их с крутого берега вниз и так, берегом, понесли к нашему хлевушку. Тут мы их почистили, отмыли, распилили на нужную длину и настелили себе пол. Оставшиеся доски использовали для дверей и окон. Не было стекол. Что делать, пошли снова с Л. – на этот раз в наше старое жилье, в школу. Колхозники были в поле, так что мы могли действовать без помех. Мы вскарабкались к окнам со стороны леса, отогнули с наружной стороны стекол гвоздики и вынули стекла. Спрятали их под тряпки, отнесли в свой хлев и вставили в оконца. Затем вычистили комнатку и перенесли в это наше новое жилье свои пожитки.

ЖИЗНЬ В ХЛЕВУШКЕ И ЗАБОТА О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ

Здесь мы чувствовали себя лучше, чем на предыдущем месте. За нами не следили на каждом шагу любопытные глаза русских. Но с наступлением лета нас заставили ходить на колхозные работы. Правда, ходили мы не часто. В лучшем случае можно было заработать 300 граммов хлеба в день. Уж лучше пойти за грибами и ягодами.

Иногда мы купались в речке Парабели. К сожалению, она была сильно засорена. По ней плавало много досок и бревен. Мы на них натыкались и царапались.

За рекой раскинулись громадные леса, где не было никаких дорог. Вероятно, человек еще ни разу не проезжал через них. Даже местные жители не знали, что находится за этими лесами. На опушке росла земляника, крупная и сладкая. В зеленой траве березовых рощ она выглядела, как рассыпанные красные пуговицы. Это было самое красивое место во всей округе. Через рощу протекал маленький ручей. Весной по его берегам росли пахучие фиалки и ранние грибы. В боль-

шой лес ходить по грибы было опасно: можно было легко заблудиться.

В тех дремучих лесах огромные деревья, которых не касалась рука человека, мирно отживают свой век, засыхают, падают от сильных ветров, покрываются плесенью и мхом и наконец вырастают в траву.

Как-то нам случилось углубиться в лес, ибо грибы на опушке были все обобраны. На краю леса был пригорок, но дальше чаща вела в низину. Здесь тайга была густой и мрачной. В чащобе сквозь ветви деревьев едва можно было разглядеть синеву неба. Лишь изредка чирикнет какая-нибудь птичка. Да откуда-то издалека донесется кукование кукушки. Было страшно и дико, и мы пустились бежать вон из леса.

Случись кому-нибудь, кто не знает местности и плохо умеет ориентироваться, войти поглубже в лес – если не подоспеет помощь, безнадежно пропадет. Если это случалось с кем-нибудь из жителей колхоза, то тут же объявлялась тревога. Все колхозники шли искать пропавшего. Непрерывно звонили в подвешенный лемех плуга, как в колокол, чтобы заблудившийся мог сориентироваться по звуку. Часто из-за сильного ветра звуки колокола в лесу было трудно расслышать.

За малиной ходили в другую сторону – за хлебные поля. Кусты малины, черной и красной смородины росли вдоль полей, достигая большой высоты. Росли они также и в тайге. Кое-где можно было найти бруснику, чернику и голубику. Особенно много этого было за старым развалившимся сараем, за хлебными полями. В более влажных местах жило много змей.

Ходили в березовую рощу срезать мелкие веточки, из которых вязали веники. Здесь опять-таки были тучи комаров, от которых невозможно было отбиться. Березовые метлы на зиму засушивали и давали зимой худым колхозным овцам как корм.

Подшло время дергать лен. Колхозные нормы были очень высокие. Никто не мог их выполнить. По размеру выполненного от нормы мы получали количество хлеба. Сначала эта работа казалась нам очень трудной, ибо никогда прежде мы этого не делали. Потом привыкли. Если попадался хороший, чистый лен, мы быстро продвигались вперед.

После уборки хлебов мы должны были собирать оставшиеся на полях колосья. Потом начался сбор картошки и овощей.

В тайге росли некоторые пригодные для питания растения. Одно из них – колба – напоминает наш ландыш, по вкусу же похоже на чеснок. Ее даже на базаре продавали. Русские заготавливали колбу на зиму. Мелко нарезали и в какой-нибудь посудине замораживали, и так она стояла всю зиму.

Русские рассказывали, что их сюда привезли, чтобы они строились и начали здесь новую жизнь. Многие болели цынгой, так как есть было нечего. Тогда они стали варить и есть разные травы. В особенности они заметили эту колбу, при помощи которой вылечивали цынгу. С тех пор колба у них в большом почете. Мы тоже ходили ее собирать. Весной она была мягкая и сочная, летом же становилась твердой и невкусной. Приятнее всего она сырая, с солью и хлебом. Было и такое растение, которое напоминало морковь, только с мелким корешком. Среди растений некоторые были очень ядовиты.

Подошел мой 15-й день рождения. Из грубой муки мама испекла небольшой крендель и сварила кофе. Наша жизнь становилась все трудней, ибо все меньше оставалось вещей для обмена на продукты. За оставшееся мало что можно было получить. Местные жители уже неплохо приоделись в наши вещи, к тому же при их бедности у них не было больше продуктов для обмена.

Снова пришла осень. Надо было думать, как застраховать себя от суровой зимы. Нанесли много соломы и построили вокруг нашего домика толстую стену из соломы, чтобы спастись от свирепых ветров.

Еще поздней осенью мы ходили по грибы. За них мы могли получить немного денег и хлеба. Ходили в дальний чигасский лес, где можно было собирать и орехи. Это был большой лес. В основном там росли кедры, хвойные деревья, в шишках которых находились маленькие орешки. После бури или большого ветра земля была усыпана упавшими кедровыми шишками. Мы их собирали, приносили домой, вытряхивали орешки, поджаривали на сковороде и ели. Орешки были масляные и вкусные.

Русские умели готовить жевательную резинку. Ее пекли из еловой смолы и продавали на базаре. Резинка была горьковатой на вкус. Жевали ее все: молодые и старые.

На коре многих кедров были сделаны специальные надрезы, по которым стекала смола. Собранную смолу отправляли для дальнейшей обработки.

Пришла зима с большими холодами и глубокими сугробами. Деревенские избушки были занесены толстым слоем снега. Поднималась такая пурга, что из окна ничего другого не было видно, лишь одни снежные вихри. Только ветер гудел за стенами нашей будки. Перед дверьми образовались большие сугробы. Нужно было порядком покопать, чтобы выбраться наружу. Мороз все время стоял около 40 градусов. Эта зима обещала быть намного суровей, чем прошлая.

У нас кончились дрова. Хочешь не хочешь, а надо было отправляться в лес, чтобы их нарубить и привезти.

На дворе холодный воздух перехватывал дыхание и слезы выступали из глаз. Снег громко хрустел под ногами. Воздух был наполнен белым туманом, который днем заслонял солнце, а ночью – звезды. Деревья были покрыты белым инеем. Непрерывно падали мелкие снежинки, покрывая инеем деревья, землю, замерзшие реки и озера. Тайга за рекой выглядела, как застывшая пенистая волна. По временам в поселке на морозе трескали крыши домов. Деревья были белыми с верхушек до самой земли. Они стояли в ряд, обнявшись заиндевелыми ветвями, как громадные, пышные ледяные цветы.

Брови и ресницы становились тоже белыми от инея. Было трудно дышать, но ничего не поделаешь – надо было браться за работу, идти трудиться. В лесу снег доходил по пояса. Мы выбирали прямые и толстые деревья, спиливали их, затем распиливали на короткие бревна и заволакивали на санки. Было трудно пилить без привычки: никто из нас толком этого не умел, но, вработавшись, мы начали неплохо с этим справляться. Погрузивши бревна на большие сани, мы, напрягшись, тащили их домой, где распиливали на короткие и раскалывали на дрова. Бревна были такими замерзшими, что, когда их кололи, они трескались с грохотом.

В поисках сухих дров ходили также за поля, в березовую рощу. Возвращались домой совершенно замерзшими. Да и одежда наша была неподходящей, чтобы в такой мороз ходить в лес дрова пилить. У нас не было высоких, теплых валенок, потому, чтобы снег не набивался в чулки, мы перевязывали ноги полотенцами. Нашу старенькую хижину невозможно было натопить. Перекладины потолка, дверные и оконные

рамы были белыми от инея. Оконные стекла покрылись толстым слоем льда, так что в комнате был полумрак. Мы стояли съевшись и плели рыболовные сети, за которые получали немного хлеба и денег. Надо было залатать и собственные лохмотья, чтобы они совсем не развалились.

В длинные зимние вечера мы шли спать рано, чтобы экономить освещение. Керосиновая коптилка сильно коптила. Лежа рассказывали всякие истории, пока не засыпали. Вечерами, перед сном, залезали на крышу домика и кусками коры и кирпичами закрывали трубу, чтобы задержать тепло.

В нашем маленьком подвале под полом дома померзла картошка. Пришлось есть ее такую – сладкую и неприятную. Картофельную шелуху мы растирали и пекли из нее лепешки.

Иногда приходили письма от знакомых из Красноярского, Каргосовского и Парабельского районов. Письма приносили нам печальные известия. В первую зиму многие латыши не выдержали тяжелых условий и умерли, особенно маленькие дети и пожилые люди.

СУДЬБА ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ КОЛХОЗНИКОВ

Из нашей и соседних деревень как последний резерв призывали в армию некоторых совсем молодых колхозников. Снова появилась надежда, что войне скоро конец, ибо власть считала этих призывников неблагонадежными. Они не были мобилизованы в начале войны, теперь же их отправляли на фронт как последнюю силу. Эти люди так же, как и мы, считались «спецпереселенцами». До Октябрьской революции они жили зажиточно, за что были изгнаны из дому и сосланы в Сибирь. В Сибири им указали некое лесное, заболоченное место для застройки и житья. Здесь они положили свои силы и здоровье, строя хибары и обрабатывая землю.

Сначала строили примитивное жилье, потом – получше. Когда прижились, стали приобретать и коров. Но как только они устраивались получше, их тут же переселяли на другие земли, где все приходилось начинать сначала. Естественно, что от такого бессмысленного переселения, ужасных условий и тяжелого труда многие погибали, некоторые же сами кончали с собой.

Оставшиеся в живых превратились в подобие животных. Каждый день их гнали на тяжелые работы, где они зарабатывали себе на существование. Понятно, что у них уже не было ни энергии, ни желания жить, чтобы улучшить свою жизнь, ибо, стоило им достигнуть чего-нибудь получше, все построенное власть уничтожала и разрушала. И по сей день их маленькие участочки и бедные хижинки были обложены большими налогами. Кто не мог платить налоги, тому приходилось продавать свою коровку, единственный источник дохода, чтобы потом познать еще большую нужду. Но налоги должны быть уплачены.

Их дети болели малокровием и рахитом. В возрасте нескольких лет они нередко не могли ходить, ноги были неспособны удержать туловище. Многие умирали в раннем возрасте.

Однажды приезжал какой-то чекист и велел жертвовать полушубки и валенки для нужд армии. Жертвовать должна была каждая семья. У многих этих вещей вовсе и не было, они снимали с себя лохмотья и отдавали их. Кто не хотел, тех запугивали и ругали, обещая выгнать из домов. Неудивительно, что эти новобранцы говорили, что, если попадут на линию фронта, будут сдаваться немцам.

Бедность и нищета в колхозе были неописуемы, поверить в это и представить все это может только тот, кто видел все это своими глазами и понял, в какой ужасной темноте и отсталости до сих пор живет русский народ. Казалось, что жизнь здесь отстала на несколько столетий.

СМЕРТЬ БАБУШКИ

Однажды вечером бабушка вышла из дому, упала на льду и сильно ушибла руку у сгиба ладони. При падении она, вероятно, разорвала артерию, ибо кровь шла потоком и остановить нам ее удалось с большим трудом. Так как никакой медицинской помощи не было, мы стали лечить ее своими домашними средствами. В рану попала грязь, и рука стала опухать. Образовалась большая шишка, которая лопнула, и из нее потек гной. Из-за недостатка мыла и горячей воды было невозможно чисто вымыть повязки.

Воздух в нашей будке был тяжелым и пахло гноем. Из-за большого мороза окно можно было открывать лишь на корот-

кое время. После бесчисленных просьб мы наконец получили колхозную подводу и отвезли бабушку за восемь километров к фельдшеру. Только после долгого ожидания принял он ее для осмотра. Не посмотрев толком рану и не расспросив о ходе болезни, он выписал какую-то мазь. Ни о травме, ни о ее дальнейшем лечении у нас по-прежнему не было никакой ясности. Постепенно опухоль спала, и рука как будто зажила. Только в ушибленном месте она высохла и стала вдвое тоньше, чем прежде.

С тех пор бабушка уж больше не поправилась. С каждым днем она чувствовала себя все хуже, очень похудела и ослабла и стала жаловаться на острую боль в почках.

Наступило 31 марта. С утра бабушка жаловалась на большую слабость и боль. Ничего не ела. Ни покормить было ее, ни попоить даже с ложки, так как зубы были сжаты судорогой. Говорила она еще осмысленно, но не могла ясно произносить слова. Вечером пришла ее провести добрая госпожа К. и принесла клюкву. Это было единственное, что бабушка съела. Ягоды ее взбодрили. Даже заговорила она яснее и радовалась посещению госпожи К. Назвала ее добрым ангелом, в последний раз пришедшим ее навестить. Когда гостя ушла, бабушка на минутку заснула. Очнувшись, была беспокойной всю ночь. Под утро 1 апреля 1943 года ее сердце остановилось.

Утром госпожа Д. обмыла и одела бабушку. Договорились с плотником, что он собьет из досок некрашенный гроб и крест. На кресте латышские ребята выжгли бабушкино имя и годы рождения и смерти. Из лесу мы принесли веток хвой и рябины и сплели из них венки. Уложили бабушку в гроб и установили его на двух скамьях. Собрались провожающие – земляки из нашего и соседних колхозов. Спели несколько зауспокойных песен. Догорели свечи у гроба. Поставили гроб на подводу и поехали на кладбище, недалеко от колхоза. Было очень холодно, и дул резкий ветер.

Латышские ребята вырыли яму. Рыть ее было очень трудно, так как земля на глубине нескольких метров замерзла и пришлось работать ломами. Яма была мелкой. Один бывший студент богословия сказал короткое зауспокойное слово. Каждый кинул по горсти земли. Уложили свои простые венки на могилку и, простившись, отправились домой, ибо большой мороз не дал задержаться подольше. Итак, один из нашей семьи похоронен. Чей следующий черед?

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН
Alexander Solzhenitsyn



ЧИТАЕТ
Reading

"ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА"
"One Day In The Life Of Ivan Denisovitch"

ЗАПИСЬ РУССКОЙ СЛУЖБЫ БИ - БИ - СИ
Recorded For The BBC Russian Service

ПРОДАЕТСЯ ЗДЕСЬ
Available Here

ORDER FORM

Please send me the three cassettes of the BBC Russian Service Recording of
"One Day In The Life of Ivan Denisovitch".

Name
Address

Send to:
BBC External Business and Development Group, Room 913 N.E. Wing, Bush House, London WC2

Искусство

Соломон В о л к о в

ЮРИЙ ЛЮБИМОВ В ВАШИНГТОНЕ

За границу я прежде ездил, и всегда мне там тошно бывало... Нет, на родине лучше: тут, по крайней мере, во всем других винишь, а себя оправдываешь.

Свидригайлов – Раскольникову

«Театральное представление не знает ни „вчера“, ни „завтра“», – говорил Мейерхольд Александру Гладкову. Вчерашний спектакль – фантом. А уж что говорить об атмосфере, его окружавшей, о реакциях зала, о скандалах на репетициях, об актерских закулисных комментариях. Все это, столь интересное для современников и столь поучительное для историков, не будучи описанным, исчезает безвозвратно... С такими вот мыслями попытался я записать свои впечатления от двух недель с лишком, проведенных в вашингтонском театре Арена Стейдж в декабре 1986 – январе 1987 годов, когда Юрий Любимов ставил там «Преступление и наказание».

Любимовская библиография – и советская, и зарубежная – мизерна, особенно в сравнении с литературой о других великих русских режиссерах. А уж работ описательных – почти совсем нет, ни на каких языках. Всё больше публицистика. Оно как бы и понятно, когда вспоминаешь о контексте, в котором Любимову приходилось работать и в России, и на Западе*. А где прочесть о том, как Любимов строит свои спектакли, как ведет актеров? Что думает о новых для себя условиях работы, о западных зрителях, для которых ставит уже почти пять лет? И что они думают о нем? Обо всем этом в прессе, даже и специальной, практически – ни слова...

* Сравнительно недавно в Америке была издана, на русском языке, монография А. Гершковича «Театр на Таганке».

Итак, вечер 7 января 1987 года. Американский дебют Любимова: после многих лет оттяжки, сначала по вине советских властей, затем – американских. Спектакль окончен. Публика аплодирует дружно, но не свистит и каблуками не топает, что у «американов» (выражение Иосифа Бродского) символизировало бы неконтролируемый восторг. Принимают вдумчиво, с оттенком некоторой, я бы сказал, ошарашенности. Прислушиваюсь к обрывкам разговоров кругом:

- Экзистенциальные проблемы...
- Один процент – клише, остальное работает...
- Надо бы прочитать роман Достоевского...

Откланявшись, актеры Арены Стейдж вызвали седовласого, розовощекого Любимова, пружиняще выскочившего на сцену; как вдруг один из них (в спектакле – Раскольников), словно продолжая жить в образе, сымитировал – резко и отчетливо – удар топором по голове режиссера. А затем крепко обнял и поцеловал улыбающегося невозмутимого Любимова.

Актерские эти жесты, столь полярные, и вполне в духе Достоевского, заключали в себе всю гамму психологических и профессиональных конфликтов в отношениях между создателями только что триумфально закончившегося представления. Но Любимов к конфликтам и скандалам привык, без них ему, вероятно, и театр не в театр. Как спокойно объяснял Василий Аксенов группе неискушенных зрителей: «В Москве Любимов перед каждой премьерой провоцировал скандал, вот и в Вашингтоне сделал то же самое». (Это он о гремевшей в те дни по всему миру сенсации: Любимов на днях возвращается в Москву, и чуть ли не по личному приглашению генсека Горбачева. Любимов – я тому свидетель – ничего подобного не объявлял, но человек этот таков, что стоит ему зажечь спичку, а уж пороховой погреб поблизости найдется.)

Любимов, как и положено гению (а я знал человек пять-шесть из этой особой породы), соткан из противоречий. Долгие годы он был успешным «героем-любовником» на театре и (по Вениамину Смехову) «очаровательным и сладковатым» киноудачником. А режиссером в свои 45 лет вдруг стал колючим, резким, зачастую плакатным. Еще одно, вроде бы и сугубо театральное, но важное противоречие касается системы Станиславского. Любимов-актер, пройдя через семинар Михаила Николаевича Кедрова (большого роялиста, чем сам рояль), был, как рассказывают, ее вьедливым привер-

женцем, от студентов своих по Щукинскому училищу тоже требовал неукоснительного следования Системе. Как режиссер, Любимов ее отрицает и высмеивает всячески.

И, наконец, смущающая многих эмигрантов социально-политическая метаморфоза: конференсье ансамбля песни и пляски НКВД*, затем в театре Вахтангова завтруппой, член партбюро, вообще лицо доверенное – да вдруг создал и возглавил первый в истории Советского Союза оппозиционный театр. И пошло, и поехало... Есть, конечно, схожие случаи, среди них путь Галича. Но у Любимова всё получилось как-то совсем уж неожиданно. И, мне кажется, сам он даже для себя не всё еще разложил по полочкам и вычислил.

Помню, как Любимов взорвался во время нашего первого интервью в 1973 году, услышав вопрос: когда именно артист Любимов почувствовал себя режиссером? Разговор происходил в ситуации скорее гротескной: Любимов, в голубых плавках и слегка выпивший, восседал на сыром песочке Рижского взморья. Рядом в черных трусах семейных и соломенной шляпе фасона «привет с Кавказа» полулежал вдребезги пьяный Федор Абрамов.

Раздраженный ответ был типично любимовским:

– Когда, когда! Это не родовые схватки, знаете ли! У меня природа другая, мужская!

Любимов всегда взрывается, когда его пытаются припереть к стенке. Поэтому он, в частности, избегает бесед с западными журналистами один на один, предпочитая более безопасные пресс-конференции. Его реакции по-актерски инстинктивны и – чаще всего – безошибочны. Однако рабочий метод Любимова вовсе не основан на интуиции. Всё по возможности тщательно подготавливается и взвешивается. Обыкновенно Любимов не начинает репетировать, пока не прояснит для себя концепцию спектакля. Он говорит, что первый импульс находит в содержании произведения, которое ставит, заходясь от актуальности проблематики. А уж затем начинается поиски центрального образа спектакля, его главной метафоры.

* Замечу, что в перечнях авторов программ этого ансамбля мы найдем имена Михаила Светлова, Николая Эрдмана, Дмитрия Шостаковича, то есть людей, которым даже самый строгий судья вряд ли предъявит обвинение в сотрудничестве с «органами».

О постановке «Преступления и наказания» Любимов долго вел разговоры с московским философом Юрием Карякиным и скульптором Эрнстом Неизвестным, ныне нью-йоркцем, обитателем Сохо*. Карякина, педагога по профессии, возмутило и ужаснуло, как преподают Достоевского в школе (в середине 60-х годов «Преступление и наказание» поставили в программу девятых классов, и каждый год возобновляются дебаты: а нужна ли советскому школьнику эта книга?).

Достоевского в школу, как все мы помним, разрешили вернуть лишь под соусом обличения социальных язв «проклятого прошлого». Согласно книге Карякина «Самообман Раскольников», после подобной обработки многие подростки приходят к выводу: «нечего, мол, говорить ни о какой личной ответственности, и правильно Раскольников сделал, что „укокошил старушеницу“ (писали и буквально так), жаль только, что „попался“...»

Этой страшноватой, вполне зощенковской цитатой из подлинного школьного сочинения, кстати, и стал заканчиваться спектакль Любимова в Театре на Таганке (1979 г.) Но его политические суть и подтекст были, конечно, более острыми и вызывающими, чем обличение дурных учителей.

Любимов и Карякин настаивали: не существует цели, которая оправдывала бы средства, и нет такой идеи, во имя которой стоило бы убить даже одного, пусть и вовсе никчемного, человека. Подтекст этот был либеральными московскими критиками не только уловлен, но и раскрыт на страницах советских изданий: «...речь о том, что никакая *общая* идея не вправе шагать к цели, расплачиваясь *отдельными* человеческими жизнями. Что нет общего, которое было бы на целую смерть выше личного. Что „одна смерть“ идеологически не окупается».

Были и возражения, суммированные одним московским рецензентом следующим образом: «Ф. Достоевский написал роман о том, что убить нельзя. Ю. Любимов поставил спектакль о том, что убивать нельзя. Раскольников в романе – убиец. Раскольников в спектакле – убийца».

* Выставка иллюстраций Неизвестного к Достоевскому, развернутая в Арене Стейдж, вызвала острый интерес и у зрителей, и у актеров. Вглядывание в эти работы может многое объяснить в генезисе спектакля Любимова.

Когда-то Анна Андреевна Ахматова рассказала мне, как американский профессор приставал к ней с вопросом относительно «мук совести» русского человека, «по Достоевскому»:

– А я и говорю ему – да какие там муки совести? Палач десять человек расстреляет, вернется домой, побреется, наодеколонится, да с женой в оперу пойдет. Вот вам и все муки совести...

Ее трезвая петербургская ироничность неожиданно аукнулась – поверх голов критиков – с московским максимализмом концепции Любимова–Карякина*.

Режиссер (и его московский соратник, художник Давид Боровский) для своего «Преступления и наказания» центральной метафорой избрали теперь уже знаменитую белую дверь, заляпанную свежей кровью. В романе Достоевского дверь – важный лейтмотив; замечено, что слово «дверь» там упоминается больше двухсот раз, с обязательным уточнением, закрыта она либо открыта. В спектакле Любимова дверь – многозначный символ. Как одержимая, она срывается с петель и носится, подпрыгивая, по сцене. Всё та же дверь превращается то в кровать Сони, то в смертное ложе, а потом в гроб Мармеладова. (А кровавое пятно на ней грубым жестом Свидригайлова будет неожиданно трансформировано в символ поруганной девственности.) Дверь закрытая – свидетель преступления Раскольникова; распахиваясь, она выпускает на сцену его материализованные сны-кошмары.

Всего в «Преступлении и наказании» Любимова в Вашингтоне пять дверей, и все они живут пугающе самостоятельной жизнью – дрожа, постукивая, ощутимо подталкивая персонажей, открываясь в приглашении к самоубийству и, наконец, опускаясь, точно надгробная плита. Двери – основная декорация спектакля: поставленные вертикально, горизонтально и по диагонали, они организуют и разделяют сценическое пространство.

* Хочу попутно отметить еще не замеченный, кажется, ахматоведением отзвук «Преступления и наказания» в «Поэме без героя»: «Ты железные пишешь законы, / Хамураби, ликурги, солоны / У тебя поучиться должны». Ср. в разговоре Раскольникова с Порфирием Петровичем: «... законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, продолжая Ликургами, Солонами, Магоме-тами...».

Изгнанный в 1984 году из созданного им Театра на Таганке (а заодно из Советского Союза и из партии), Любимов, волею судеб и властей предрежающих превратившись в режиссера-гастролера, поставил «Преступление и наказание» в Лондоне, Вене и Болонье. Этот спектакль, собравший множество премий, стал его «визитной карточкой». И вот – Вашингтон.

... На «Преступление и наказание» в Арена Стейдж поток зрителей впускают не через основной вход, а направляют сквозь узкую, неудобную боковую дверь, чтобы они, многократно предупрежденные билетерами («Witness the scene of the crime, on your right!»)*, прошли мимо сцены. Там, в углу, к обшарпанному комоду прислонены два довольно небрежно исполненных муляжа, измазанных в «крови»: старуха-процентщица и ее племянница Лизавета. Любимов, вероятно, мог бы и актеров заставить посидеть на сцене, но ему, обычно приверженцу фактурной подлинности, в данном случае важнее поразить другим: запылившимся зеркалом, обезображенным кровавым пятном. Зеркало это, над которым Любимов в Вашингтоне долго колдовал, повешено так, что зрители, спеша к своим местам, неминуемо в нем отражаются, становясь, таким образом, частью представления еще до его начала.

Любимов сразу предлагает свои «условия игры»: убийство уже совершено, и от этого факта зрителю никуда не уйти. Тоскливое ощущение неуютности усиливается пугающим контрастом между черным пустым пространством сцены и прилепленной к углу – словно нарост на сюрреалистской картине – каморкой. Взгляд все время возвращается к ней, к замызганным муляжам.

Свет гаснет, раздаются гипнотические звуки музыки; из той же двери, через которую только что прошли зрители, стремительно появляется озлобленный Раскольников в шинели образца Гринвич Вилледж и обращает в зал свой истерический ницшеанский монолог.

Уже в этой начальной сцене Любимов демонстрирует основные приемы своей театральной партитуры. Сами по себе они, казалось бы, достаточно просты, но в сложных и прихотливых сочетаниях создают фактуру утонченную, заслуживающую внимания и анализа. Все по отдельности – плакат, а вместе – кружева. В этом – еще один парадокс Любимова.

* «Обратите внимание на место преступления, справа!» (англ.).

Режиссер виртуозно использует свет: в «Преступлении и наказании» 250 с лишним световых перемен. Функция света у Любимова не в том, чтобы сопровождать актеров, подавая их зрителю повыгоднее; свет живет самостоятельной жизнью, как одно из действующих лиц. Он вступает в конфронтацию с актерами, заставляя их шуриться, корчиться, изгибаться; персонажи используют его в борьбе друг с другом, либо, как Раскольников при своем первом выходе, для фронтальной атаки на зрителей. Схватив прожектор, Раскольников поливает темный зал светом, точно очередями из автомата: вот когда злобные, ненавидящие тирады актера почти обжигают застигнутых врасплох американцев. Я даже слышал в зале короткие вскрики, как от удара.

Незабываемо свет использован для воссоздания снов-кошмаров, составляющих визуальный и эмоциональный центр спектакля. Бредовое мигание для американской публики ассоциируется (по справедливому замечанию одного эрудированного эмигранта) с «фильмами ужасов» Стенли Кубрика и Брайана де Палмы. Нужно впечатление транса и оцепенения создано Любимовым с помощью минимальных театральных средств*.

Игра светом дает возможность Любимову манипулировать с параллельным актерам «театром теней». Тени, отбрасываемые на задник актерами и предметами, комментируют (иногда с изрядной долей иронии) действие на сцене. Они помогают создать «второй этаж» (выражение Мейерхольда) представления. Актеры «опираются» на гигантскую тень, проецируемую табуреткой; апеллируют к собственным теням. Неизменный смех вызывало в Вашингтоне самовлюбленное заигрывание со своей тенью Лебезятникова. Или еще пример: Раскольников ведет теоретическую дискуссию о праве «необыкновенных» людей на преступление, помахивая свернутой в трубку своей статьей на эту же тему. На заднике тень от статьи трансформируется в гигантский топор, опускающийся на голову Разумихина.

* Я спросил у Любимова, как родился гипнотический образ белого – на черном фоне – белья, сдвигающегося и разъезжающегося в эпизоде кошмара Свидригайлова. Любимов быстро ответил: «Это – из детства. Мама вывешивала белье, оно на морозе затвердевало. Она меня посылала белье снять и домой принести, не согнув».

Другой важный компонент театральной партитуры Любимова – музыка. Для «Преступления и наказания» ее написал Эдисон Денисов, тонкий и оригинальный композитор, работавший с Любимовым над семью спектаклями, среди них такими важными, как «Живой» и трифононская диалогия.

Для Любимова музыка, как и свет, не фон представления, а его активный участник. Всякий раз меня заново поражает ощущение и понимание этим режиссером магии музыки в драматическом действе. В «Преступлении и наказании» Любимов и Денисов разработали систему музыкальных лейтмотивов, соотносящихся не только с тем или иным персонажем, но и с определенными ситуациями, даже словами. Скажем, всякий раз, когда произносится ключевое для спектакля слово «арифметика!» – раздается душераздирающий аккорд «подготовленного» рояля.

В «Преступлении и наказании» звучат русские православные песнопения, жестокий романс, вальсок, воссоздающие атмосферу Петербурга Достоевского, а также всякого рода электронные шумы и скрежеты. Тут и там, точно авангардный композитор, Любимов вкрапляет разноголосый шум толпы и – как восклицательный знак! – истошный крик или глухой стук падающего топора. Музыка звучит и в параллель действию, и как контрапункт к нему. Свидригайлов спускается в свою символическую могилу под удары колокола, но не в такт им; эту маленькую деталь оценил бы покойный Джордж Баланчин.

Я не случайно упомянул имя балетмейстера. Метод работы Любимова, поставившего множество опер (и даже один балет), можно назвать балетмейстерским. Светом и музыкой режиссер контролирует темп и ритм движений и реплик актеров.

Любимов объясняет:

– Если актер запоздает с переходом – свет от него убежит, и придется актеру догонять луч. Если затягивается монолог – музыка вступит и подтолкнет актера.

Излюбленный крик-рефрен Любимова на репетиции:

– Темп! Темп! – Он озабоченно смотрит на часы. – Первый акт идет час и четырнадцать минут, второй – час и две. А надо бы: час и тринадцать минут и час и одну.

Партитура «Преступления и наказания» отработана Любимовым за почти два года репетиций в Театре на Таганке.

Но это не значит, что в другие театры и страны режиссер переносит этот спектакль механически: такая пересадка была бы обречена на неудачу. Любимов со смехом рассказывает об одном западном режиссере, «содравшем» успешную любимовскую постановку. Спектакль плагиатора провалился, режиссера погнали. В Америке язык, непривычные условия и принципы работы, по-другому воспитанные актеры и, наконец, незнакомая публика создают совершенно новую ситуацию. Осваиваясь с ней, Любимов видит и приобретения, и потери.

Начнем с языка. Потери здесь наиболее очевидны и неизбежны; никакой перевод не в состоянии адекватно передать изощренную словесную вязь Достоевского. Но ведь и инсценировка – это не роман. Пошли же Карякин и Любимов на сокращения и упрощения; перевод – это следующий шаг в том же направлении. С театральной точки зрения, английский текст, более лапидарный и стремительный, даже помогает Любимову в его желании максимально ускорить темп спектакля.

Условия работы. Ясно, что режиссеру, 20 лет возглавлявшему один из лучших театров мира, никакой, самый знаменитый коллектив, в котором он появляется в качестве гастролера, родного театра не заменит. Мравинский, к примеру, не выступает ни с одним оркестром, кроме собственного, и я его понимаю. В Москве Любимов мог репетировать годами, жалование ему шло. И еще, что очень важно, к услугам Любимова был его собственный вышколенный административный аппарат, тоже на государственной зарплате. Даже шофер был государственный.

Изгнанный Любимов избавился от необходимости преодолевать бесчисленные бюрократические и цензурные барьеры. На Западе сроки выпуска спектакля, по сравнению с Россией, неимоверно ужаты. Но зато они точны. Приступая к работе, Любимов уверен в дне премьеры, чему не устает, разводя руками, удивляться. И поскольку он гастролер, то не участвует в выбивании субсидий, государственных и частных, для театра, где ставит. Его приглашают – и платят, причем по высоким ставкам. Я знаю местные тарифы и могу засвидетельствовать, что гонорары Любимова в Америке – рекордные. Не в окладе, конечно, счастье, но здесь он – важнейший показатель успеха.

Любимова раздражает, что на Западе театральный аппарат разнесен строго по полочкам: каждый исполняет только

свое дело, причем от звонка до звонка, и не более. За этим бдительно надзирают профсоюзы. На репетиции Мармеладов вышел на сцену в тщательно отглаженных новеньких штанах. Любимов, из зала, велел штаны эти изорвать: «что это за алкоголик такой аккуратный?» Никто и с места не двинулся: костюмерши на репетиции не было, а других это не касалось. Любимов выскочил на сцену и раз-раз, быстро и ловко искромсал брючные манжеты в бахрому. И рубашку Мармеладову порвал на груди. Актер рубашки сам на себе изорвать не захотел, он не за это жалование получает. На Любимова с ножницами в руках смотрел с изумлением.

В работе с актерами Любимову мешало – и часто создавало конфликтные ситуации – незнание английского. Блестящий переводчик Александр Гельман всегда был рядом. Но актеру ведь хочется с режиссером побыть с глазу на глаз, поинтимничать, ему ласки хочется режиссерской. Американцы все время нервничали, правильно ли их понимают. Но и постоянное жужжание перевода их раздражало.

Во время одной из репетиций Раскольников раскричался: ему со сцены показалось, что Любимов с Гельманом болтают о своем, а о нем забыли. В Союзе я верил легенде, что по всему миру, если хотят матюгнуться, переходят на русский. Да нет, замечательно можно выматериться и по-английски! Гельман благоразумно актерской сей тирады дословно на русский не перевел.

В другой раз взорвалась актриса, игравшая Дуню, сестру Расколькова. Любимов настойчиво требовал от нее большей интенсивности. Она же никак не могла перепрыгнуть эту эмоциональную планку, пока, наконец, не взяла нужную высоту – на волне все тех же нехороших слов. Перед Раскольниковым Любимов извинился, а тут – обиделся сам. И кричал из зала Свидригайлову:

– Задирай, задирай ей юбку повыше, холере! «Холеру» не переводи... – Это Любимов – Гельману, который и так знает, где умолчать...

Актеры в Вашингтоне (частью – из труппы Арены Стейдж, частью – приглашенные) были добротные, не более (мужчины – лучше, чем женщины). Американские рецензенты на них набросились. Бедная Дуня после статьи в «Нью-Йорк таймс» целый день проплакала. Критики сожалели, что Любимов, не зная языка, не мог добиться от актеров большей

психологической убедительности. Писали и о том, что актеры, воспитанные в натуралистическом духе, не были готовы к участию в экспрессионистском представлении.

«Звезды» Любимову не нужны. Они и кассу опустошают, и работать с ними труднее. Любимова не волнует, что Бродвей – в данный момент, по крайней мере – ориентирован на «звезд»: без них ни денег на спектакль не собрать, ни привлечь внимания телевидения. (Из-за отсутствия звезд ТВ не заинтересовалось и «Преступлением и наказанием» в Вашингтоне.) Но со своей первой американской труппой Любимов работал с энтузиазмом и отдачей. Свидетельствую: в Вашингтоне Любимов показывал зачастую лучше и убедительнее, а актеры воспринимали его показы с большим напряжением и готовностью, чем то было в Театре на Таганке.

Любимов подтверждает:

– Здесь актеры приходят на репетицию и спектакль в лучшей форме, чем их московские коллеги. Смотрите, Раскольников разминается. На Таганке – ничего подобного! В Москве я все время беспокоился – трезвым явится актер в театр или пьяным. Много времени уходило на ненужные препирания.

И Любимов вспоминает знаменитый афоризм Николая Робертовича Эрдмана, оброненный им после одной длительной, но бесплодной дискуссии в Театре на Таганке: «Актеры – как дети: пять минут играют, и три часа сутяжничают».

Но Любимова удивляет общий невысокий уровень физической подготовки американских драматических актеров:

– Плохо двигаются! И чему их учат в школах? Странно как-то: ведь в мюзиклах актеры здесь и танцуют, и поют блестяще. Но это умение в драматический театр не переплещивается... И еще: американцы совершенно не умеют общаться с залом! Правда, и в Москве я затратил много лет, чтобы научить актеров обращаться прямо к публике. Кажется, что это легко, а на самом деле – специальное искусство.

Любимов не любит долгих застольных обсуждений концепции спектакля с актерами; он предпочитает руководить ими на сцене, во взаимодействии с музыкой, светом, реквизитом. Но диктаторских приказаний при этом, вопреки сложившейся легенде, не отдает. Я не видел, чтобы Любимов сказал актеру: «делай так, и точка», чтобы он продемонстрировал жест или интонацию без того, чтобы дать их точную психологическую мотивировку.

Сложную сцену сумасшествия Катерины Ивановны, жены Мармеладова, Любимов предлагает провести актрисе всю на цыпочках:

– Неестественность вашей походки отразится на всем вашем поведении. Зритель инстинктивно догадается, что с вами произошло что-то ужасное.

Дуня отказывает Лужину в руке; Любимов советует обзленному жениху сбежать по лестнице вниз и тут же – спиной! – назад:

– В нормальном состоянии человек такого не сделает! Аудитория поймет, до чего вы взбешены!

Лебезятников, облив в пылу спора Лужина водкой, поспешно вытирает картузом его костюм. Объяснение Любимова:

– Лебезятников, может, и радикал, но не нахал. По сути своей, он человек вполне благовоспитанный.

В конце спектакля Лебезятников собирает у публики пожертвования на памятник Раскольникову. На первых просмотрах актер трусил по проходу в зале вяло, неуверенно. Любимов, усмехаясь, подсказал:

– Будьте оборотливым малым, уточняйте – «кэш?» – «чек?» – «кэш?»

И этот самый американский из американских вопросов («как дадите – наличными или чеком?») помог актеру провести свой пробег с напором, неизменно вызывавшим смех у зрителей, привыкших к тому, что у них без устали выпрашивают деньги на то или иное «достойное дело».

Читатель заметит, что Любимов предлагает актерам выразительный внешний рисунок роли, тут же обосновывая его психологически. Поэтому даже крохотные эпизоды (попытка самоубийства Миколая; его разговоры с Порфирием Петровичем; смерть матери Раскольникова) превращаются в четкие гравюры, которые зритель запомнит надолго.

Любимов без предубеждения принимает соображения и идеи актеров, особенно, если они конкретны. Ему нравится, когда актер предлагает какой-нибудь эксцентрический штрих. В спектакле есть фигура «человека с топором», в общей конструкции представления довольно заметная – это юродивый, глас народа. На одной из репетиций он неожиданно не прошел, а пробежал по сцене, да еще на полусогнутых. Его импровиза-

ция, закрепленная Любимовым, в дальнейшем неизменно вызывала одобрительную реакцию зала.

Эта реакция – самая непредсказуемая вещь на театре. Никто, даже если он в своей стране, не знает наперед, где публика будет смеяться, а где молчать, и какое это молчание будет – потрясенное или ледяное. После первого просмотра «Преступления и наказания» на публике, актеры Арены Стейдж атаковали Любимова, доказывая ему, что спектакль до зрителей «не дошел». Кричали на Любимова, друг на друга. Чтобы их утихомирить, понадобилось вмешательство художественного руководителя театра Зельды Фичандлер. Она, в частности, сказала Раскольникову:

– Ты хочешь нравиться публике. Ты в отпаде от того, что вызываешь у публики омерзение. Но именно в этом – успех и твой, и спектакля, пойми ты это!

Зельду поддержал актер, игравший Свидригайлова:

– Наш театр – натуралистический. Он предсказуем. Мы знаем свою публику. Поэтому мы предполагали, что там-то зал рассмеется, там-то охнет. Эстетика Любимова – другая. Она основана на принципиальной непредсказуемости. Пока что мы устанавливаем контакт с залом наощупь.

Инсценировка Любимова и Карякина была сделана в расчете на советскую публику. Направленная в зал реплика Разумихина о том, что «мы чуть не двести лет, как от всякого дела отучены», в Москве, вне всякого сомнения, вызывала бурный отклик. В Вашингтоне она проскочила незамеченной. То же случилось и с акцентированным упоминанием о том, что Миколай пропил свой нательный крест. Зато лужинское гордое утверждение – «приобретая единственно и исключительно себе, я именно тем самым приобретаю как бы и всем» – было встречено понимающими ухмылками.

Понятно, что вашингтонцыотреагировали на сообщение Порфирия о том, что нынче в столице «даже тайные советники охотно через веревочку прыгают-с»: чиновники в этом городе поджарые, стараются держать себя в форме, да вдобавок здесь был услышан намек на проходившие в те дни сенатские слушания по иранскому скандалу («прыгают через веревочку!»).

Но почему американцы смеялись саркастическому выпадку Порфирия: «Современно-то развитый человек скорее острог предпочтет, чем с такими иностранцами, как мужички

наши, жить...»? И уж совсем сюрпризом (даже для невозможного Любимова) был смех американцев – на всех спектаклях – с которым они встречали одну из блестящих находок режиссера: за спиной Раскольников, молящего об одиночестве, свет внезапно выхватывает толпу сгрудившихся героев романа.

Любимов недоумевал:

– Может, американцы не понимают эту русскую невозможность остаться наедине с собой? Без того, чтобы посторонние вмешивались в твою жизнь?

Различие в восприятии «Преступления и наказания» в Москве и Вашингтоне можно сформулировать так. В Москве нервом спектакля было немедленное и сочувственное взаимодействие сцены и зала. Важна была взрывная, понимающая реакция на каждую политически окрашенную реплику.

В Вашингтоне публика реагирует скорее на представление в целом. Здесь, потеряв многое из своей политической соли и злости, спектакль набрал головокружительную скорость и расцветился в чисто театральном аспекте. Любимов говорит:

– Если бы я сейчас вернулся в Москву, то должен был бы работать со своими актерами еще недели четыре, как минимум, чтобы ввести в «Преступление и наказание» все детали и штрихи, найденные в Вашингтоне.

На новогодней вечеринке в доме сотрудника «Голоса Америки» с Любимовым затеял спор Михайло Михайлов. Только что закончился тот самый просмотр «Преступления и наказания», о котором я уже упоминал; все были возбуждены.

Михайлов доказывал Любимову, что американцы спектакля не поймут:

– После первых нескольких представлений зал будет пустовать, вот увидите! Это вам не Европа, здесь Достоевского не знают. А без понимания Достоевского в вашем спектакле не разобраться.

Любимов в ответ кричал:

– Это вы не знаете американского зрителя! Спорим, что билетов будет не достать? На тысячу долларов спорим? На две? Три? Четыре?

Любимов дошел до тринадцати тысяч, но Михайло Михайлов от пари уклонился и поступил разумно. Не только все билеты были проданы, но даже показ спектакля продлили

на две недели, так что шел он два месяца, вместо объявленных полутора.

Для меня дискуссия Любимова с Михайловым была интересна не только тем, что Любимов, по своему обыкновению, провел ее как маленький спектакль.

В артистическом запале он еще и высказал кое-что сокровенное, накипевшее:

– Публика не поймет? Да плевать мне на публику, у меня и в Москве театр был элитарный! В Достоевском не разберутся? Так ведь Достоевский пьесы не писал! Театр по своим законам живет!

Утром следующего дня Любимов, в разговоре с расстроенными актерами, проводил эту же тему уже более спокойно:

– Мы сами себе высший суд. Зрители пришли за развлечением, это понятно, но они – не стадо баранов. Наше дело – отдать, а уж их дело – взять или нет. Вон Христос две тысячи лет к нам пытается пробиться и не может.

А я сидел в темном зале и думал вот о чем. Любимова часто сравнивают с Мейерхольдом, особенно здесь, на Западе. Говорят, что он продолжает традиции политического театра Мейерхольда. На первый взгляд, параллель поверхностная. Мейерхольд (советского периода) ставил вовсе не политические спектакли, а пропагандные. Он и сам об этом говорил не раз, и пресса о том свидетельствует. Но разве сегодня нас интересует пропагандное содержание его «Леса», «Горя уму» или «Ревизора», все эти заявленные «обличения и разоблачения эксплуататорских классов»? Мы жадно изучаем театральные новации Мейерхольда.

Таганка, напротив, была именно политическим театром. Настолько, что многими в этом лишь качестве и воспринималась. Спектакли Любимова традиционно оценивались с идеологической точки зрения – и консерваторами, и либералами. Именно поэтому в советских рецензиях на «Преступление и наказание» в Театре на Таганке так много и горячо говорится о теме спектакля и так мало и невнятно – о его художественной ткани.

Понадобилась насильственная пересадка Любимова на западную почву, чтобы сообразить: не только и не столько политическим чутьем велик этот режиссер. И не в злободневности и смелости намеков сила его постановок. Он сам по

себе силен. Театральная Москва без него обойдется? Конечно, но и Любимов продемонстрировал, что без Москвы перезимует. Его дарование оказалось «экспортным».

...Прошла еще неделя. Я продолжал наблюдать, как американские зрители принимают постановку Любимова. Действительно, многие из них не сразу разбирались в том, кто из действующих лиц кому кем приходится; в перерыве они выясняли родственные и иные связи персонажей Достоевского. Но я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь вышел из зала во время представления, хотя американцы в этом смысле народ не стеснительный: надоест – выйдут, не обернувшись.

Публику увлекло театральное зрелище: свет, музыка, хореографическая стремительность и точность движений. Но зал также почувствовал внутреннюю логику театральной партитуры Любимова, оценил ювелирную тщательность ее отделки.

Конечно, рядовой зритель всех деталей, составляющих мозаику Любимова, абсорбировать не в состоянии. С одного просмотра это, по-моему, затруднительно и для тренированного наблюдателя. (Позднее я подивился высокому профессионализму таких американских театральных критиков, как Фрэнк Рич из «Нью-Йорк таймс»: он дал блистательное описание театральных приемов Любимова на другой же день после премьеры.)

Здесь уместна аналогия с восприятием какого-нибудь невероятно сложного музыкального сочинения нового времени, вроде «Лирической сюиты» Альбана Берга: слушатель проникается его эмоциональной содержательностью без того, чтобы непременно распутать все бесчисленные контрапунктические завитки.

И опять приходит на ум имя Мейерхольда. Нас сейчас, спустя полвека и более, не волнует, «раскрыл» ли он Островского или Гоголя, был им «верен» или нет. (После мейерхольдовского «Ревизора» Демьян Бедный негодовал: «Смех, гоголевский смех убил ты наповал!») В случае с Любимовым иностранство сыграло роль времени. В Вашингтоне понятней, чем в Москве, что нельзя анализ спектакля Любимова сводить к дискуссии о романе Достоевского.

Американцев проблематика «Преступления и наказания» не слишком занимает, но режиссура Любимова их ошеломила. Он же, как человек театра, остро ощущает пожелания новой

для себя публики. Постепенно отбрасывая (не всегда даже сознательно) элементы злободневно-локальные или проблемы, интересные лишь московской аудитории, Любимов одновременно отшлифовывает до невероятного блеска свой режиссерский арсенал.

После «Преступления и наказания» американские критики, даже те, кому спектакль не понравился, точно сговорившись, благодарили Любимова за «авангардную» встряску (прививку, толчок), учиненную режиссером американскому театру. Любимов стал режиссером-космополитом, единственным в своем роде среди русских театральных деятелей своего поколения. У него нет больше возможности оправдываться: «Я бы такое показал, да вот цензура...» И он работает – как зверь (девять постановок по всему миру за один только 1986 год). Он теряет, приобретает. Он меняется. Это и есть настоящий культурный обмен.

«Русская мысль»

призывает своих читателей и друзей,
всех, кому дорога русская культура и
бережное сохранение памяти о тех,
кого уже нет с нами,
принять участие в сборе средств
на п а м я т н и к

Андрею Тарковскому

**Памятник будет воздвигнут
на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа
по проекту Эрнста Неизвестного**

Деньги и чеки высылайте на адрес редакции:
217 rue Faubourg-St. Honoré, 75008 Paris, France
с обязательной пометкой: M é m o i r e T a r k o v s k y

ВЛАДИМИР ОВЧИННИКОВ

Когда зритель смотрит на патетические и в то же время полные достоинства полотна Овчинникова, он вначале испытывает чувство сострадания к персонажам художника, как бы входит в их положение и лишь потом внезапно понимает, что перед ним – работы очень талантливого художника.

Эти сильные, лаконичные картины повествуют о тоске народа, лишенного самого существенного – свободы жить и думать по своей воле. В том и заключается сила воздействия этого искусства, что оно дает почувствовать, с помощью прекрасной простоты стиля, насколько человек потерян и не способен жить полноценной жизнью, будучи подчиненным воле коллектива, который презирает индивидуальность.

Творчество Овчинникова посвящено одной большой теме: человек в повседневной жизни, в моральном одиночестве. Человек находится в центре любой композиции этого ленинградского художника, который решил остаться на родине, несмотря на неприятности и трудности. Однако Овчинников – не проповедник морали. Он с усмешкой клеймит жизнь современной России, но чувствуется, что за таким подходом к самому существенному стоит исключительное целомудрие, подлинная утонченность чувств, изысканность сердца.

Его творчество опирается на работы мастеров прошлого и особенно на живописную традицию фламандского Ренессанса. Овчинников чем-то напоминает Брейгеля, потому что его персонажи, взятые из конкретной реальности, зачастую весьма уродливы, как, впрочем, и его уличные сцены, где жители терпеливо стоят в очереди перед магазином, собаки наблюдают друг за другом, а прохожие спорят. Однако реальность неожиданно переплетается с фантастикой: вот, например, Купидон направляет стрелу в уличных собак. Иногда же художник соединяет реальное и духовное, подавая тем самым знак надежды.

Это возвышенное восприятие жизни проявляется во многих композициях. В работе «Станция Шувалово» три ангела тихо сидят на железнодорожных рельсах под пораженным и любопытствующим взглядом дворника. А в «Пейзаже с анге-

лом» это небесное создание словно несет в себе всю тяжесть человеческой горести. Так ангелы становятся простыми спутниками людей, словно находясь в сфере досягаемости, почти близости, и стирается граница между реальностью и вымыслом.

В работах Овчинникова часто чувствуется одновременное присутствие двух миров, мира реальности и мира вымысла, поэтому и прочтение его работ требует иного подхода, чем реализм Брейгеля. Брейгель разворачивает перед нами спектакль, и, хотя он подчеркивает жажду свободы у бедняков, его реалистическая наблюдательность граничит скорее с философией, чем с чувствами. Овчинников же, напротив, всегда поднимается над обыденным случаем: он громогласно повествует о подчинении, о летаргии, в которую погружаются люди, втиснутые в навязанные им жизненные рамки, и возвышает образы до уровня символов.

Вокруг обыденного события, являющегося сюжетом картины, Овчинников конструирует печальный мир: телеграфные столбы в бесконечности мерзлых полей, заводские трубы, тоскливые пейзажи, где вечно царит впечатляющая тишина.

Насыщенность овчинниковской манеры письма, которая проявляется в некоторых деталях его жанровых сцен, сочетается с сознательным упрощением форм, сводящим его контурно нарисованных персонажей к неким блокам. Это отчасти напоминает кубистов и Фернана Леже, ибо тела у Овчинникова словно составлены из набора цилиндров, что придает им неподвижность и торжественность, не превращая их, однако, в манекенов. Это обыкновенные мужчины и женщины, погрязшие в прозе обыденной жизни, которую столь тонко чувствует Овчинников, полны жизни. Они подвергаются унижениям, но в них светится душа.

Юмор придает особую прелесть творчеству художника, а упрощенность сюжета и сознательное желание вписать реальное в нечто нереальное сближают его с искусством примитивистов. Но в серии «Детские игры» ехидный юмор внезапно переходит в кошмар: среди детских игрушек появляются палочки с динамитом или голова мертвеца. Замысел Овчинникова очевиден: описать общество, где игра имеет зловещий смысл, общество, застывшее в автоматизме обрядов и дышащее ледяным воздухом. Художник особенно привлечен изображением кладбищ с многочисленными крестами разнообраз-

ной формы. Конечно, это превосходный пластический сюжет, но не свидетельство ли это и гибели всего того, что не может выразить себя в этом обществе?

Овчинников любит укороченную перспективу, которая придает ясные, рельефные очертания происходящему на картине и тем самым приковывает глаз зрителя. Но иногда, напротив, горизонт очищается, оттуда приходит свет, и мы видим, насколько художник одарен чувством пространства. Овчинников заставляет зрителя погрузиться в убогую повседневность даже в тех случаях, когда его работы находятся на грани сюрреализма. Так, например, на картине «Летающие тарелки» тарелки висят в воздухе над железной дорогой (символ бегства?). Его живописная техника сдержанная, мазок точен, конструкция и геометрия (двери, здания, столбы, стилизованные деревья придают ритм его работам) постоянны, но смягчены палитрой, где в совершенстве сочетаются тень и свет. Он часто работает плоской кистью при доминанте темных, деликатно нюансированных тонов, которые контрастируют с чистыми, яркими цветами, придающими картинам художника некую жизнерадостность. Его мощное воображение позволяет ему заново выдумать цвета неба, которое под его кисть становится лучезарно-зеленым.

Особого символизма полны две работы Овчинникова: «Рисовать ради жизни», где он вскрывает настоящую потребность художника творить даже, и прежде всего, в самых трудных обстоятельствах, и «Наказание торгующих во храме» – аллегория непонимания и ярости властей перед нонконформистской живописью.

Другая особенность Овчинникова – его пристрастие к картинам круглой формы, очень популярным в искусстве XVI века и излюбленным Энгром в XIX веке. Такая концепция картины придает ей некое редкое качество, позволяет центрировать сюжет, вовлекая его в восходящее движение.

Наконец, творчеству Овчинникова не чужда любовь. Он, например, часто изображает легенду о Леде, иногда с изумительной нежностью, иногда – в сексуальном и эротическом контексте.

Странная и в то же время человеческая, порой давящая атмосфера окутывает полотна Овчинникова, отчасти близкие к искусству примитива. Его невозможно причислить к опре-

деленному художественному течению. Он – сам по себе, с собственным, насыщенным языком, и за его кажущимся спокойствием скрывается сдержанная ярость.

(Перевод с французского)

**Мацей Лопинский, Мартин Москит,
Мариуш Вильк**

Н Е Л Е Г А Л Ы

(К О Н С П И Р А)

*Перевод с польского
Н. Горбаневской и Л. Шатунова*

**« Б е с т с е л л е р » п о л ь с к о г о
п о д п о л ь я :**

Богдан Борусевич, Збигнев Буяк, Тадеуш Едынак, Богдан Лис, Владислав Фрасынюк, Александр Халль и Эугениуш Шумейко рассказывают о буднях подпольного руководства «Солидарности». Высоким, хотя и верным словам о борьбе за свободу и человеческое достоинство лидеры подполья предпочитают рассказ о живых, конкретных, нередко анекдотических случаях. Мастерство подпольных журналистов позволило создать из горы сделанных ими магнитофонных интервью увлекательную энциклопедию первых лет подполья.

**Л о н д о н , О Р І , 1 9 8 6
270 стр. с илл.**

ПАНОРАМА

крупнейшее независимое еженедельное издание
на русском языке

Издается с 1980 года в Лос-Анджелесе

Главный редактор А. П о л о в е ц

ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ ГАЗЕТЫ

Глобус. Обзор и комментарии к событиям международной и внутренней жизни.

Публицистика. В числе постоянных авторов газеты – обозреватель телевизионных программ ABC, бывший руководитель Информационной службы правительства США Б. Хершензон, известные журналисты русского зарубежья Т. Шуман (Лос-Анджелес), П. Вайль, А. Генис, С. Довлатов, В. Козловский, Б. Парамонов, М. Поповский, Григорий Рыскин (Нью-Йорк), М. Лемхин (Сан-Франциско), Д. Савицкий (Париж), Е. Фиштейн («Европейская хроника»), З. Копелиович (Израиль) и др.

Литература. В «Панораме» впервые публиковались отдельные произведения Василия Аксенова, Юза Алешковского, Эдуарда Лимонова, Саши Соколова, Льва Халифа, А. и Л. Шаргородских и ряда других писателей и журналистов, живущих в США и других странах.

Голливуд. Рецензии на новые фильмы и театральные постановки, интервью с работниками театра и кино, обзоры событий в киномире США и других стран.

Юмор. В этом разделе публикуются произведения авторов, пишущих на русском языке, а также переводы юмористических и сатирических произведений с других языков.

«Панорама» имеет постоянные представительства
в Сан-Франциско и Нью-Йорке.

ALMANAC, P. O. Box 480264, Los Angeles, Ca 90048, USA

Прошу подписать меня на газету «Альманах-ПАНОРАМА»
на срок 12 мес. ☐ на срок 6 мес. ☐

Газету прошу направлять по адресу:

Литература и время

Амос О 3

ЕСТЬ ЛИ ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ В ИВРИТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Я собирался рассказать о современной ивритской литературе. Но воистину при одном только подходе к теме меня уже одолевают сомнения: слово «современная» смущает меня. Быть может, лучше было бы рассказывать историю современной ивритской литературы, не беря на себя смелость подведения итогов, не давая определений, не втискивая мою речь в формулы. «Я – сказочник, а не исследователь», а сказки и истории, по определению, никогда не бывают «современными». Даже тогда, когда их действие происходит в настоящем (грамматически) времени. Рассказ, «история» – существо, обитающее на материке прошлого. Рассказчики – это уродцы, чудовища; по природе своей – это живые люди, шеи и головы которых всегда повернуты назад.

Конечно, есть удостоившиеся озарения рассказчики о поразительных видениях будущего; эти видения иногда граничили с пророческими откровениями. Поэты и писатели, видевшие «*конец времен с начала дней*», на многие годы предвосхищали некоторых идеологов и политиков (впрочем, я отнюдь не считаю, что опередить политиков и идеологов – дело особо выдающееся).

Но даже те писатели и поэты, что обладали волшебным свойством разгадывать сокровенное во тьме будущего, как Достоевский или Кафка, например, – даже они были теми «чудовищами», головы и шеи которых повернуты назад: они лишь в мистическом зеркале, находящемся где-то там, в Царстве Прошлого, способны были подглядеть то, что еще не свершилось. Итак, господа читатели, вы, наверняка, рассчитываете получить отчет о настоящем: израильская литература и этническая проблема, израильская литература и палестинцы, израильская литература и наши выборы, израильская литература и инфляция, – а я собираюсь рассказать

вам «историю» о «старых шляпах», прошу прощения. Но как далеко мне углубиться в прошлое? Где оно, подлинное начало моего рассказа об ивритской литературе?

Быть может, самое легкое, самое простое – это рассказать о некоторых новинках ивритской литературы или сделать «выжимку» из того или иного сюжета, а уж затем изложить все в столь вам знакомых терминах: об одном из произведений сказать «экспериментальное», о другом «ангажированное», о третьем – «лирико-импрессионистское» – и таким образом, как говорится, «отбить номер». Быть может, кое-кто ждет, что я раскрою им: кто он – израильский Башевис-Зингер, кто Гарсия Маркес, кто Солженицын, кто Гюнтер Грасс в нашей маленькой деревушке, зовущейся Израилем?

Есть соблазн в избрании такого пути: на нем можно хорошо позабавиться. И в самом деле, иногда я соблазняюсь такой игрой, говоря с людьми, которые почти незнакомы с нашим литературным ландшафтом – а ведь этот ландшафт напоминает непрекращающееся землетрясение, глазу открываются его геологические пласты, разнообразные, богатые оттенками, нагромождающиеся друг на друга. Если попадешь в «верное» кафе в Тель-Авиве в «верный» час вечером – по крайней мере, в несколько последних лет, – то сможешь увидеть, как Джон Донн ивритской поэзии пирует за одним столом с лордом Байроном ивритской поэзии; Уолт Уитмен и Т. С. Эллиот восседают рядом с ними, и, быть может, даже местный Алан Гинзберг в этот момент присоединяется к застолью (все на удивление полны жизни и кричат друг на друга во все горло). Все это – следствие того факта, что процессы, протекавшие в некоторых европейских литературах веками, в ивритской литературе совершались в считанные десятилетия.

Продолжив эту игру, я сказал бы, что есть много сходного между новейшим ивритом и английским языком елизаветинских времен: наш язык – все еще как поток кипящей лавы, клочущий гневом, испускающий облака дыма. У ивритских поэтов и рассказчиков все еще есть возможность быть законодателями в языке. Все еще можно соблазнить наш язык на любой поступок – озорной и дерзкий. Все еще можно безумствовать в языке нашем. Однако всегда, в любое время, даже в минуты этой созидательной языковой оргии, – в обличье нашего молодого иврита проступают первобытные, древние черты; это язык и огня, и камня, и любовной эротики; это

язык пророков и таннаев, мудрецов Мишны; наш иврит с его основными и уникальными свойствами сложился на целые эпохи раньше тех языков, на которых говорит Европа; в буре творчества, в любви явственно видится нам возвышенный облик того иврита, которым мы владеем. И тогда переполняемся мы вдруг ужасом и робостью: все дозволено, но не всему обещано будущее. Все открыто, и, тем не менее, ничто не ново по сути. Шалунья юная, вожденная, дерзкая, но в ней таится госпожа возвышенная, античная – на тысячелетие старше языка Гомера*. (Между прочим, сравнивая современный иврит с английским елизаветинских времен, я отнюдь не берусь утверждать, что писатель, пишущий на иврите, – обязательно Вильям Шекспир. Таких наберется у нас не более дюжины.)

И все же я не соблазнюсь легким путем. Истина в том, что, несмотря на некоторые схожие моменты, приковывающие внимание, несмотря на многочисленные плодотворные влияния литератур Восточной и Западной Европы, несмотря на симбиозную связь между еврейской и арабской культурами в Испании и в Северной Африке в Средние века, основной, глубинный контекст ивритской литературы, который был всегда и является таковым и сегодня, – контекст иудейский и еврейский, а в последнее время – сионистский.

Этот факт делает мою задачу во много раз более трудной. Все выглядело бы проще, считай я, что наши литературные связи в основе своей европейские. Но, как уже сказано, ивритская литература в моих глазах – нечто более существенное, чем ветвь, отражение или провинция европейских литератур. Нам предстоит плаванье в далекие земли.

Если бы мне было отпущено эпическое время, а не время лирическое, то я начал бы, по крайней мере, с «сотворения мира» ивритской литературы – с Библии. А затем бы рассказал о Мишне и Гемарре, о бурном появлении в сердцевине Средневековья – в арабской Испании и других местах – литературы, на первый взгляд, светской и на удивление чувственной. А затем занялся бы исследованием возрождения поэзии, драматургии, прозы в XVIII и XIX столетиях, за многие десятилетия до возрождения иврита как разговорного языка – этого

* Слова «иврит» и «язык» в иврите – женского рода. Поэтому «шалунья» и т. п. – Прим. переводчика.

явления, происшедшего всего лишь несколько десятилетий тому назад и процесс которого все еще продолжается и далек от завершения.

Все вышесказанное касается затронутой темы и абсолютно необходимо для понимания каждого нового ивритского текста, в особенности стихотворения, пьесы или романа, написанного в Иерусалиме вчера или сегодня утром. Много ли можно сказать о современной французской литературе человеку, который не знаком с Камю, Мориак, Стендалем, Флобером и Бальзаком? Можно ли дискутировать о Гарсия Маркесе с тем, кто даже не слышал о Сервантесе?

Странно, больно и стыдно сознавать, что некоторые из современных ивритских писателей удостоились переводов на многие языки и пользуются всемирным признанием в то время, как литературная почва, их взрастившая, остается далеким материком, чужим и закрытым для неизраильского читателя. Иегуда Амихай, к примеру, читается многими вне Израиля, между тем как и Бялик, и Штайнберг, и Фогель остались «дома».

Мне не раз рассказывали, как тот или иной уважаемый европейский критик представляет меня как некоего незаконного израильского отпрыска одного из русских или французских гигантов, а, между тем, мои законные литературные родители – Бердичевский, Бреннер, Агнон – почти неизвестны вне Израиля. Отсюда во мне и тот пыл, с которым я пытаюсь поведать хоть что-нибудь из великого рассказа о новейшей ивритской литературе.

Быть может, я начну с «одержимых»? Я расскажу вам о «десперадос» – об ивритских поэтах и писателях, вырвавшихся из восточноевропейских гетто в конце прошлого столетия и в начале нынешнего: Менделе, Бердичевский, Бялик, Бреннер, Гнесин, Агнон, Гринберг. Они – представители «великого поколения» в новой ивритской литературе. Я называю их «сумасшедшими» и «десперадос», потому что они начали писать на иврите для читательской публики, столь малочисленной, что ее как будто бы и не было вовсе.

В течение долгих лет создавали эти мастера стихи, рассказы и романы, читавшиеся лишь их друзьями, ивритскими писателями, и крайне ограниченным кругом читателей. Некоторые из них умерли, даже не подозревая, что когда-нибудь

их произведения будут изучаться в школах, что улицы и кибуцы будут названы их именами.

По правде говоря, большинство из них думало, что они – последние, пишущие на иврите. Они, эти писатели, считали самих себя (по крайней мере, некоторые из них) создателями и участниками трагического эпилога древней драмы, начавшейся за тысячелетия до того времени, в которое они жили; драмы, агонизирующей в нечистотах вместе с ними.

А если это так, то почему же они не поднялись и не исчезли? Почему не оставили иврит? Ведь все они были писателями мирового масштаба. Каждый из них мог безо всякого труда писать на языке идиш, который был в то время разговорным языком миллионов и, разумеется, и их языком. Некоторые из этих писателей могли бы запросто достичь международного успеха и приобрести мировое имя, если бы оставили иврит и начали писать на европейских языках, которыми владели свободно, например, на русском или немецком.

Кто же в конце XIX века и в начале нынешнего утруждал себя чтением на иврите? Кто он, тот читатель, к которому они обращались?

Я опасаясь, что вместо того, чтобы разрешить сегодня эту загадку, я могу ее еще более запутать: Бялик, Бреннер, Бердичевский и другие хорошо знали, что в мире существуют миллионы евреев, умеющих читать на иврите. Для этих евреев иврит – «святой язык», предназначенный лишь для молитвы, для плача и религиозного культа. К тому же, эти евреи, читающие на иврите, видели во всей светской ивритской литературе лишь проявление ереси и осквернение святыни.

С другой стороны, в тот период появлялось все большее число еврейских читателей, которые готовы были читать – именно этого и жаждала их душа! – светскую литературу: любовную лирику, романы, драмы. Но эти еврейские читатели предпочитали чтение подобных текстов на русском, на польском, на французском, на немецком.

Для кого же, стало быть, творили писатели «великого поколения» новой ивритской литературы? Религиозные евреи знали иврит, но ненавидели светскую литературу. Евреи нерелигиозные жаждали приобщения к светской литературе, но у них не было ни малейшего интереса к чтению литературы на «мертвом языке». Так для кого же?

Загадка эта актуальна и имеет исключительно важное отношение к моей теме: я считаю, что искра их писательского религиозного экстаза, искра того восторженного отчаяния жива и по сей день в каждом достойном произведении ивритской литературы, так же, как искра эта жива и поныне в подлинном сионизме (и я обязан подчеркнуть эти отличительные свойства, поскольку я говорю о религиозном экстазе и о восторженности как о полной противоположности фанатизму и дикости).

Однако вернусь к своей основной проблеме: с чего же, ради Бога, мне начать? С кого? Может быть, начать со Смоленска? Или с Менделе? С тех, которые со скрежетом зубным пытались создать из ничего подражательный язык ивритской прозы «а-ля Чарльз Диккенс», «а-ля Бальзак» и «а-ля Виктор Гюго»? А ведь за многие века до этого первый на земле мужчина сказал первой женщине «я люблю тебя» на иврите! (И, кстати сказать, наши проблемы, проблемы ивритских писателей 80-х годов, к большому удивлению, не столь уже далеки от тех проблем, которые стояли перед писателями того времени.)

Или начать с Бялика, который любил, который ненавидел, который разрушил и, вместе с тем, воссоздал, сохранил и увековечил в своих произведениях на иврите мир восточно-европейского «штетл» (местечка); мир, который во времена Бялика был все еще миром живым и активным, создававшим в изобилии литературу (на идише), бурно плодоносившую (на идише) в своем последнем могучем цветении, прежде чем пришла Катастрофа.

Почему и как сумел Бялик – и вместе с ним остальные представители «великого поколения» нашей литературы – воссоздать этот идишистский мир именно на иврите?

О, эти писатели – созидатели и обожатели, убийцы и могильщики, творцы надгробных памятников, хранители ценностей этого великого еврейского государства теней в догитлеровской Европе... Почему они выбрали иврит, как смогли они воссоздать этот мир на иврите, а не на идише? На иврите, а не на русском, польском, французском, немецком? Ведь, в конце концов, писатели эти – подобно их героям – смеялись, плакали, ссорились, мечтали, любили на языке совсем ином, не на иврите, который в их времена все еще был языком «законсервированным» – неким подобием классической латыни? Но, вопреки всему, эти писатели искусственным, насильствен-

ным путем заставили своих героев вести диалоги, разыгрывать любовные истории, устраивать свары с соседями на языке, на котором никто не разговаривал. Даже сами писатели. Что это было – безумие? Навязчивая идея? Может, просто абсолютная глупость?

У меня есть свое предположение: за всем этим крылось глубокое отчаяние. Возможно, отчаяние метафизическое. Смутное чувство, что все потеряно, так или иначе. Быть может, лихорадочное биение их сердец говорило им, что очень скоро не будет больше ни евреев, ни идиша, ни иврита, ни «штетл» – ничего не будет! И, быть может, что-то в глубине их душ толкало их на попытку создания великой молитвы погребения, реквиема. Им хотелось сказать последние слова еврейского народа, но сказать их с библейским вдохновением, с библейским гневом. И это вдохновение, этот гнев нельзя было высечь из языка идиш – теплого, нежного в своем естестве, – и уж, конечно, немыслимо было переложить этот гнев на чужой, на европейский язык, вроде русского или немецкого. Это можно уподобить желанию человека, чующего близкую кончину, вернуться в дом своего детства и умереть в нем. По крайней мере, в отношении Бялика, Бердичевского, Бреннера я осмеливаюсь утверждать, что зачастую они создавали свои произведения не для живых читателей, не во имя «грядущих поколений», а обращаясь к древним мертвецам. Не преувеличиваю ли я? Быть может, была в их сердце надежда, надежда наперекор всему? Не знаю. Но одно я знаю: мы все, каждый из нас, в минуты глубочайшего отчаяния пишем и обращаемся к мертвым.

Итак, где же, в конце концов, начинается мой рассказ? Скажем, он начинается в доме 48 по улице Майл-Энд, в лондонском квартале Уайтчепель, в 1906 году. Захудалый жилой квартал. Гетто. Запах кислой капусты и селедки. Здесь, в бедной комнате живет одинокий молодой человек по имени Иосеф-Хаим Бреннер. Несчастный еврейский беженец из России, дезертировавший из царской армии, почти не знающий английского, существующий – в муках и голоде – работой в маленькой еврейской типографии. Этот самый Бреннер основал, ни много ни мало, литературный журнал на иврите – новаторский, свежий. И название у журнала – «Меорер»*. Журнал

* «Меорер» – «будящий», «будильник». – Прим. переводчика.

этот печатает Бреннер на свои жалкие гроши, собственно-ручно набирает, сам же переплетает, не раз сочиняет около половины всего материала, идущего в номер, упаковывает, клеит марки и на собственном горбу несет мешок на почту, чтобы разослать журнал двумстам двенадцати подписчикам, рассеянными по пяти землям; в самом Лондоне от силы дюжина подписчиков, все они такие же лунатики, как он, – не в состоянии излечиться от этого безумия: языка иврит.

Не то, чтобы Бреннер особенно верил, что у его усилий есть шанс принести плоды. Напротив, точно так, как и печальные герои его рассказов, чувствовал Бреннер, что все потеряно: сионистское движение, язык иврит, мир восточноевропейского еврейства – все агонизирует и разлагается. Многие его герои, по складу толстовцы, явились в мир как будто прямо из романов Достоевского – отчаявшиеся чудаки, считавшие, что народ еврейский умирает от тяжелой наследственной болезни, которую невозможно излечить.

Но – наперекор всему! – мы должны, мы обязаны сделать что-нибудь, чтобы попытаться выжить и даже излечиться, и совсем неважно, насколько это «что-нибудь» выглядит патетически, безнадежно, курьезно. Мы обязаны!

Бреннер вложил иврит в уста своих героев. Он создал для них некий грубый диалект, сленг, пронизанный русскими, арабскими, французскими и идишистскими словами. Этим языком герои Бреннера излагают свою точку зрения, которая, в сущности, экзистенциальна, хотя, конечно, Бреннер не был знаком даже с самим понятием «экзистенциализм».

Его рассказы повествуют о том, что в этом мире каждый из нас предоставлен самому себе. Но нам необходимо бороться, даже если мы и знаем, что поражение неизбежно, что поражение – неотъемлемая составляющая мирового устройства. Борьба – сама по себе – имеет моральный смысл и человеческую ценность, а капитуляция на милость судьбы, даже тогда, когда она выглядит вполне логичной, – тем не менее, аморальна. Обо всех этих вещах толкуют несчастные герои Бреннера *на иврите* – и, быть может, именно в этом и есть акт метафизического протеста: ведь иврит – все-таки язык Бога, *который не существует*. Да, этот человеческий протест необходим, хоть он и не будет услышан Богом – но пусть Он не услышит его именно на иврите. Отсутствие Бога у Бреннера – это иудейско-библейское отсутствие. Молчание Бога – это

библейское молчание. Бог, которого нет, Бог, который глух, Бог, который равнодушен, – это Бог пророков. И нет другого.

Многими отмечалось – это стало почти банальностью, – что Бреннер ненавидел евреев. Особую, жгучую ненависть питал Бреннер к одному еврею: к самому себе. Совокупность героев его рассказов и романов – компания неудачников, чудачков, самоучек, маленьких и мелочных, беженцев из Восточной Европы, оказавшихся в Лондоне или в Эрец Исраэль без корней, без цели и не способных принимать никакие решения; все они – за исключением отдельных мистических героев – обрисованы как мертвые души. И даже «халуцим»* в Эрец Исраэль обрисованы жестокими красками: неисправимые пуритане, без конца рассуждающие об «освобождении чувств», интеллектуалы, спорящие дни и ночи о необходимости вернуться к производительному труду в поле или на фабрике. Поэты, мечтающие стать земледельцами, и торговцы, мечтающие стать поэтами. Мелкие общественные деятели, изрекающие высокие истины. Вечные странники, лишенные дома, лишенные отечества, все время твердящие о «корнях». Атеисты и анархисты, обливающиеся потом от ощущения вины и стыда, – они осмелились мечтать о женской тени! Будущие исправители мира, вожди грядущей мировой революции, которые не в состоянии самостоятельно завязать шнурки на ботинках. О, Бреннер ненавидел их смертельной ненавистью! Но, невзирая ни на что, я открою вам маленькую тайну: если блистательный Бреннер – твой ненавистник, то к чему тебе друзья? Как часто Бреннер изображал своих героев определенно и ощутимо антисемитскими красками, красками, доходящими до гротеска, но сколько у него при этом сострадания, сколько отчаявшейся любви, сколько милосердия!

Так писал Бреннер, так писали и другие писатели «великого поколения», правда, с меньшим ожесточением, чем Бреннер.

Таков подлинный контекст настоящей ивритской литературы с тех времен и по сей день: маленькие, убогие мессии и страсть возвышенных, мучительных снов. Та ненависть к самим себе, которая на самом деле гневная любовь. Раздражение, ирония, жалость, тонкая, зыбкая мечтательность, эфе-

* «Первопроходцы» – новые поселенцы в Эрец Исраэль. – Прим. переводчика.

мерность, ирреальность всегда пронизывают атмосферу произведений Бреннера.

В самом языке таится некое особое свойство: речь какого бы из героев мы ни слышали – мелкого жулика из иерусалимских переулков, или, скажем, надменного киббуцного идеолога, – мы улавливаем приглушенное эхо насмешливого гнева пророков и иронической скорби древних раввинов.

А известно ли вам, что произошло, когда герои Бреннера – то есть его модели, взятые из самой жизни, те люди, которых он описал в своих книгах, – прочитали эти потрясающие рассказы? Произошло то, что, пожалуй, являет собой уникальное явление в мировой литературе. Когда эти герои увидели свои портреты – быть может, и, в самом деле, злую карикатуру на самих себя, созданную Бреннером и другими писателями того поколения, – они преисполнились обидой, гневом и чувством унижения. Свой гнев обратили они не против Бреннера (в конце концов, ведь все они прежде читали Достоевского...) – гнев этот обращен был ими против самих себя. Против галутного, декадентского мироощущения, которым они были пронизаны. Против закостенелого иудаизма, утратившего способность давать новые решения, против ассимилированных, пытающихся бежать от личностного самоопределения евреев, каковыми и были они сами.

Случилось так, что Бялик, Бердичевский, Бреннер и другие – непреднамеренно, конечно, – высекли из той энергии отчаяния, которая сгустилась в сердцах сотен, искру величайшего гнева, и тогда тысячи «десперадос» («отчаявшихся») бросили все, что у них было, поднялись – наши отцы и деды – и двинулись в Эрец Исраэль, где создали Государство Израиль.

Странно, парадоксально, но эти молодые идеалисты воспылали страстью «показать» Бреннеру, что они «вовсе не такие», каковыми были на самом деле. Доказать ему (Бреннеру), что они не страдают политическим бесплодием. Так поднялись они, сойдя со страниц его книг, выдравшись из собственной кожи, чтобы доказать Бреннеру, насколько он ошибался, как глубоко он их обидел, как чудовищно он к ним несправедлив.

Не покажется ли читателю, что мой рассказ – ка́кая-то детективная история, герои которой сходят с книжных страниц, чтобы отомстить автору? Быть может. Но дело обстояло именно так: литература, созданная как надгробный плач, как

реквием тому миру, который агонизирует и угасает, литература, публично разоблачавшая импотенцию молодого еврейского поколения – запутавшегося, оторванного от корней, – эта литература одновременно оказалась и детонатором, и горючим материалом для той революции, успехи которой превзошли все, что виделось писателям даже в самых безумных мечтах.

И вот, оглянувшись назад, мы вдруг видим, как сами герои Бреннера сделали так, что сегодня рассказы писателя воспринимаются жестокими, преувеличенными, наполненными ненавистью. Герои его стали воинствующими опровергателями автора. Так воплотилась надежда, которую Бреннер лелеял в глубине сердца, надежда – наперекор всему! – которую он так и не осмелился высказать.

А теперь: какова же связь между всем сказанным и израильской литературой? Когда же автор заговорит о деле и заговорит ли вообще о том, что происходит в современной израильской литературе? Поведет ли он наконец речь о своих товарищах и долго ли будет воздерживаться от разговора о самом себе? Но ведь с первой же минуты речь ведется обо всем этом: о своих товарищах, о самом себе, только голова его и шея – как уже легко было заметить – повернуты назад... По-видимому, все, что случилось в новом, свободном Государстве Израиль, должно выглядеть как абсолютно новая страница и в жизни, и в литературе. По-видимому, канули в прошлое времена, когда охваченные безысходностью писатели языком призраков отпевали разрушающийся мир. Так разве мы не в состоянии предоставить мертвым похоронить своих мертвецов, а самим отправиться дальше налегке и с веселым сердцем?

Действительно, подобные настроения царили у нас некоторое время. До провозглашения независимости и в первые годы существования государства возникла литература, получившая название «литературы сабр»*. Часто это бывала литература «геройских сюжетов», где воспевался дифирамб «чужеродному еврею», который утром пашет землю, вечером крутит любовь с киббуцными красотками, а ночью в одиночку побеждает батальон злых арабов. Еврей этот представлял

* «Сабра» – колючка, плод кактуса, сладкий внутри; в переносном смысле – уроженец Эрец Исраэль. – Прим. переводчика.

пошлую помесь фанфарона и «мачо»*, в этой литературе эхом отозвались самые худшие черты произведений Хемингуэя, и в ней определенно нетрудно обнаружить влияние советского социалистического реализма с его тракторами и пресловутыми восходами солнца.

Но здесь мне хочется оговориться: даже в те годы, отмеченные вполне понятной эйфорией, наши писатели и поэты никогда не опускались до плакатно-пропагандистских изданий. В сущности, мое изложение происходившего несправедливо по отношению к литераторам тех лет. Это – изложение, если можно так выразиться, «с точки зрения надежд», надежд, возлагавшихся тогда многими читателями и критиками на израильских писателей. Израильские писатели, в основном, этих надежд не оправдали, и я говорю об этом не только с глубоким пониманием и симпатией по отношению к тем, кто надеялся, но и с глубоким уважением к писателям и поэтам, которые не хотели и не могли «ответить на социальный заказ». Подспудные биения иудейского пульса: воздействие страха и чувства вины, амбивалентность, ирония, особая ирреальность, мистический отзвук на голоса конкретной реальности – все это никогда не утихло.

Примерно в 60-е годы возвращаются темы, мелодии, герои и даже некоторые технические приемы, характерные для поэтов и писателей «великого поколения». Основной, глубинный контекст новейшей ивритской литературы вновь нашел свою реализацию в литературе последних лет – вечный страх перед приближающейся катастрофой. Ирреальность времени и пространства, неотвязное чувство вины за грехи, которые мы совершили, и за грехи, которые лишь снилось нам совершить, и за грехи, которые недруги наши «пришивают» нам, и за грехи, которых мы никогда не совершали. Романтическая тоска по далеким странам, по райской «земле обетованной». Состояние войны и осады, политического конфликта – ситуация, которая в литературе превращается в квинт-эссенцию нашего человеческого состояния. И, наконец, главное – усилие, столь характерное для «великого поколения»: неустоявшимся языком, изменяющимся почти каждый день, –

* Мачо – словечко из разговорного иврита; обычно обозначает «сердцеед», «донжуан». Имеет иронически-презрительный оттенок. – Прим. переводчика.

– запечатлеть неустоявшуюся реальность, которая изменяется с невероятной быстротой.

И если вообще имеется общий знаменатель, объединяющий всех столь различных еврейских писателей, живущих и творящих сегодня в Израиле, – то это, конечно, он, наш язык, напрягающийся до последнего предела в попытке удержать огонь, ветер и воду, дабы придать им форму.

В ивритской литературе этих лет все еще существует глубинное ощущение, общее для многих писателей: пророческое предсказание не сбылось, но пророческое предупреждение реет над нами. И то, что сегодня видится нам устойчивым и неизменным, – не существовало вчера и может исчезнуть завтра. Сны, кошмары, воспоминания, ужасы ночи могут обернуться завтра утром газетными заголовками.

Все открыто...

Ну, а что же израильские читатели? Наша литература не доставляет особого удовольствия израильским читателям. Они читают, словно одержимые навязчивой идеей. Читают больше, чем в любой западной стране. Читают больше, чем любой народ в мире. Читают и негодуют, потому что «эти писатели подавляют наш дух, наносят ущерб нашей морали и, быть может, помогают всемирной антиизраильской пропаганде». Читают и негодуют!

Возможно, в нашем поколении произойдет то же самое: взбунтуются наши читатели, исполнятся гневом, и отбросят наши писания, и проклянут нас, и поднимутся, и вновь революционно изменят себя и наш сегодняшний мир.

И когда это произойдет, когда восстанут они, чтобы доказать, что мы, писатели, просто-напросто евреи-анти-семиты, понапрасну обижающие своих соплеменников, – когда они сделают это и изменят к лучшему ситуацию – вот тогда-то и превратится современная ивритская литература в литературу политическую в самом широком смысле этого слова.

Тогда, быть может, станем мы достойны занять место в одном книжном шкафу с Бреннером и его соратниками, но и то лишь на самой нижней полке.

И последнее: ведь каким-то образом и вы, читатели, «включены» в это мое повествование о современной ивритской литературе, повествование об отчаянье и тоске, о немыс-

лимом упрямстве и об огромном жизнотворном начале. И глупец тот, кто тцится втиснуть всё это в рамки одного недлинного текста.

А остальное – и главное! – ожидает вас в книгах.

Перевод с иврита В. Радуцкого

«ДВАДЦАТЬ ДВА»

Вышел в свет № 52 (февраль – март 1987 г.)

В н о м е р е :

рассказы Д. Таксера, Л. Вайнштейна, С. Юрьене-на, Л. Ицелева; стихи Н. Ваймана, В. Тарасова, М. Генделева, Г. Дризлиха; статьи Г. Галкина и А. Этермана о проблемах современного Израйля; очерк О. Кустарева «Честертон» (к 50-летию со дня смерти); политические эссе И. Шапиро «Покотения в политике» и И. Шумпетера «Две концепции демократии»; философский диалог Бен-Баруха «Разговор ни о чем»; интервью с Н. Гутиной и отрывки из ее новой книги «Журнал»; рецензии А. Либина и В. Кагана.

Принимается подписка на 1987 год.

Заказы высылать по адресу:
«22», п/я 7045, Ramat Gan, Israel

Колонка редактора

УРОК ГЛАСНОСТИ ПО-СОВЕТСКИ

Советская печать и раньше не обходила вниманием нашу культурную и политическую эмиграцию, но в последний месяц страницы этой печати буквально заполнили материалы против зарубежных «предателей» и «отщепенцев». Что же, собственно, случилось, что вызвало в стане «борцов с буржуазной пропагандой» столь бурную и, прямо скажем, неадекватную причине реакцию?

Группа представителей творческой и правозащитной эмиграции выступила с «Заявлением для прессы», в котором попыталась определить критерии оценки объявленной советскими властями политики «гласности» и «перестройки». И по смыслу, и по содержанию Заявление предназначалось прежде всего Западу, рискующему сегодня вновь, как и в печальной памяти годы так называемого детанта оказаться в ловушке искусно разработанной советскими пропагандистами дезинформации. Текст этот широко опубликован на Западе, передан в Советский Союз многими радиостанциями, вещающими на русском языке, и вот теперь предан гласности в СССР «Московскими новостями», поэтому мне нет надобности возвращаться к его содержанию.

Чем же тогда все-таки объяснить пропагандистский переполох в советской прессе? Честно говоря, даже мы – авторы Заявления – не ожидали подобной реакции. Первой откликнулась «Правда», выходящая, как известно, двенадцатимиллионным тиражом. В «Реплике» В. Корионова, выдержанной в духе лучших сталинских традиций, группа подписавшихся квалифицировалась как кучка предателей и отщепенцев, добровольно отторгнувших себя от родного отечества. Что называется, коротко и ясно.

Но, видимо, по-чекистски нелицеприятный тон корионовской реплики внес некоторую дисгармонию в слаженный хор проповедников эры революционных перемен в Советском Союзе, грозя покоробить чувствительный слух поклонников этой эры на Западе, и на выручку своему простодушному коллеге бросился флагман нынешней гласности в отечественной

печати газета «Московские новости» во главе с ее новым редактором Егором Яковлевым. Для непосвященных поясню: орган этот выходит на пяти языках, предназначен в основном на экспорт и курируется Агентством Печати Новости, то есть издательским отделом КГБ.

Этого Яковлева, по имени Егор, я знал еще в бытность его заместителем главного редактора «Советской России», затем шефом ежемесячника «Журналист» и наконец специальным корреспондентом «Известий». И хотя вышеозначенный Егор никогда не блистал большим умом в жизни или сколько-нибудь серьезным дарованием в собственной профессии, его пространный комментарий к нашему Заявлению поражает меня своей претенциозной убогостью: ни одного убедительного довода, возражения, аргумента по существу. Сплошной набор псевдоинтеллектуальной демагогии, смесь ханжеского лицемерия по отношению к одним и кухонных инсинуаций по адресу других.

Яковлев, по имени Егор, с самого начала делит авторов Заявления на «хороших» и «плохих». В его лирических всхлипах об Аксенове и Любимове так и слышится рефрен всех начинающих следователей: «Слушайте, Иванов, вы же умный человек, что вас заставило связаться с такой сволочью, как Сидоров!» А затем Сидорову то же самое об Иванове. Прием нехитрый, но, тем не менее, в некоторых случаях довольно эффективный.

Переходя к вашему покорному слуге, Яковлев, по имени Егор, спешит поведать читателю про какое-то мое «бормотание» о «вере, царе и отечестве». Расчет и здесь прост, как песня жаворонка: представить меня эдаким юродивым не в своем уме и не всегда в трезвой памяти. Каюсь, у меня множество пороков и недостатков, но все же я еще никогда не доходил до той степени самоубийственного идиотизма, чтобы во время прогулок по Страстному бульвару рассказывать крупному функционеру отдела дезинформации КГБ о своих симпатиях к монархизму. Ведь, как известно, от этого самого бульвара до Лубянки рукой подать.

Примерно в том же духе и стиле выдержан весь его комментарий. А единственный раз, когда комментатор касается одного из конкретных положений нашего Заявления, посвященного проблеме вывода советских войск из Афганистана,

он, сам того не замечая, оказывается в роли той самой унтер-офицерской вдовы, которая еще во время оно сама себя высекала.

Упрекая авторов в политической наивности, Яковлев с прямо-таки умильным простодушием восклицает: «Махнуть рукой на тех, кому стремились помочь; уйти, не думая, что произойдет за твоей спиной. Нет, так политика не делается...»

Употребляя любимую, хотя и малосостоятельную параллель советской пропаганды между Афганистаном и Гранадой, я мог бы ответить сейчас бывшему своему знакомцу и его хозяевам: «Сделать то же самое, что и американцы: прийти и уйти, оставив народ самому решать свою судьбу и судьбу советских коллаборантов. А если вам своих друзей так жалко, то взять их с собой, уверяю вас, их окажется не так уж много, чтобы им не нашлось места в такой большой стране, как СССР!»

Но опубликовав наше Заявление с целью демонстрации подлинности политики гласности, «Московские новости», против собственного ожидания, что называется, выпустили из бутылки джинна. Тираж газеты, по признанию самого Яковлева, разошелся мгновенно, к стендам у здания редакции началось паломничество, вывешенный материал перефотографировался, переписывался от руки, тут же растекаясь по всей стране. Родился самиздат, который невозможно было пресечь в административном или законодательном порядке, ибо источником его стала официальная публикация.

Появление писем читателей в следующем номере, затем «разоблачений» по адресу Интернационала Сопротивления, под чьим грифом Заявление появилось в некоторых западных изданиях, только подлило масла в огонь. Советским представителям, тому же Егору Яковлеву, пришлось давать разъяснения для иностранной печати, отчего проблема только усложнилась, разрастаясь с течением дней, словно катящийся с горы снежный ком.

И тогда в ход была пущена, так сказать, тяжелая артиллерия. В номере «Московских новостей» от 10. 4. 87 появилась стенограмма «Круглого стола», в котором приняли участие несколько представителей творческой и партийной интеллигенции: Михаил Шатров, Олег Ефремов, Михаил Ульянов и

Лен Карпинский. Председательствовал, разумеется, Егор Яковлев.

Казалось бы, за семьдесят лет постыдного соучастия во всех преступлениях и абсурдных спектаклях советской системы, от апологетики ГУЛага и казней собственных коллег до гимнов кукурузе на Северном полюсе и прославления великих произведений Леонида Брежнева, наша интеллигенция могла бы хоть чему-нибудь научиться и сделать для себя хоть какие-то выводы. К сожалению, судя по этому «Круглому столу», ничему не научилась и давно все забыла.

Те же, что и пятьдесят, сорок, тридцать, двадцать и десять лет назад речи, те же аргументы, та же терминология. Советский миллионер Михаил Шатров, чуть не тридцать лет коллекционирующий «павловскую» мебель, обвиняет своих зарубежных собратьев, мыкающих на Западе эмигрантское лихо, в корыстных побуждениях. Обвешанный всеми побрякушками и званиями государства Михаил Ульянов намекает на их политическую зависимость. Лен Карпинский, тот самый, канувший было в политическое небытие Лен Карпинский, который после знаменитого хрущевского погрома на Выставке в Манеже и последовавшего вслед за этим идеологического шабаша в Кремле, будучи секретарем ЦК ВЛКСМ по пропаганде, начальственно покрикивал на поборников тогдашней гласности Аксенова и Неизвестного, обличает их теперь как врагов перестройки и демократизации: вот уж воистину метаморфозы истории! Не отстают от них и вождь театрального прогресса Олег Ефремов, «бормоча» что-то об «ущемленности эгоистов» и «процессе демократизации».

Кстати, позволю себе спросить Яковлева, по имени Егор, клещащего мне в итальянской газете «Республика» «аморалку» в связи с моим пристрастием к зеленому змию: «В каком состоянии вы вытащили за этот „Круглый стол“ нашего именитого режиссера – до, во время или после похмелья? Или то, что своим в заслугу, чужим – в строку?»

Не хочу и не могу опускаться до аргументов яковлевского уровня, заимствованных им из арсенала московских коммунальных кухонь, а то бы я мог поведать нашей аудитории множество пикантных подробностей из частной жизни и других участников этого «Круглого стола», включая сюда самого Яковлева, по имени Егор, ибо знаю о нем гораздо больше, чем он знает о самом себе. Но подобного рода аргументацию в спо-

рах я великодушно оставляю своим оппонентам. Они стоят того!

В заключение не откажу себе в удовольствии процитировать пассаж из заметки «Московских новостей» от 5. 4. 87, опубликованной под заголовком «Нетерпимость»:

«Писатель, разумеется, волен в сравнениях. Сравнения могут быть даже самые неожиданные и парадоксальные. В том числе из батального жанра, коль скоро речь идет о борьбе. Хотя бы идейной. Однако, пожалуй, прежде всего в сфере идейной особенно режут слух перехлесты, легкость, с какой из подручных средств выстраивают баррикаду и для удобства расставляют одних по одну ее сторону, а других – неудобных и неугодных – по другую».

Золотые слова! К ним бы «Московским новостям» и прислушаться. Глядишь, поумнели бы.

Продажа кассет артистки ВЕРЫ ЕНЮТИНОЙ

Всем, кто любит русскую литературу, кому дорог русский язык, кому трудно самому читать из-за возраста или по состоянию здоровья, — советуем приобрести кассеты артистки Веры Енютиной.

Обширный каталог состоит из 130 кассет.

Детский отдел: Русские народные и современные сказки, сказки Пушкина, Толстого, Мамина-Сибиряка. Библия для малышей. Рассказы из русской истории.

Уроки русского языка для начинающих и иностранцев.

Отдел прозы: Пушкин, Лермонтов, Толстой, Тургенев, Лесков, Чехов, Куприн, Андреев, Бунин, Набоков, Ремизов.

Поэзия: Все русские поэты, начиная с Баратынского и кончая Пастернаком и Цветаевой.

Для любителей театра: Кассеты с отдельными сценами из пьес Шекспира, Чехова, Островского, Ибсена.

Каталог — бесплатно.

Чеки, заказы и вопросы посылайте по адресу:

V. Enyutin, 3, Pillsbury str.
Claremont N. H. 03743 U.S.A.

Наша почта

16 апреля 1987, Мюнхен

Дорогой Владимир Емельянович!

По поводу адресованного мне риторического вопроса в «Колонке Максимова» № 51, имею удовольствие разъяснить следующее. Редактор, чья колонка, спрашивает: зачем в моей статье «А где же ваши сонеты?» («Синтаксис» № 16) упоминается эпосея Александра Исаевича Солженицына?

Отвечаю: для примера.

Речь в моей статье шла о творчестве прекрасного писателя Георгия Владимова и о том, чем ему угрожает эмиграция. Для иллюстрации была выбрана судьба великого писателя, написавшего некогда гениальный рассказ («Матренин двор») и докатившегося на чужбине до «Красного колеса». Более устрашающего примера у меня под рукой не было.

Согласитесь, не Вас же, Владимир Емельянович, было называть? Слов нет, пишите* Вы, конечно, ужасно. Как дворник. Это все знают. Но дело в том, что, в отличие от Солженицына или Владимова, Вы всегда плохо писали.

И, боюсь, это у Вас уже не пройдет.

Целую ручки

Gloria Mundi

ОТ РЕДАКЦИИ: Анонимок мы, как правило, не печатаем, оставляя эту привилегию «Синтаксису», но для этой сделаем исключение, уж больно она показательна для «наших плюралистов». Ниже приводим также ответ Владимира Максимова:

Дорогая Глория Мунди! Если Вы имели в виду такого дворника, как Андрей Платонов, то сравнение с ним для меня большая честь. Если же нет, то я совершенно согласен с Вашей оценкой моих литературных опусов. Меня только утешает мысль, что Вы лично и Ваши вдохновители из «Синтак-

* Выделено нами. Таков уровень дворницкой грамотности нашей ценительницы. — Р е д.

сиса пишете еще хуже. Так что, пока все вы живы и здоровы, я могу смотреть на себя без комплексов и спать со спокойной совестью. Ручек Ваших, к сожалению, не целую, я слишком брезглив.

Владимир Максимов

ОТВЕТ И. Г.

В журнале «Континент» (№ 49, 1986 г.) помещена рецензия на мою книгу «Созидатели и разрушители» (Париж, 1983).

По традиции на рецензии не отвечают. И в СССР это вполне оправдано: редактор любого журнала (должность номенклатурная) – защищает интересы власти и не допускает лишней полемики. В русскоязычных журналах, выходящих на Западе, неответ автора на рецензии возможно объяснить стремлением редактора пресечь эмигрантские склоки. Однако в особых случаях должны быть исключения. Ошибочная рецензия в журнале, проникающем в СССР, может опорочить и даже загубить ценное начинание. Поэтому автор обязан на нее ответить вопреки силе инерции и привычки, царящей в журналах, и избежать, таким образом, окольного и сложного пути снабжения вкладышем с ответом на рецензию своей книги, отправляемой с помощью советских моряков в СССР.

И. Г. считает, что «автор, конечно, понимает условность деления всего человечества на „созидателей и разрушителей“». Таким образом, рецензент недвусмысленно выражает свое отношение к предложенному делению, как к упрощенному и не заслуживающему внимания. Вопреки этому мнению, я обосновываю на стр. 9-15 моей книги необходимость разделения людей на созидателей и разрушителей, коль скоро такое разделение отвечает положению вещей. Если прежние века определились, главным образом, силой и умом созидателей, умевших держать в узде разрушителей, то в XX веке во многих странах последние одержали ряд ошеломительных побед над выразителями порядка и традиционного развития. Деление людей по безусловным или условным признакам, таким, как раса, нация, класс, сословие, культура, язык, положение в обществе (цвет воротничка), не объясняет грозного хода событий в наше время. Деление на созидателей и разру-

шителей гораздо сложнее и лишено наглядности вышеприведенных признаков. Должное поведение создателя требует от него постоянных усилий, ибо в каждом человеке есть зерно разрушительного начала. Качество человека определяет преобладающую в его жизни линию поведения. Благодаря своей свободной воле человек может раскаянием, возвратом к Богу, церковным покаянием спасти свою заблудшую душу. Каин может стать человеком доброй воли и даже быть причисленным к лику святых. Пример тому Апостол Павел, создатель церквей и величайший святой, который в бытность Савлом гнал первых христиан и разрушал их общины. И наоборот, человек доброй воли может стать Каином и даже сатанистом. Поэтому сложное и ответственное размежевание создателей и разрушителей требует постоянного размышления и проверки. *Сложное и трудоемкое деление на создателей и разрушителей отвечает зато природе человека. И достойная, счастливая жизнь человека зависит от сознания им этого деления и необходимости управления самим собой.*

Разрушителям советской выделки с детских лет вбивают в голову предназначенное для полуобезьян деление людей на эксплуататоров и эксплуатируемых, и многим из них это объяснение начинает казаться «единственно научным». При навязанном разрушителями делении на классы выпадают из их схемы многие проявления людей: священник-марксист и миллиардер-коммунист сеют развал душ, банкир, член «Тройственной комиссии» (Trilatérale) снабжает СССР и его сателлитов огромными кредитами без надежды на их погашение, а в прошлом монархисты Гучков и Шульгин заманили в ловушку государя и навязали ему отречение в конце войны перед уже близкой победой. *Но именно в этом сложном мире мы должны разбираться, принимать решения, действовать.*

Рецензент пошел по пути критики, цель которой осмеять автора, создав впечатление о его книге как о чем-то незрелом и доморощенном. Тем самым, такая критика разрешает себе вольности в суждениях и освобождает себя от серьезной аргументации. Вот и призывает И. Г. в данной рецензии Владимира Ильича оценить задачу книги «архитруднейшей», припутывает Великого Инквизитора и отдел ЦК по религии, уверяет читателя, что остается «впечатление тоталитарности» от «непосильной задачи», которую поставил перед собой Панин. В силу этого основное содержание книги выпало из поля зре-

ния: обоснование и смысл деления людей на созидателей и разрушителей, первооснова данного деления – этические законы в жизни человека и глубинные законы в жизни народа, мир в виде маятника (осциллирующий мир), задачи людей доброй воли, действующих согласно этическим законам. Так И. Г. совершил подмену. Он направил свои стрелы на приложение 2, представляющее собой справку о предыдущей моей книге и введенное в связи с замалчиванием моих работ. Но, увы, рецензент не дал себе труда разобраться в предлагаемой схеме Общества Независимых – прообразе общества созидателей, ибо его «настораживают явно любительские проекты без отношения к сложным проблемам экономики, политики, Третьего мира и т. д.». Пренебрежительность тона оправдывает отсутствие анализа со стороны И. Г. «Любительский» проект не требует изучения. Тем самым рецензент идет вольно или невольно по стезе советского журналиста, специализирующегося в замалчивании и искажении правды вещей и фактов. И. Г. подводит редактора и журнал. Ибо читатель убежден, что ему во всяком случае сообщают верные факты. Как же возможным стало преподнести читателю, что проекты автора не связаны с проблемами экономики, когда приложению 2 предпослано приложение 1 – аннотация на мою работу «Политическая экономия на основе закона сохранения энергии» с указанием источника, в котором она напечатана («Мир-маятник», Тель-Авив, 1977)? «Мир-маятник» не получил распространения, видимо, под давлением враждебных сил. Однако он есть в Тургеневской библиотеке и в Национальной библиотеке в Париже, где добросовестный рецензент мог бы с ним ознакомиться. Но я уверен, что И. Г. при встрече со мной не ответил бы на сходу заданные ему следующие вопросы:

– Какие новые формы эксплуатации возникли в СССР и применяются поныне?

– Какой вид эксплуатации имеет еще место в индустриальных странах Свободного мира?

– В чем сущность прибавочной энергии в сельском хозяйстве?

– Почему в схеме Маркса эксплуатируемый рабочий не погибает от истощения?

Не смог бы ответить на эти вопросы И. Г., ибо не дал себе труда ознакомиться с новой научно обоснованной политэконо-

мией, на основе которой и разработано Общество Независимых. В начале века разрушители в России верили в ложную политэкономиию Маркса, новую Библию, и, следуя ее заветам, коммунисты погубили в мире 150 (если не 200) миллионов. Так не следует ли созидателям иметь свое общество, разработанное на научно и практически обоснованных соотношениях в области производства и потребления?

Цель разрушителей в чистом виде – захватить и удержать власть с помощью обмана и террора. Самые вежливые напоминания извне о непрестанной работе машины террора встречают отпор разрушителей и рассматриваются как вмешательство в их внутренние дела. Поэтому им не приходит на ум ограничить свои палаческие возможности. И для разрушителей любого пошиба дикой представляется мысль о гарантах против катаклизмов, преступных переворотов, геноцида. Созидатели же, наоборот, придают огромное значение гарантам своего общества. Недоумение И. Г. по поводу гарантов подтверждает необходимость проведения революции в умах созидателей, о которой я пишу в моей книге, хотя рецензент об этом не обмолвился.

И. Г. восстает против «настойчивого повторения слов – „надо“, „нужно“, „необходимо“» в части работы о мире-маятнике. Однако сохранение человеческих условий жизни там, где они еще существуют, и отвоевание их в других местах нашей планеты, спасение христианской цивилизации и, тем самым, всего человечества – достаточное основание, чтобы требовать единения и сомкнутых рядов созидателей на их пути к Богочеловечеству в борьбе с мировым злом сатанизма.

Всю жизнь меня тяготило разъединение христиан. Я вырос в русской православной семье, неразрывно связанной с Церковью (все четыре родные тетки были монахинями), однако в 1971 г., перед отъездом на Запад, принял католичество, полагая себя солдатом единой воинствующей Всемирной Церкви Христовой. Мой дальнейший опыт жизни на Западе, изучение писаний отцов Церкви, размышления помогли мне прийти к следующему решению: нет необходимости для борьбы с мировым злом менять свою конфессиональность, ибо достаточно признать Папу Римского вождем не только христиан, но и всех верующих на земле и поддержать его борьбу с разрушителями; объединение христиан и других верующих вокруг религиозного центра при сохранении столь

долго, сколь им необходимо, своих догматических и литургических особенностей приведет к их сближению, а впоследствии к единению. (См. мою статью «К единению христиан» в журнале «Вестник РХД», 1986, Париж, № 147). Под знаменами этих идей я призываю верующих к единению, и жаль, что И. Г. усмотрел в этом «линию доминирующего единства, единения вся и всех» (и это при резком разделении мною людей на созидателей и разрушителей) «под знаменами» моих идей.

Враги созидателей внедряют удобную модель христиан в виде людей не от мира сего, разрозненных и толкующих о неппротивлении, всепрощении, любви к врагам. Увы, длительный и тяжелый путь предстоит еще проделать христианам до этих прекрасных идей на высших этажах христианства.

Солженицын в одном из своих ранних произведений обрел знаменательное слово о «шлемоблещущем добре». Теперь, когда необходимость сопротивления христиан натиску адских сил окончательно созрела, будущие рати созидателей-христиан, а затем и всех верующих, олицетворяют собой шлемоблещущее добро. И как можно скорей созидатели должны перейти к действиям: отвоевать положение в обществе, которое им принадлежит по праву согласно их труду, обязанностям и ответственности, и завоевать Общество созидателей, охраняемое гарантом от разрушительных взрывов.

Димитрий Панин

РАВНОДУШИЕ К ИСТИНЕ

О т р е д а к ц и и: По просьбе автора публикуем письмо в редакцию журнала «Страна и мир», в публикации которого редакция «Страны и мира» отказала.

В 11 номере журнала «Страна и мир» (за 1986 год) опубликовано письмо в редакцию за подписью Кронида Любарского, в котором автор (являющийся одним из редакторов журнала) выражает свое огорчение по поводу публикации в предыдущем номере «Страны и мира» рецензии Юрия Колкера на книгу воспоминаний Семена Липкина. Письмо это показалось

мне несправедливым по мысли и не вполне корректным по тону. Двадцать пять лет самой тесной дружбы с Юрием Колкером, а также его принципиальное неучастие в такого рода полемике побуждают меня высказать ряд замечаний по поводу письма г-на Любарского.

Поводом для огорчения послужило г-ну Любарскому то, что (по его словам) «Ю. Колкер достаточно обстоятельно для маленькой рецензии доказывает, что С. Липкин был конформистом». Действительно, слово «конформист» в рецензии Колкера присутствует. Но достойно ли поступает г-н Любарский, извлекая это слово из контекста и вовсе отстраняя вопрос о том, *как и в связи с чем* оно было употреблено рецензентом? Так ли ведутся споры между теми, кто всерьез дорожит истиной? Ведь человек, прочитавший одно лишь письмо г-на Любарского, с полным основанием решит, что Колкер написал статью о конформизме Липкина. Между тем, Колкер написал и опубликовал *положительную* рецензию на книгу Липкина. Эту книгу он приравнивает к «литературному документу, драгоценному для историка литературы и внимательного читателя»; она, по словам Колкера, написана «с подкупающей искренностью и мужеством». О самом Липкине Колкер пишет: «первоклассный поэт и переводчик, всю свою жизнь отдавший русской культуре»; «самостоятельный и глубокий наблюдатель, ценящий точность и полноту». В связи с религиозностью Липкина, Колкер говорит о его «возвышенной душе». То, что все эти слова г-ном Любарским забыты, едва ли можно удовлетворительно объяснить небрежностью, понятной у занятого человека, или нехваткой журнального места. Но этого мало. Уход от разговора по существу, от обсуждения вопроса, что же все-таки заставило рецензента назвать Липкина конформистом, – столь нарочит, раздражение г-на Любарского столь наглядно, что уже из одного этого читатель невольно начинает подозревать г-на Любарского в неправоте. Недобросовестность в полемике всегда, в конечном счете, не в пользу того, кто ее допустил. Создается впечатление, что г-н Любарский прячет (или не осознает) истинную причину своего раздражения.

Г-н Любарский пишет: «советская реальность такова, что через эту стадию [т. е. конформизм. – Т. К.] в той или иной мере проходят все советские граждане...». Суждение это бесспорно – но небезукоризненно. Почему – только «советские

граждане», и – только «проходят»? Считает ли г-н Любарский, что порядочный человек в свободной стране может вовсе не быть конформистом, оставаясь при этом достойным и полезным членом общества? Если да, то взгляд этот хоть и не нов, но прочно забыт. Обыкновенно полагают, что конформизм, в известных пределах, естественен и неизбежен и сам по себе еще ни на минуту не подразумевает беспринципности. Полный отказ от него означал бы крайний эгоизм, крайний анархизм.

Итак, г-н Любарский а) не пожелал вступить в обсуждение высказанной Колкером мысли и не потрудился пересказать ее для своего читателя; и б) возражает самому себе, ибо вложил не совсем обыкновенный смысл в слово «конформизм», приравняв его к беспринципности, – чем, вероятно, и было вызвано его огорчение. Здесь можно было бы и закончить, если бы г-н Любарский странным образом не перевел вдруг разговор на личность Колкера. Я продолжу предыдущую цитату из письма г-на Любарского: «...через эту стадию в той или иной мере проходят все советские граждане, даже те, кто ныне считают себя воинствующими антикоммунистами. Не составил исключения и автор рецензии кандидат наук Ю. Колкер». В этом фрагменте имеются две странности. Г-н Любарский, очевидно, навел справки о прошлом Колкера (с кем он лично не знаком), – почему бы ему, в таком случае, не добавить, что Колкер – кандидат *физико-математических наук* по специальности *биофизика*? Считает ли он занятие биофизикой в СССР той мерой конформизма, которой уже стоит стыдиться? Если так, если уж говорить о Колкере, то почему не упомянуть, что и биофизикой Колкеру заниматься не дали, вынудив уйти сначала в программисты, а затем в кочегары? Наконец, почему вообще стал перед г-ном Любарским вопрос о конформизме Колкера – в связи с его, Колкера, рецензией, где он не только не ставит себя в пример Липкину, но и вообще не говорит о себе ни слова? Так – переходя на личности, говоря *правду, но не всю правду* (т. е. передергивая) – ведут полемику советские журналы. Им же свойственно как бы невзначай поставить рядом с именем порицаемого автора эпитет, не имеющий к этому автору отношения, но, однако, уже одним этим соседством привязываемый к нему. Не возьмется ли г-н Любарский указать, с какой целью введен им в текст письма термин «воинствующий антикоммунист»? Насколько я знаю Кол-

кера, он – вообще не политик, все его мысли, и уже многие годы подряд, поглощены не политическими, а эстетическими и этическими вопросами современности.

Колкер, по словам г-на Любарского, что-то «доказывает», что уже само по себе неплохо, даже если доказательство ошибочно. Наоборот, г-н Любарский поучает: «Нравственная сила человека определяется не тем, был он или не был конформистом, а тем, нашел ли он в себе силы им перестать быть и заявить об этом в открытую...». Кажется, что г-н Любарский опять спорит с самим собою: ничто в его сентенции не противоречит мыслям, высказанным Колкером, написавшим: «Еще в меньшей мере, чем Гроссман... Липкин может быть назван благополучным советским писателем... Безусловно, ни при каких обстоятельствах, не был он и по сей день не является прислужником власти...».

Г-н Любарский продолжает: «С. Липкин смог это сделать [т. е. перестать быть конформистом. – Т. К.] – притом находясь не здесь, в безопасном зарубежье, а там. Мне кажется, что написанное Ю. Колкером, – написанное сейчас, когда 75-летний поэт находится в столь трудных жизненных обстоятельствах, – это элементарная человеческая бестактность...». Замечу сначала, что, точно в насмешку над г-ном Любарским, «столь трудные жизненные обстоятельства» завершились для Липкина как раз к моменту спора: Липкин вернулся в ССП. Отмечу также может быть и тактичное, но крайне не логичное противопоставление г-на Любарского, словно бы призывающего Колкера не быть конформистом здесь, «в безопасном зарубежье» (куда, следовательно, дорога открыта лишь конформистам). Можно допустить, что все это – лишь неловкости стиля, простительные у политического деятеля, которому не до частностей, для которого смысл и правда дороже деликатности и стилистической чистоты. Но и со смыслом и правдой у г-на Любарского дело обстоит не лучше. Мысль Колкера такова: *в довоенные годы*, в годы вымиравших от голода деревень, Липкин был конформистом – но не только (и не столько) по отношению к советской власти, сколько по отношению к господствовавшему тогда в национальном сознании преувеличенному почитанию писателя, его роли и места в народной жизни; ведь если *признанные* писатели суть авгуры национальных святынь, то тогда *непризнанных* – можно убивать. Упрек Колкера Липкину таков: *тогда* – в указанном смысле конфор-

мистами были почти все, в том числе и те, кем мы сейчас гордимся. Но прошли годы, и Липкин не пересмотрел своего прошлого, как это сделал в свое время, например, Лев Толстой, в молодости стыдившийся выезжать иначе как четвертой цугом, а в старости – видеть, как за ним выносят ночной горшок. Колкер пишет: «Нельзя, разумеется, упрекнуть писателя в том, что он живет богаче крестьянина, но от христианина ждешь, что он сделает это сам...». Затем Колкер сравнивает сегодняшнее бедственное (это подчеркнуто) положение Липкина – с обыкновенным, небедственным, положением писателей так называемой второй литературы. Делает он это на примере Татьяны Котович (чьи стихи были недавно по его предложению опубликованы «Континентом»), поэтессы, которая, правда, не выходила из ССП, где никогда не состояла, и которой лишь 40, а не 75 лет – но которая большую часть своей жизни работает подсобницей на тяжелых производствах и, кажется, по сей день голодает, – между тем как ее стихи тоже, и уже давно, с 1960-х, заслужили признание на родине и публиковались там. Мысль простая, с нею можно не соглашаться, на нее можно рассердиться – но ее необходимо было, пусть коротко, но изложить.

Мне понятна почтительность г-на Любарского к С. И. Липкину, я ее разделяю (как разделяет и Колкер в своей статье). Но никакая почтительность не оправдывает равнодушия к истине. Нет авторов, не подлежащих критике, – если только критика эта добросовестна и доказательна. Статья Колкера выгодно отличается от реплики г-на Любарского как раз этими качествами – желанием понять и быть понятым, добросовестностью, сдержанностью.

Ряд недоумений у читателей и авторов «Страны и мира» должна вызвать и последняя фраза из письма г-на Любарского: «Я хочу извиниться перед Семеном Израилевичем Лишкным за эту публикацию» (т. е. за статью Колкера). Если это редакционное извинение, то почему оно подписано только одним из редакторов? Не попала ли статья Колкера на страницы журнала контрабандой? Если г-н Любарский извиняется от своего имени, то почему он извиняется за публикацию? Не означает ли это, что он является (или чувствует себя) **главным редактором** журнала, издаваемого (как это принято думать) коллегией равноправных редакторов? Далее, извиняется ли

г-н Любарский перед С. Липкиным также и за похвалы, расточаемые последнему Колкером?

Быть может, короткая реплика г-на Любарского (в целом, по стилю и тону, вовсе не характерная для «Страны и мира») и не заслуживала бы столь подробного возражения, — не будь она печальным напоминанием. Она вновь показывает, как в современном русском зарубежье *читают и пишут*. В ней — наше отношение к литературному труду. Мы все скорее писатели, чем читатели: читаем небрежно, вычитывая свое в чужом; но и пишем кое-как, и часто не ради истины, а ради сведения счетов за невысказанные обиды. Не только правдоискательство и совесть, но и точность ушла из литературного обихода, — видимо, как нечто мещанское.

До сих пор «Страна и мир» был журналом, где «мнение, высказанное автором», могло «не совпадать с точкой зрения редакции» (так значится на обложке). Это дает мне надежду, что моя заметка, затрагивающая нечто большее чем частный спор, будет вами, господа редакторы, помещена у вас без искажений и купюр.

Иерусалим, 30 декабря 1986.

Татьяна Костина



Израильский журнал на русском языке не только для евреев. Каждую неделю: Интервью с политиками, экономистами, эмигрантами и новоселами. — Обзор израильской печати («Маарив», «Едиот ахронот», «Харец», «Джерузалем пост» и т. д.) — Лучшее из журналов Свободного мира. — Самиздат. — Роман в продолжениях. — Письма читателей.

— Дискуссии без цензуры. — Новые рассказы и повести несоветских русских авторов. — Что происходит по ту сторону кордона и др.

Книги издательства «АНТИКВАРИАТ»

Александр Котомкин. О чехословацких legionерах в Сибири. Воспоминания. Стр. 184.

Константин Вагинов. Труды и дни Свистонова. Роман. Стр. 152.

Иван Аксенов. Пикассо и окрестности. Стр. 72.

П. Заварзин. Работа тайной полиции. Воспоминания. Стр. 175.

П. Крупенский. Тайна императора. Историческое исследование. Стр. 115.

Владимир Лебедев. Борьба русской демократии против большевиков. Стр. 62.

Виктор Шкловский. Ход коня. Сборник статей. Стр. 206.

Эм. и О. Штейн. Чтобы Польша была Польшей. Антология русской поэзии. Стр. 74.

Наталия Резникова. Пушкин и Собаньская. Историческая повесть. Стр. 60.

Алексей Ремизов. Пляс Иродиады. Сборник коляд. Стр. не нумерованы.

Редактор и издатель Э. Штейн

Antiquary
594 Chestnut Ridge Road,
Orange, Conn. 06477, USA.

Критика и библиография

ВПЕРЕД, ВОЙНЕ НАВСТРЕЧУ...

Бывает так, что, когда человеку становится особенно тяжело, на него вдруг нападает приступ смеха, который сотрясает, доводит до колик, до безудержных слез. Александра Зиновьева, ученого, известного специалиста в области логики и социологии, природа наделила ранимой душой писателя, в котором беспощадная сатиричность совместилась с простодушием и, порой, почти детской беспомощностью. Мы привыкли к Зиновьеву саркастичному, парадоксально-язвительному, гротескно-фантастическому, но такого сочетания всех этих свойств с обнаженным человеческим страданием, как в «Пара беллуме», не встречалось, пожалуй, ни в одном из его произведений.

Впрочем, начнем по порядку. «Пара беллум» – это сатирико-психологический детектив, в котором жестокому осмеянию подвергаются как современное советское, так и западное общества. Действие разворачивается, в соответствии с детективной композицией, то в Советском Союзе, то в Западной Германии, а подоплека событий основана на автобиографическом материале, доведенном до трагического финала. Героев всего только три, причем один из них – Социолог – является прототипом самого автора, остается фигурой бездействующей, как бы маячащей за кулисами событий и объявляющей о себе чисто риторически – самоцитированием статей, трактатов и социологических исследований. Социолог живет в Западной Германии и становится той самой «дичью», за которой охотится второй герой повести, советский шпион-убийца по кличке Немец. Немец относится к категории засланных на Запад многочисленных «подрывников», которыми КГБ не особенно дорожит, не обменивает, не отправляет в случае провала или ненадобности, а просто уничтожает. Немец и сам знает, что является смертником, однако относится к этому как к неизбежности и не впадает в панику. Приказы он получает

Александр Зиновьев. Пара беллум. Лозанна, «L'Age d'Homme», 1986.

непосредственно от шефа, третьего, и главного, героя повести, именуемого по-зиновьевски коротко Западником.

Автор не скрывает, что под этим обозначением скрывается конкретное лицо – ныне умерший крупный советский сановник, один из важнейших руководителей того отдела КГБ, который ведал в свое время активностью в странах Запада и выработал долговременную программу дезорганизации общественного сознания в западных странах. Поведение, образ жизни и карьера этого человека ставятся в центр повествования, а его деятельность определяет основные сюжетные линии произведения. Раскрытие этого персонажа помогает уяснить, что же представляет из себя группа загадочных серых невзрачных существ, которые планируют в Москве судьбы и жизнь ничего о том не подозревающего населения планеты и приводят свои чудовищные планы в исполнение.

Этапы «славного пути» Западника и восходящая линия его карьеры банальны до отвращения: еще в стенах университета несколько удачных предательств, умелое маневрирование и сбрасывание с дороги потенциальных противников, умелые манипуляции по втиранию в доверие к генсеку Андропову – и возделенные позиции почти неограниченной власти надежно укреплены. Всю эту механику Зиновьев прекрасно знает, десятки подобных карьер разворачивались у него на глазах, и в повести подчеркивается этот момент рассказом о личной судьбе, так как именно Западник был его университетским товарищем и именно под его руководством осуществлялась операция «Социолог». Идеи и замыслы Социолога враждебны Системе, поэтому его вышвыривают на Запад, где он не так опасен, где его легче обезвредить и дискредитировать, где, в конечном итоге, его легче всего морально сломить и уничтожить.

Здесь-то в повествование и вплетается та режущая по сердцу нота, которая делает «Пара беллум» таким непривычно, не по-зиновьевски горестным и беззащитным. Вещь эта самая личная и доверительная из всего им созданного, писатель рассказывает об «операции», произведенной над ним, раскроившей его душу и сломавшей жизнь. Самое гнусное в ней то, что он был присужден режимом «к сверхвысшей мере наказания – к полному, пронзительному, ледяному и испепеляющему одиночеству... Страшная вещь тоска по покинутой Родине. Но еще страшнее тоска по Родине, которой для него уже нет и

никогда уже больше не будет». Это уже позже, в начале 1987 года, в обращении к Третьей эмиграции, Зиновьев произнесет полные достоинства и веры в свою миссию слова о том, что вышвырнутые за пределы Родины – это те же повстанцы, которые сумели восстать против собственного социального строя, и что надо мужественно идти до конца пути, предназначенного историей. В книге же, в этом до какой-то степени личном дневнике, автор не произносит высоких слов, он полностью отдается охватившему его чувству.

Однако писатель не был бы самим собой, если бы отбросил в сторону свой злой и опасный юмор, свою способность разить противника смелыми и неожиданными парадоксами. Само название повести несет в себе перевертыш, неожиданную игру слов: парабеллум это и вид оружия, и древнее изречение, гласящее, что тот, кто хочет мира, должен готовиться к войне. Последним, собственно, и занимается Западник, подчиненное ему ведомство и, в конечном итоге, все руководство гигантской, ошестиненной штыками державы. Они ведут хитрую игру по заморочиванию Запада, который хотят парализовать страхом перед грядущей атомной войной, для них важна не реальная советская мощь, а воображаемая.

Зиновьев потешается над западными руководителями, которые помогают Советскому Союзу бороться против Запада, над бесконечно ведущими переговоры о разоружении – «...из-за стола переговоров не вылезают... если и вылезают, то чтобы сменить протертые этими переговорами штаны», потешается над миротворцами, которые в один прекрасный момент превратятся в генералов. Он полагает, что Великая война все-таки разразится, причем в такой момент, когда никто не будет ее ждать, и что эту «войну богов будут вести ничтожества».

Пока же суд да дело, разворачивается саркастическое описание того, как советская правящая верхушка лихорадочно оборудует глубинные, непроницаемые для ядерного излучения убежища. Тут и шикарно отделанные пещеры с запасом необходимого на двести лет, и какие-то немыслимые бункера, предназначенные для спасения избранных, которым будет суждено стать родоначальниками нового человечества. Простые люди ведут себя иначе. Некая старушка, пережившая четыре войны и три революции, припасает мыло, спички и соль. Комиссия обнаруживает у нее огромные запасы озна-

ченных продуктов. Отпущенная судом на поруки, старушка шипит, что ее не заставят издохнуть, что прежде советская власть издохнет, чем она!

Карьера самого Западника плачевно обрывается именно из-за его чрезмерно ретивой подготовки к войне. Вместо того, чтобы, достигнув вершины власти, вцепиться в нее ногтями и зубами, он замышляет честолюбивый Проект предупредительной войны. В этом Великом плане наворочено много всякой всячины, в том числе идея особого военного государства в обычном и проект создания Великой кнопки, которую, в случае войны, нажмет не кто иной, как сам Западник. Этот несчастный забыл закон перманентной борьбы за власть на советских верхах: для того, чтобы удержаться на посту, руководителю надо стать «брежнеобразным ничтожеством».

Как недавно стало известно, в Копенгагене состоялся Всемирный конгресс сторонников мира. Этот «свободный и демократический форум защитников мира» готовился... в Москве. Выступавшие там западные деятели объявили, что нынче человечеству грозит ядерное уничтожение, а потому такие вещи, как справедливость, борьба за права человека и открытость общества, должны отойти на задний план. И это отнюдь не писательские домыслы, а самая реальная и обыкновенная наша действительность. Так что иногда позволишь себе усомниться – а уж настолько ли парадоксальны парадоксы Зиновьева? И он, который с гневом пишет, что в СССР для осуществления мизерных реформ «требуется десятки лет ожесточеннейшей борьбы руководства страной против своего народа», тут же добавляет: «Единственная сфера советского общества, в которой планы строго выполняются, – это агентурная работа». Этой-то агентурной работе и посвящается немалая часть «Пара беллума».

Трудно судить, имеет ли в данном случае место присущий в произведениях прием гротеска или дело обстоит именно так, однако почему-то веришь звучащему совершенно фантастически заявлению автора: «Устроить бы сейчас международный Конгресс советских агентов на Западе... Съехались бы со всего мира видные политики, дипломаты, священнослужители, генералы, ученые, артисты, спортсмены, художники, писатели, гангстеры... Мир содрогнулся бы от ужаса». Далее писатель объясняет, что агентурная война – это прекрасно разработанное советским руководством проникновение целой

армии агентов на территорию Запада, это физическое присутствие в теле противника, подобно микробному, вот почему советская агентурная война названа им «паразитарной», а главной ее задачей считается «разрушение внутренних самозащитных механизмов данной страны, ее деморализация и дезорганизация».

Один из рядовых солдат этой армии – Немец – рыскает по всей Западной Германии в поисках необходимых данных, в вылавливании военных секретов, в попытках подкупа чиновников различных фирм и ведомств. Немец – это винтик гигантского налаженного механизма, и одним из аспектов его работы является физическое уничтожение неугодных руководству лиц. По ходу повести не совсем ясно, почему Западнику становится ненужен обезвреженный и деморализованный на Западе его противник Социолог. Ведь сам же Зиновьев пишет, что идеи Социолога были полезны его университетскому товарищу, он постоянно их воровал, прочитывая все написанное изгнанником, и применял в своей работе на практике.

Как бы то ни было, неизбежное свершается, читатель лишь по беглому намеку догадывается, что Немец убивает Социолога, но, как видно, Таинственной Высшей силе неужто такое бесцеремонное ликвидирование одного из выдающихся представителей человеческого племени. Так что и Немец, по приказу все того же Западника, отправляется коллегами по работе на тот свет. Итак, гибнет и второй герой «Пара беллума». Всесильный Западник все сметает и сокрушает на своем пути. В его лице выступает сама Власть, когда она, как это бывает у советских бонз, сконцентрирована в руках одного человека. Впрочем, есть сила, перед которой самое упорное страшилище с мохнатыми бровями становится беспомощной куклой, прикованной к аппарату, заменяющему почки. Эта сила – время и смерть. Причем в случае со своим героем Зиновьев не ждет естественного развития событий, это не входит в суть детективного повествования – третий герой его повести Западник умирает быстро, скоропалительно, сразу же за гибелью тех, кого он приговорил к смерти.

Но автору ничуть Западника не жаль. Чутьочку усмехаясь, он рассказывает, что и Западник не Бог весть как боялся смерти. Гораздо мучительнее было для него узнать, что некролог ему дадут не по высшей категории – в центральной газете, с подписью лиц всего руководства, – а в заштатной газетенке

и с безликой подписью «Группа товарищей». Для советского чинуши «некролог не по чину» страшнее атомной бомбы.

М. Михайлова

«ТРИЧЕТВЕРТНАЯ ЛУНА В МАНДРОЛЕ»

«Так жили мрачные титаны».

Генрих Сапгир

Где, за какие грехи присужден человек на вечную адскую пытку еще при жизни?

«От шума всадников и стрелков» – это название свистит с обложки книги Юрия Милославского, где помещена фотография провинциальной улицы, с магазинами – винным и книжным.

Юрий Милославский сам родом из такого южного города, с улицы славного шпанюю Харькова. Из этого же города вышло немало писателей и художников, талантливых и злых, среди которых – писатель Юрий Милославский, предпочитающий яд насущный хлебу житейскому. Он живет в Иерусалиме с 1973 года, печатается регулярно в «толстых» русских журналах Зарубежья, таких, как «Континент», «Эхо», «22». В журнале «Эхо» несколько лет назад появились страшные, краткие «Городские романсы» Юрия Милославского, воспроизведенные и в книге «От шума всадников и стрелков». Каждый рассказ – нерушимая крепость. Каждая первая фраза каждого «романса» расстреливает с первого залпа:

«Вуляра старшего я никогда не видел, его расстреляли за год до нашего переезда на проспект Свердлова за людоедство; а может и не расстреляли, а заслали на урановые рудники: все говорят, что так часто бывает», – выпаливает одним духом рассказчик.

Жуть сразу круто забирает вверх, почти без разбега; тон – без всякого нажима обыденный, и в одной фразе – дикая беспощадная повесть, в этом, сверхтяжелом, нечеловечески напря-

Ю. Милославский. От шума всадников и стрелков. Анн-Арбор, «Ардис», 1984.

женном городском романсе «Вуляры», – уложившаяся всего в четыре строчки.

Ю. Милославского следовало бы назвать каким-нибудь неонатURALистом и по его сюжетам, и по таким деталям в повествовании, от которых зажмурился бы читатель романов Золя:

«...Плели многоцветные плетки из тонкого кабеля – в хвосты заматывались сферки из шарикоподшипников, вытачивали короткие металлические дубины с утолщением на конце – «балда»; Феся ходил с отрезком трубы, что заворачивалась в газетку – «культурой», Бора – с топориком из туристского набора «Широка страна моя родная», Слава Бездомников ломал плечи железным стержнем из ограды...» («Оружие»)

В этих строчках рассказа про убийство – «рассказа – убийства» – ритм как бы провинциального танго. Сюжет – словно античный миф.

Орест мстит за поруганье друга Пилада: заблатненные отроки за «ширево» (наркотики) заимели револьвер, и вот убит в сарае Витала-Керя, отбивший у одного из героев «Жаннку» на глазах у всех.

Жестокость текста, скандальность тематики и словаря Милославского вызывают немало дискуссий в прессе, устных споров. Читателю-обывателю противопоказана эта словесность, тяжеломерно-неизящная с точным и сильным нажимом на деталь:

«Крапивные заросли, если войти в них, достигали груди; крапива – на широких древесистых стеблях, была почти черною, с крупчатым блеском, словно драли над ней чугуна напильником, – окружали тяжелую лужу, поддерживаемую ручейком...»

А кто герои, возникающие из бездны? Это хулиганы городской окраины, созданные из сгустившегося кроваво-багрового отчаянья. Пьяные титаны, расплюснутые жизнью, потерявшие облик человека. Истуканы, памятники неизвестному преступлению в воровской подворотне. Среди них – выродившиеся больные черти, бывшие интеллигенты, у которых от некогда введенной порции «разумного, доброго, вечного» остается одна стебанутость.

Таков «комсомолец двадцатых годов», слабоумный персональный пенсионер в рассказе «Розин»; помешавшийся от

того, что вся его зрелая жизнь падает на сталинский период, с сохранившимися ошметками лозунгов той эпохи в немогущей голове. Сенильный энтузиаст стремится в путь – ибо пришел «сигнал» и надо вовремя успеть прибыть в «центр»...

Запах беды исходит от этих загнивающих заживо сцен и строк Ю. Милославского. И медленно, ненавязчиво проступает в них порою надмирная мораль. В рассказе «Сын Людмилы Ивановны» учительница спасает сына от положенной кары «за изнасилование»; тот отделяется лишь двумя годами колонии, его же «подельники» получают по высшей мере, сполна. Что ж, учительница в школе – хоть маленькая, но номенклатура. Не порочить же ее за сына! А сын, вернувшись, через два дня, дает себя расстрелять в тире. Наказывает себя, подставляя грудь под ружье:

«Девушка посмущалась и отпустила крючок.

Вовка всплыл вверх, легчайше и наискосок, к светящемуся изнутри полупрозрачному пуховому кому, откуда исходили к нему ласка и любовь, тянулись к нему, подплывающему навстречу, переплетались в какие-то новогодне-елочные кружева, дожидаясь его плечей...»

В этих рассказах хоть и изуродованные – налицо все человеческие чувства: ярость, благородство, ревность. Тут же и любовь, задрипанная и замызганная:

«– Леночка, как тебе меня сегодня целовать – не противно?

– Ты о чем?

– А я сегодня, перед тем, как на свиданку идти, селедку ела...»

Чем-то напоминает страшный образ у Багрицкого:

«Любовь – но съеденные вшами косы,
Ключица, выпирающая косо,
Прыщи, обмазанный селедкой рот...»

Любовь у Милославского наивно-цинична. Красота видится в затертой песне с пластинки; так четко там обрисована красота, недоступная и необходимая, помогающая тем, что она существует хоть на пластинке. Нет почти ни одного рассказа в сборнике без прекрасных, дешевых слов этих песен – их завывает болявый рот проститутки с оголенными лагерьной цынгой деснами; их поет тенор патефона: «Скажите, девушки, подружке ва-ашей...»

От антигероев Милославского исходит антивеличие, – как в рассказе об ослепшем чудовище – Полифеме, Омеляшко, милицейском палаче: боги помоек, молохи подворотен – истуканами стоят они, рожденные, быть может, для свершения великих дел, отверженные, без меры, живущие без всякой надежды на пробуждение! И протягивается изредка их карающая десница к тому, кто неосторожно пошутит или приблизится к поверженному.

«Манон ничего не делал – не хотел. Он стоял у ворот своего пятьдесят четвертого номера в яркосинем пальто: как сняли его с артиста Киевского драматического театра – так и остался стилигой времен первого искусственного спутника Земли, богатым крестьянином с накладными карманами» («Смерть Манона»).

Героини-скоропелки, детски-невинные, опытно-порочные, жадно съеденные с детства взглядами, – с рожденья марухи для приговоренных к блатной жизни с пеленок пацанов, с тех же воровских дворов. В рассказах Ю. Милославского они кажутся стеклышком на помойке, свежим плевком, сверкнувшим, как брильянт, – «девочки-подружки», Жаннки, Верки.

И читатель, не успевший вовремя зажмуриться при виде волглого пейзажа, потом уже не в силах закрыть глаза, против воли замороженный поэзией рисунка самого месива – из гибельного сна:

«Тричетвертная луна в мандроле, заслоенная облаками, светила самой себе.

Он притянул рукав к ладони, для чего пришлось расстегнуть пуговицы ворота, – роба малого размера, – и размел туда-сюда по вдавлине-постели нападавшие с ближних деревьев ошметки коры, развилочки с пропавшими семенами, непонятные клочья».

Иногда хочется сравнить Милославского с другим бытописателем кошмаров – с Мамлеевым. Думается, что сам Мамлеев мог бы стать героем какого-либо из рассказов в сборнике «От шума всадников...». Милославского же, правда, в мамлевский роман не загонишь.

Отличие прозы Милославского от прозы Мамлеева и в том, что у Мамлеева стиль нарочито-оголенный, ритм упрям за схематичным сюжетом, а сам сюжет прячет в себе античеловеческую философию. Детали названы, но их не видишь,

в его произведениях нет чуда – оптического обмана, когда перестаешь видеть строки, когда страница становится окном.

А проза Юрия Милославского удивительно зримая, даже «вещная»; не только видишь сцену – наощупь чувствуешь ворс какого-нибудь клифта, в который продета заскорузлая рука; тяжесть кастета в той же руке, холод обрезка железной трубы, сквозь ткань рубашки.

Словарь Юрия Милославского богатый и изощренный – по мнению некоторых читателей, даже слишком изощренный, когда ритмическая вязь становится запутанной, даже извилистой. Но уродство мира, который описывает этот писатель, возникающее из этой вязи, всегда красиво красотой «за глубиной паденья».

Над обреченными окраинами из этих рассказов, пропитанными ядом насущным, проступают слова пророка из пустыни, сверхтяжелые, одним духом: «разбегутся все города, они уйдут в глухие леса и влезут на скалы; все города будут оставлены, и не будет в них ни одного жителя» (Иеремия, 4, 29).

В этих рассказах кривится от страдания щербатая пасть ущербного лунного лика, а над обреченными улицами проносятся неслышимый сонм, перекрываемый шумом всадников и стрелков.

Кира Сапгир

ТОРЖЕСТВО БАНАЛЬНОСТИ

Книга Поля Дибба «Советский Союз. Несовершенная сверхдержава» была написана автором для того, чтобы «Запад мог понять основу советской власти». Главная проблема, по мнению автора, в том, что «каждая сверхдержава не доверяет противной стороне и плохо понимает ее намерения. Как в Вашингтоне, так и в Москве, – пишет автор, – неумолимая враждебность построена на невежестве. Эта книга оправдывает свою цель, если она хоть немного облегчит диалог двух глухих».

Paul Dibb. The Soviet Union. The Incomplete Superpower. Urbana and Chicago, Univ. of Illinois Press, 1986.

Дабы помочь глухим избавиться от невежественности, господин Дибб изучил и проанализировал почти все аспекты советской системы: историю, географию, экономику, национальный вопрос, стратегическое окружение, систему безопасности, вооруженные силы, потребности и их удовлетворение, международную торговлю, капиталовложения и экономическую помощь, торговый и рыболовный флот, продажу оружия и прочее. В конце книги господин Дибб предлагает читателю «новые направления в методике и исследованиях» и указывает, «как Западу следует реагировать на слабость Советов».

Книга содержит восемнадцать таблиц и более шестисот примечаний. Нет сомнения, что эта книга – результат чрезвычайно широкого и глубокого исследования, которое было, по словам автора, «более спокойным и объективным, чем часто случается в наше время».

Кредо автора в том, что «никогда не следует позволять чувству морального самодовольства рассматривать Советский Союз как „Империю Зла“» (слова Рональда Рейгана). Доводя объективизм до логического предела, господин Дибб сообщает, что целью книги был не подробный анализ внутреннего политического положения Советского Союза, а попытка разобраться, в широком смысле, в том, как важные внутренние факторы влияют на внешнюю политику СССР.

В этом как раз и заключается главный недостаток господина Дибба. Он не понимает или отказывается понимать, тот факт, что внешняя политика СССР уходит корнями в ту же основу советской системы, которая выражена в ее внутренней политике.

Несмотря на то, что большое внимание в книге уделено разнообразным сторонам советской системы, господин Дибб все-таки не дает читателю ясной картины. Голова пухнет от бесконечных цитат и отрывков из противоречивых источников, но благодаря большому мастерству господина Дибба книга читается легко. Требуется время, чтобы понять, что в гладком тексте почти нет содержания.

«Одом возражает... Биалер говорит... Лапидус считает... Румер заключает... Джоан Афферика атакует... Миллар отмечает... Де Порте указывает... Андропов сказал... Тихонов оспорил... Огарков предостерег...» Такой, составленный из разных кусков, текст тянется страница за страницей. На

некоторых из них можно увидеть до девяти следующих друг за другом цитат.

В результате, текст лишен самобытности. А компиляция других исследований была бы не так бесполезна, если бы сопровождалась еще и анализом господина Дибба.

Да, СССР – несовершенная сверхдержава. Этот факт слишком хорошо известен. А сложность как раз и заключается в том, чтобы понять, какая же все-таки СССР сверхдержава. И здесь господин Дибб готовит нам сюрприз. На 250 страницах с помощью всевозможных прилагательных он описывает Советский Союз: бюрократический, конформистский, с неустойчивой политической системой, деспотический, с самостабилизирующейся олигархией, чрезвычайно упрямый, многонациональный, империалистический...

Автором дан весь набор определений, кроме одного, самого главного, – тоталитарный. Это слово используется в книге всего один раз – в цитате из Киссенджера: «Впечатляющий монолит тоталитарных государств часто загораживает их скрытые слабости». И всё!

Причина, объясняющая нежелание господина Дибба использовать так не нравящееся ему слово «тоталитаризм», это самое точное определение советской системы, становится ясной по мере прочтения книги. Книга написана с позиций «морального паритета» двух сверхдержав, почти неразличимых в том, что касается их отношения друг к другу: «каждая держава представляет себе в преувеличенном виде опасность, исходящую от другой», «страх перед военными возможностями противника гонит их к все более высокому уровню вооружений».

Высказанный автором книги тезис о «симметрии непонимания» остается, однако, неподтвержденным, поскольку господин Дибб и не пытается проанализировать внутреннюю структуру советского общества. А только такой анализ помог бы разрешить «загадку» кажущихся «симметрий» столь различных систем, какими являются СССР и США.

Не желая рисковать, а потому и не затрагивая действительных проблем, господин Дибб, как и следовало ожидать, рисует картину советского общества, не добавляющую ничего к давно описанному другими авторами.

Если бы книга Дибба была на нейтральную тему, от нее можно было бы просто отмахнуться, как от безобидного псевдонаучного упражнения (еще и потому, что книга кончается

указателем, составленным так небрежно, что использовать его практически невозможно). Но поскольку само существование западной демократии зависит от понимания основ советского общества, книга Дибба, увы, не безвредна. Вместо серьезного исследования нам подсовывают банальность, искажающую общую картину, и опускающую неугодные автору факты. А это дезориентирует западного читателя и мешает ему узнать истину не только о советском государстве, но и о своей собственной стране.

Юрий Тувим

ПАЛАЧИ ВЕДАЮТ, ЧТО ТВОРЯТ...

В 1959 г., когда легендарный «барбудо» пришел к власти на Кубе, мне было 11 лет. Станным и мне самой непонятным образом, уже и тогда меня не трогали рассказы о Павлике Морозове и о героях-молодогвардейцах, но кубинская революция, гимны которой гремели по московскому радио, и особенно сам страстный, молодой, кудрявый Фидель в фуражке с козырьком и мятом кителе просто потрясли мое девичье воображение. Я была влюблена в Фиделя, как американская девочка в какого-нибудь Марлона Брандо, и от желания «войти в мир моего героя» начала даже учить испанский язык. Увлечение было длительным – испанским я занималась целых пять лет...

Кажется, я была не одинока в моей глупенькой детской любви. Ее разделила со мной большая часть прогрессивной западной интеллигенции. И до сих пор попытки сказать правду о Кубе, о нарушениях прав человека, о тамошних лагерях натываются на сопротивление, недоверие, озлобленную реакцию тех самых интеллигентов, которые поддерживают Хельсинкские группы и еврейских отказников в СССР.

Книга Армандо Вальядареса – большой удар по кубинскому мифу. Такие книги меняют общественное мнение и тем самым делают историю. Книги Солженицына, Евгении Гинз-

Armando Valladares. Mémoires de prison. Paris, «Albin Michel», 1986.

бург, Шаламова, Гроссмана заставили Запад услышать правду о Советском Союзе. После книги Вальядареса ни один честный человек не должен сметь защищать кубинский режим.

В 1960 г. Армандо Вальядарес был служащим в Управлении сберкасс, католиком, антикоммунистом, но отнюдь не врагом революции, которая не сразу провозгласила себя коммунистической и марксистской. Два-три вольных словца, и молодой Армандо был арестован. С этого момента и начинаются его мемуары.

Вальядарес отсидел в кубинских тюрьмах и лагерях 22 года и описал, шаг за шагом, параллельно со своей собственной судьбой, судьбу сотен товарищей по заключению, их историю, мучения, пытки, гибель. Это история становления еще одной кровавой коммунистической диктатуры, увиденная изнутри, глазами зэка. Я читала эту книгу с неким головокружением, словно передо мной прокручивалась на большой скорости знакомая и в то же время совершенно новая кинолента. Знакомый, но не ставший привычным ужас.

Первым делом революция, естественно, начала пожирать своих детей. Вот один из первых эпизодов книги, одно из первых переживаний Вальядареса. Он находился в гаванской крепости «Ла Кабанья». Расстреливали каждую ночь, во рву. Одним из казненных был Клодомиро Миранда, бывший командир в армии Фиделя, впоследствии ставший в оппозицию к нему. При аресте он был тяжело ранен в ноги, руку и грудную клетку. Трибунал приговорил его, лежащего на носилках, к смертной казни. После приговора он был брошен в грязную камеру смертников, без постели и без ухода. Неспособный даже приподняться, он ползал в грязи, его раны гноились, были полны червей. Его расстреляли, сбросив на землю с носилок, ибо привязать его к столбу оказалось невозможным. И эпически-спокойно заключает Вальядарес: «Клодомиро Миранда был, возможно, единственным расстрелянным, которого черви съели еще до смерти».

После пародийного трибунала, приговорившего, однако, Вальядареса к 30-летнему заключению за социально-чуждый образ мыслей и недоказанное вредительство, его отправили на знаменитый «Сосновый остров», на каторжные работы. По приезду он узнал грязные издевательства охраны, раздевания догола, кровавые избиения, червивую еду, клопов, в то время как над воротами лагеря висел лозунг Кастро: «Революция

зеленее, чем пальмовая ветвь», в коем и проявилось национальное своеобразие кубинского режима.

Как и в советском Гулаге, одной из главных пыток заключенных становится отправление естественных надобностей. В здании Вальядареса было по унитазу на этаж, но без проточной воды. Заключенные лопатами выгребали из переполненных унитазов экскременты, а полные ведра выплескивали на середину двора, в общую кучу дерьма, диаметром метров в пять, покрытую шевелящимся слоем мух и паразитов и издающую вполне вообразимое зловоние.

Другой пыткой оказалась так называемая медицинская помощь. Зубной врач, который не лечит зубы, а только вырывает, да еще и без наркоза, да еще и здоровые вместо больных. Больные, которые умирают от заражения крови, от воспаления или просто от отсутствия элементарных лекарств.

После провала американского десанта в Бухте Свиной условия заключения еще ужесточились. Надежд на падение режима больше не было. И Вальядарес вместе с двумя товарищами решается бежать. Описание этого побега поражает детальностью подготовки, дерзостью замысла, тщательностью исполнения, напоминая лучшие операции Французского Сопротивления. Узники ухитрились получить с воли военные билеты на имена солдатов соседнего гарнизона, униформу, ножи, пилки. Преодолев невозможные препятствия, они совершили побег, прошли в другой конец острова, прождали двое суток в том месте, откуда их должна была забрать лодка, но лодка так и не пришла...

Беглецы были арестованы. В побеге Вальядарес повредил ногу, и ему грозила гангрена, но, тем не менее, его, как и остальных, совершенно голого заключили в карцер, а солдаты систематически выливали на него через решетку ведра мочи и экскрементов. В виде развлечения стражники кололи узников палками с заостренными концами, чтобы лишить их сна, а когда Вальядарес все же забылся как-то в глубоком сне-обморока, его разбудил укус крысы. Так продолжалось долгие месяцы. Вальядарес покрылся коростой и струпьями, он ел, как собака, ртом прямо из тарелки, чтобы не трогать еду покрытыми корой дерьма пальцами (ложек не давали), но воображение давало ему силу жить. «В этом мире, принадлежащем мне одному, я был в недостижимости для моих стражников, я чувствовал себя свободным, я бродил по лугам и берегам

рек, я обитал в тайном пространстве, пространстве моей веры, воображения, памяти».

С какого-то момента книги, написанной просто, без всякой экзальтации, читатель начинает испытывать настоящее восхищение перед автором. Молодой чиновник обретает истину и силу в страданиях, превращается в героя. Начиная с первого побега и первого карцера, Вальядарес живет «по гамбургскому счету». Человек необыкновенной жизненной силы, он прилагает все возможные физические усилия, чтобы выжить: делает гимнастику, ест змей, жует траву, не упускает возможности подставить лицо солнцу. Но одновременно он не делает ни одной уступки своим мучителям, ибо свобода внутренняя, духовная, верность себе и своим товарищам для него важнее жизни. Это противостояние группы политзаключенных организованной машине подавления продолжается в течение последующих двадцати лет заключения Вальядареса.

В конце 1962 г., после раскрытия разветвленного военного заговора и новой волны ответного террора, кубинские власти взяли на вооружение новую тактику – «перевоспитание» политзаключенных. Семьи заключенных подверглись жестоким репрессиям (конфискация имущества, увольнения с работы, террор), и заключенные могли облегчить свое положение, а также со временем вернуть себе свободу, лишь приняв план «политической реабилитации». Требовалось от них немного – подписать заявление, в котором они отказывались от всех своих принципов и признавали марксистское учение как единственно верное. И вот этого-то немногого Армандо Вальядарес не сделал вплоть до дня своего освобождения.

Испытания, пройденные Вальядаресом, невероятны. Не принимая искуса «политической реабилитации», он становится мучеником. «Отказчиков» мучают голодом, холодом, чудовищными избиениями, их убивают по малейшему поводу и без повода. Тех, кто отказывается носить тюремную одежду уголовников и «реабилитантов», держат месяцами голыми, голыми выводят на свидания с близкими, с невестами. В 1970 г. группу «отказчиков» переводят в Бониато, самую страшную тюрьму Кубы, расположенную на востоке острова, в полной изоляции, за сотни километров от семей заключенных. При участии советских и чехословацких гебистов над ними проводятся разнообразные психические и физиологические эксперименты. Их помещают по двое в крошечные камеры без окон

и без света, без вывода в туалет, без одежды, обрекают на безумие и медленную голодную смерть. Они страдают цингой, пеллагрой, водянкой. В таком темном мешке Вальядарес пробыл два года. В 1974 г. его разбил паралич, вызванный недоеданием и отсутствием упражнений. Но и с параличом, в инвалидной коляске, его вновь запирают в замурованную камеру. До 1982 г., года его освобождения, еще далеко...

Все это бесконечное время Армандо Вальядареса ждала на воле невеста, а потом жена, Марта. Рассказ об этой необыкновенной любви освещает всю книгу Вальядареса. Он познакомился с дочерью товарища по заключению во время первого коллективного свидания на Сосновом острове. Марте было тогда 14 лет, Армандо – 24. Они вступили в тайную переписку, пользуясь самодельными бесцветными чернилами, исписывая целые тетради. Видясь 2-3 раза в год, они полюбили друг друга на всю жизнь. Они поженились в тюрьме в 1968 г. Впоследствии именно Марта, эмигрировавшая по настоянию Вальядареса в США, смогла заинтересовать западное общественное мнение судьбой мужа и тем самым способствовать его вызволению.

Не каждого прождет в разлуке 20 лет молодая женщина, даже не познавшая своего избранника. Что же так привлекло Марту в Армандо? Он сам, конечно, не отвечает на этот вопрос. И все же ответ очевиден. Вальядарес – верующий, и его простая, безграничная вера в Господа придала ему такую силу и достоинство, какие редко встречаются на воле, у людей, не подвергшихся страшным испытаниям. Неизменным нравственным примером ему служил подлинный святой Соснового острова, которого заключенные прозвали Братом веры. Этот пожилой протестантский проповедник, когда обрушивались на него свирепые побои охраны, недрогнувшим голосом повторял: «Прости им, Господи, ибо они не ведают, что творят». Как пишет Вальядарес, главной заботой Брата веры было отвлечь заключенных от ненависти, научить их любви.

И Армандо, действительно, следовал примеру Брата веры. Колонна заключенных – на принудительных работах. Они безумно устали, вымокли под дождем, остались без обеда. Возвращаясь в лагерь, они запевают гимн освободителей Бухты Свиной, и – о, чудо! – силы возвращаются к ним, они так бодро шагают, что тюремщики за ними не поспевают. Новичок политкомиссар, симпатизирующий политзаключенным

(он недолго продержится на своем посту), спрашивает: «Но откуда у вас силы? Чем вы держитесь?». И Армандо отвечает: «Наш единственный и неисчерпаемый источник силы – ЛЮБОВЬ, – а потом, вынимая из кармана пучок ландышей, сорванных во время работ, прибавляет: – Цветы сильнее штыков...»

Эта сила, любовь, помогла Вальядаресу стать поэтом. Он начинает писать стихи еще в Бониато, в почти полной темноте, но настоящее откровение приходит к нему позже, в 1975 г., когда его инвалидность открывает ему новое видение мира. Его первая книга, переправленная на Запад и переведенная на многие языки, называлась «Из инвалидной коляски». Через три года за ней следует новая, «Сердце, с которым я живу», – сборник стихов, свидетельств, документов. А в 1982 г., почти накануне своего освобождения, Вальядарес, лишенный всякой возможности писать, начинает заучивать сочиняемые стихи и так составляет сборник по памяти, «Пещеры тишины». Последнее стихотворение, написанное Вальядаресом в тюрьме, кончается так:

«Они отняли у меня всё
ручки
карандаши
но у меня остались чернила жизни
– моя собственная кровь –
и ею я еще пишу стихи»

Вальядарес не устает подчеркивать на протяжении всей книги, что он не мог принять коммунистический режим из-за его абсолютной бесчеловечности. Не имея возможности пересказать десятки и сотни трагических судеб, трагических смертей, описанных в его книге, я упомяну лишь судьбы двух двенадцатилетних детей. Один – сын надзирателя на Сосновом острове, который с 8 лет сопровождал отца-садиста во время пыток, а в 12 – уже ловко бил заключенных электрическим кабелем. Другой – мальчик Робертико, попавший на 6 лет в тюрьму за детскую шалость. После коллективного изнасилования уголовниками, с кровоточащей попкой, он был брошен в карцер и по вечерам, боясь темноты, звал и звал маму.

К этому нечего добавить, разве что заключить, вместе с Вальядаресом, что тюремщики, равно как и власть предрежающие, ведают, что творят, с детства разрушая и разлагая чело-

веческую личность. Вальядарес приходит к этому выводу после убийства Брата веры тюремщиками в 1975 г. в Бониато: «Мне пришлось долго думать и размышлять об убийстве Брата веры, одного из людей, которыми я больше всего восхищался. Одна вещь продолжает меня смущать: ...палачи (Христа) действительно не ведали, что творили, убивая Сына Человеческого. Но наши палачи это ведали, Господи. И все-таки это не должно искалечить нашу способность прощать».

Вальядарес, переживший ад, имеет право христианина прощать своим темным непосредственным мучителям. Но он выполняет свой не менее важный христианский и человеческий долг, свидетельствуя о преступлениях и жертвах кубинского режима. Советский девиз «Никто не забыт, ничто не забыто», применяемый к безвестным героям Великой Отечественной Войны, должен быть распространен и на все лагеря и тюрьмы коммунистического мира.

Галина Келлерман

РЕАБИЛИТАЦИЯ НАШЕГО СОВРЕМЕННОКА

Очень часто русскому народу бросают обвинение в рабской покорности – в полной неспособности сопротивления правителям. Известна фраза Чернышевского: «Рабы, сверху донизу – все рабы». Как известно, эту фразу цитирует Ленин в своей известной статье «О национальной гордости великороссов». Это писали революционеры. Но точно такую же характеристику русского народа можно услышать от людей совершенно другого лагеря: «„То-то все мы лакеи, – с горечью воскликнул Владыка, – веками угнетений приучены к покорности. Ну, да не все, слава Богу! Скорее бы конец всему этому!“». Подобные фразы были сказаны с такой горечью, что я искренно покаялся в душе, что неосторожно затронул его наболевшие раны». Слова эти сказаны Святейшим Патриархом Тихоном в 1917 году, перед самым его избранием на патриарший престол его бывшему ученику по Псковской

Семен Бадаш. Колыма ты моя, Колыма. Нью-Йорк, «Эффект», 1986.

семинарии (см. журнал «Соборный разум», 1918 г. Воспоминания Б. Царевского, стр. 19. Цитируется в книге А. Левитина и В. Шаврова «Очерки по истории русской церковной смуты». Том 1. Стр. 46. Изд. «Куснахт», 1978 г.). Ошибся Патриарх только в одном: после 17-го года наступил не конец русскому рабству, а началось такое рабство, какого до этого не знала еще история. Особенно много подобных обвинений в адрес русского народа раздается в настоящее время из уст западно-европейских и американских деятелей, когда заходит речь о сталинской эпохе. Причем здесь можно констатировать некое единство между крайне правыми и коммунистами. Крайне правые круги говорят о том, что коммунизм не случайно родился в рабской, отсталой России. А коммунисты, когда им указывают на рабский характер советского строя, обычно отмахиваются: «Это особенность России – у нас всё будет по-другому».

И вот реабилитация России. И в России возможно героическое сопротивление, и Россия не всегда бывает покорной.

Забастовка лагерников в Экибастузе в 1952 году, Норильское восстание в лагерях в 1953 году и Кингирское восстание в лагерях в 1954 году. Кингирская эпопея займет почетное место в истории России. Она нашла своего Гомера в лице русского писателя Александра Исаевича Солженицына. Однако сам Солженицын признает, что описание его не полно. Он призывает его дополнить и снова и снова писать о лагерных мятежах, освещать эту тему. И этот призыв услышал его старый товарищ по лагерям, Семен Бадаш.

Автор новой книги о лагерях уже не молод. Он родился в июле 1921 года. Его жизнь – жизнь типичного советского интеллигента в сталинскую эпоху, смятая, изломанная деспотическим режимом. Он москвич, сын врача, окончил в Москве среднюю школу. Воевал, был демобилизован. Его книга «Колыма ты моя, Колыма» начинается описанием послевоенной Москвы. Старые москвичи хорошо помнят это время. Москва полуголодная, полутёмная, полухолодная. Очереди. Демобилизованные. В каждой семье скорбь о погибшем. Но и надежда: а вдруг найдется, а вдруг вернется. И, действительно, многие, кого уже не ждали, возвращаются. У многих настроение хорошее. Война окончилась. Расцветает надежда на лучшую жизнь – казалось, Россия выходит на широкую дорогу в союзе с Европой и Америкой.

Семен Бадаш нашел достаточно яркие краски, чтобы показать эту эпоху. Колоритное название первой главы: «Москва послевоенная». В это время он, в числе многих, поверил в наступление новой эпохи. И отсюда знакомство с иностранцами и иностранками, и, как многие в то время, он не учел, что по-прежнему сияет электрическим светом злое здание на Лубянке и что среди молодежи шмыгают злое фигуры стукачей-агентов МГБ.

Проходит два года: советское правительство сбрасывает маски, «старое начинается сызнова» – говоря словами Шолохова. Травля талантливых писателей, великих ученых, хулиганская кампания против космополитизма. И, наконец, 1948 год. Неопубликованное постановление за подписью Маленкова: «Об очистке больших городов от враждебных и сомнительных элементов» – и Лубянка заработала. Опять массовые аресты, страна полным ходом идет к новой ежовщине, к 1937 году.

И в 1949 году почти одновременно арестовываются два тогда еще молодых человека: Семен Бадаш, студент 4-го курса медицинского института и пишущий эти строки – московский учитель. Мы стали «соседями»: я сидел на Большой Лубянке, он на Малой. И приговор получили одинаковый по Особому Совещанию – десять лет лагерей. И путь наш один и тот же: Бутырки, столыпинский вагон, дорога в лагерь. Мы тогда понятия не имели друг о друге. Но могу подтвердить: всё написано им со скрупулёзной точностью. И, наконец, лагерь.

Но здесь наши пути расходятся: я попал в лагерь обычного типа, он же в Особые лагеря.

Путь Семёна Бадаша в лагерь – длительный и тяжелый. Куйбышевская пересылка. В тюремном дворе, среди арестованных женщин, ребята видят Лидию Русланову. Спорят о том, за что ее арестовали. Одни говорят: за анекдот, другие – якобы за то, что она была соучастницей в злоупотреблениях своего мужа, генерала Крюкова. Семен Бадаш из этого делает вывод, что МГБ стало выше правительства: ведь Русланова почти официальное лицо, она постоянная участница всех правительственных банкетов.

Здесь я, кажется, могу внести точность. Русланову в то время погубили как раз эти «правительственные банкеты»: на одном из них, на котором присутствовал Молотов, она, сильно «нагрузившись», бросилась в подхалимском восторге ему на шею и воскликнула: «Вячеслав Михайлович! Вы же един-

«...ственная наша надежда!» Побледнев, как смерть, Молотов вскочил со стула: «Немедленно уведите эту пьяную даму!» Но было уже поздно, Сталин никому не прощал таких «надежд». Что же касается ее мужа, генерала Крюкова, то причиной его ареста была особая близость к опальному маршалу Жукову и пьяная фраза его жены – это в глазах Сталина хороший букет.

Между тем, Семен Юльевич продолжает свой путь. Челябинск – блатные грабят политических. С. Бадаша спасает то, что он медик. Блатные уважают медиков: ведь от врача зависит освободить заключенного от работы, дать ему ту или иную категорию труда, «прокантовать» в больнице. Ему удается спасти от грабежа небольшую группу попутчиков-политических, в том числе и одного священника. Жизнь среди блатных, «рманы», до которых блатные большие охотники. И сны, беспокойные, кошмарные, в которых проходят картинки детства в Москве, где он жил на Ново-Тихвинской улице около Марьиной Рощи. И, наконец, лагерь в Экибастузе. Особый Степной лагерь.

С главы четвертой начинается описание лагеря. Глава называется «Экибастуз – лагерь и боевое крещение». Всё, как обычно и как уже много раз описывалось: унылая встреча с лагерем, комиссия, лагерные придурки, алюминиевые миски, каша из магары и жидкое растительное масло в ковшиках, похожих на наперстки. И неожиданно знакомые лица: «На этот объект выходило много бригад. В бригаде Панина (да, да, читатель, – Панина, того самого!) ходил зэк-нормировщик, постоянно с папочкой нормативных справочников, – это был Саша Солженицын. Кто мог тогда подумать, что через несколько лет он станет всемирно известным писателем». И дальше опять старые знакомые: «На объекте я познакомился и с Георгием Тэнно. Капитан-морьяк, он постоянно носил тельняшку, рассказывал, как во время войны водил корабли конвоя, сопровождая англичан и американцев с грузами для страны-союзника. А потом, как часто случалось в те страшные годы, – арест, следствие, обвинение в „шпионаже“, ОСО и 25 лет». Об этом мы читали у Солженицына. И, раз уж мы встретились с Солженицыным на страницах этой книги, процитируем его слова: рассказывая о мятеже в Берлаге в 1949 году, Александр Исаевич бегло замечает: «Я не настаиваю, что изложил это восстание точно. Я буду благодарен всякому, кто меня исправит» (А. Солженицын. Собрание сочинений.

Том 7, стр. 232. Вермонт - Париж, 1980 г.). За эту работу и принял С. Бадаш. Основная тема его книги – лагерные восстания. И этим его книга выделяется из всей эмигрантской, все стремительно появляющейся, литературы. И опять мысль обращается к А. И. Солженицыну, к его словам: «Нет, не тому приходится удивляться, что мятежей и восстаний не было в лагерях, а тому, что они все-таки были». Надо знать обстановку лагеря, где заключенные живут в такой тесноте, что даже ночью переворачиваешься с боку на бок с величайшим трудом, где каждый третий человек – стукач, где каждое сказанное слово становится известным оперуполномоченному в тот же вечер, чтобы исключить всякую возможность восстания, не говоря уже о том, что большинство заключенных – люди, сломленные варварским следствием, бесконечными унижениями, оскорблениями, а иногда и побоями. Вечно голодные, холодные, с подорванным здоровьем, со сломленной волей. И восстание!.. Каюсь, когда я об этом услышал в Каргопольлаге, я просто отмахнулся. «Какое восстание?.. Кто придумал такую глупость?» И все-таки восстание. И когда? В сталинское время!

Семен Бадаш показывает, как постепенно нарастают в лагере бунтарские настроения. Сначала это чисто личные, акты протеста. Не малую роль играют здесь немногочисленные побегі заключенных. В Экибастузе было четыре побега – ни один из них, как всегда бывает, не увенчался успехом. Будучи в лагере, пишущий эти строки также видел немало побегов. Ни один из них также не увенчался успехом. Причем многие из них оканчивались трагически: в лагерь привозили и выставляли на всеобщее обозрение труп беглеца. И все-таки бежали, бежали, бежали... Каждой весной начинался «сезон побегов». Так в Экибастузе имели место один за другим четыре побега.

Наконец, следующий этап. Организация подпольного лагерного Совета. Нелегальное руководство в лагере – это уже огромное достижение. В лагере, где люди слово боятся друг другу сказать. В Экибастузе – это особое достижение, ибо состав лагеря многонациональный. В Совете от украинцев – 4 человека, от русских – 3 (это естественно: в лагере, где пять тысяч человек, преобладают бандеровцы), от прибалтов – 2, от кавказцев – 1, от среднеазиатов – 1, от евреев – 1 (автор разбираемой книги). И Совет немедленно приступает к делу.

Прежде всего разбор жалоб заключенных на бригадиров, которые обижают, лупят, утесняют своих подопечных. Затем стукачи. Первый этап – разоблачение стукачей. Их вызывают по одному и допрашивают, принуждают к покаянию. Многие из них на коленях просят пощады. И, наконец, убийства стукачей. Убийства открытые, почти на глазах у начальства. Кирпич или бревно «случайно» падает на их головы, ночное «самоубийство» через повешение, убийства ножами в бараках и на объектах. Стукачи капитулируют, бегут в изолятор, однако через некоторое время, подстрекаемые начальством, они в изоляторе начинают душить и бить заключенных, чтобы выявить инициаторов убийств стукачей и исполнителей. Товарищи избиваемых идут им на помощь, начинается штурм изолятора. Результат: массовый расстрел, пальба по лагерю из пулеметов. И подавление стихийного восстания. Восстание в Экибастузе, однако, уже описано Солженицыным. Гораздо большую ценность представляют собой последующие главы. Наиболее яркие главы – шестая и седьмая: «Заполярье. Город Норильск» и центральная глава книги «Норильское восстание», о котором в знаменитом «Архипелаге ГУЛаг» у Солженицына ничего не было за отсутствием у него материала. Он писал: «И крупное восстание в Горлаге (Норильск), о котором сейчас бы была отдельная глава, если б хоть какой-нибудь был у нас материал. Но никакого».

Этот пробел у Солженицына восполняет С. Бадаш – участник этого восстания. Глава «Норильское восстание» начинается с рассказа о том, как «5-го марта 1953 года прошел невероятный слух о том, что умер Сталин». Сначала недоверие, поверить невозможно, ведь в Особых лагерях газет не было, не было и радио. Но все же через некоторое время слух подтверждается. Семен Бадаш очень правильно передает настроение тех дней: с одной стороны, у заключенных вполне естественная радость при известии о смерти тирана. А с другой стороны – смутная тревога: что же теперь? А затем чувство облегчения, как говорил мне один заключенный врач:

«Я не спал ночь, нет этой ужасной фигуры, которая висела над миром. Почти физическое чувство облегчения».

И вдруг в эту атмосферу смутных надежд, ожиданий, беспокойства врывается очередное бесчеловечное преступление хозяев лагеря. 3 мая 1953 года был зверски и совершенно беспричинно охраной убит заключенный. Собирали этап, и один

заклученный отказался идти. Это непонятно тому, кто не был в лагере. Но старый лагерник поймет: за несколько месяцев, а то и лет, так привыкаешь к лагерю, к товарищам, к коллективу, что, когда перегоняют на другое место, как будто отрывается что-то от сердца. Страшного ничего, два-три парня его могут поднять с земли и втолкнуть в грузовик, в котором возят заключенных. Вместо этого «начальник конвоя отдал команду: „Стрелять!“ На глазах у группы заключенных, стоящих рядом и многочисленных заключенных, стоящих по ту сторону ворот, – солдаты из автоматов прошили пулями лежавшего». Такие случаи бывали в 30-х и 40-х годах, бывали и происходили почти ежедневно. И, конечно, для начальника конвоя и для самих конвоиров (старых служак) ничего удивительного в этом не было.

И вдруг... и вдруг восстание! Что удивительно во всем этом: стихийно сформировавшаяся организация. Уже через несколько часов после этого прекратились работы на всех рабочих объектах вне лагеря. Вот, как описывает эту ситуацию С. Бадаш: «На объектах „Горстроя“ приостановились все работы и у вольнонаемных: не подавался кирпич, не привозились машины и стройматериалы, ушли по домам вольнонаемные проектировщики и инженерно-технический персонал. Жизнь в городе была парализована». Остановимся пока на этом.

Недавно ко мне зашел один знакомый – молодой парнишка из Сербии. Когда я прочел ему свое послание Горбачеву, недавно появившееся в «Новом русском слове», парнишка, с видом знатока, сказал: «Ну зачем вы это пишете? Даже Сахаров ничего сделать не может». А действительно, как будто странно: Сахаров не может, а работяги из Норильска смогли. Работы приостановились, и начальство вынуждено было пойти на уступки, сначала в Норильске, а потом в масштабах страны. Наш товарищ по лагерям, господин Панин-Сологдин, быть может, несколько преувеличивает, когда считает цепь лагерных восстаний, прокатившихся в период 1953–1955 гг., основной причиной либерализма советского режима во времена Хрущева. Но что эти восстания сыграли большую роль в реформах XX съезда партии и во времена Хрущева – в этом нет никаких сомнений. Правда, могут сказать, что восстания были подавлены, а сейчас в Советском Союзе вновь началась сталинская реакция. На это мы ответим старой русской пес-

ней: «Будет и там броненосец Потемкин, но только с победным концом».

И еще одно наблюдение. Для обывателя восстание, революция – это нечто ужасное. Революция для него ассоциируется с массовыми расстрелами, грабежами, всеобщей резней. И вот А. И. Солженицын и С. Ю. Бадаш полностью опровергают эту навязшую в зубах схему. В этих восстаниях Особых лагерей принимали участие заключенные разных национальностей, происхождения, политических убеждений и идей, но проходили они без каких-либо эксцессов, с полным порядком в лагерях, с дисциплиной. И преображение – все жили как бы накануне смерти, и у всех было светлое чувство и чудесное настроение.

В первоначальном варианте повести С. Бадаша был рассказ, почему-то выброшенный издателем: как на Колыме в Пасху верующие устроили трапезу и пригласили на нее всех. Пир на весь мир. Здесь были русские и литовцы, украинцы и мусульмане из Средней Азии и евреи. Разумеется, это была скудная арестантская трапеза, на столе кое-что из посылок, но на душе у всех было светло и радостно и все приветствовали друг друга пасхальным целованием: Христос Воскресе! И среди пирующих заключенных, участников Экибастузского и Норильских восстаний, загнанных теперь на Колыму, был Христос.

А. Краснов

ПСИХОЛОГИЯ ЗЛА

Асен Игнатов – болгарский философ и эссеист, живущий на Западе с 1972 года. Его труд – первый опыт систематического исследования душевного строя коммунистического человека, психогаммы нового класса. Первая глава посвящена иррациональности как общему принципу коммунистической идеологии. Во второй главе автор исследует амбивалентности

Assen Ignatow. Psychologie des Kommunismus. Studien zur Mentalität der herrschenden Schicht im kommunistischen Machtbereich. München, Johannes Berchmans Verlag, 1985.

коммунистического сознания. Объектом третьей главы является магическое мышление коммунистов. В четвертой анализируется кризис коммунистического сознания, а в пятой автор ставит вопрос о будущем коммунизма.

В рамках рецензии невозможно коснуться всех вопросов. Поэтому ограничусь общими впечатлениями.

Экзюпери говорил, что главное, существенное – незримо для очей. Кажется, что это верно в равной мере для всех видов человеческих отношений – от интимных до социально-политических. Но слова французского писателя получают особенное подтверждение в выродившемся коммунистическом обществе, где на взаимосвязь видимости и бытия в лучшем случае намекается, но, как правило, она полностью упразднена. Это – общество, в котором по следствию нельзя заключать о причинах и в котором недостаток логики далеко еще не является свидетельством превосходства здоровых инстинктов.

Таким образом, предпосылки, из которых исходит Игнатов, исключительно неблагоприятны. Но как раз эти предпосылки разрушают изначальный оптимизм немногих авторов, обладающих творческой и гражданской смелостью, чтобы заняться этой темой. Андрей Амальрик описывает следующими словами путь от впечатления о коммунистической действительности к выражению этих впечатлений, который проходит типичный западный корреспондент в Москве: человек, который вращается в миниатюрном мирке себе подобных, не зная ни языка, ни национального или социального сознания людей, о которых информирует:

«Советский переводчик, которого он сам считает агентом КГБ, переводит или пересказывает ему содержание „Правды“ или „Красной звезды“ – это „официальная точка зрения“ на какое-либо событие;

затем он беседует со своим соседом по этажу, таким же, как он сам, – это мнение „обозревателей“;

в некоторых особо важных случаях спрашивает своего шофера или домработницу – это мнение „человека с улицы“.

Остается только перетолковать содержание заметки в „Правде“ в терминах западной журналистики и в духе общих мест о „либерализации“ или, наоборот, о „возрождении сталинизма“. Так появляются бессодержательные, но полные мнимой многозначительности статьи об „экономических реформах“ или о „ястребах и голубях в Кремле“, которые с таким же

успехом могли быть написаны в Лондоне или Нью-Йорке, как и в Москве».

Но жизненный путь Игнатова предостерегает его от таких опасностей. Он подвергался преследованиям в Болгарии, его изгнали из преподавательского состава Софийского университета за «идеологическое разложение студенческой молодежи» и обвиняли во всех смертельных грехах. Таким образом, у автора все предпосылки, чтобы написать этот труд, ибо это требует как демаскирующей силы аналитического мышления, так и сознания его трагизма и объединяет оптимизм познания с сознанием демонического превосходства непознаваемого. Несомненно одно: эту книгу мог написать только автор, который сперва видел лицом к лицу описываемую им действительность, а потом наблюдал ее издалека. Эту книгу мог написать только автор, который превратил самый большой, но и самый плодотворный конфликт эпохи – конфликт между Востоком и Западом – в свою личную судьбу.

Автор указывает на иррациональность как на существенный, неизменный признак коммунистической системы. Функция этой иррациональности состоит не в простой непонятности явлений и процессов, Нет, эта иррациональность так же жизненно необходима для коммунистического сознания, как инстинкт самосохранения – для организма. Следовательно, речь идет не о какой-то прихоти, а о «запасном выходе», о единственно возможной, роковым образом необходимой формуле выживания системы. Только в обществе, в котором разум не является больше никакой инстанцией, партийность господствует над эффективностью и консервирует как своеволие своевольников, так и порабощенность порабощенных. Все это подробно проанализировано Игнатовым. Только «амбивалентное сознание» (Игнатов неспроста пользуется этим выражением), релятивизирующее всё, чтобы уничтожить все нравственные, социальные и биологические ценности, в состоянии, с другой стороны, с лакейским подобоострастием все оправдать и так деформировать, что в конце концов факты начинают подчиняться понятиям.

Как показывает автор, атеизм партийного функционера сочетается со слепой верой в магическую силу слова. Только на уровне эмоционального заряда (но не на содержательном уровне) эта вера имеет точки соприкосновения с верой поэта в силу слова. Если поэт верит в слово как в средство переосмы-

сления, открытия и пересоздания мира, для партфункционера вера во всемогущество слова – инструмент деформации, обезображивания этого мира, его подчинение слову, превратившемся в простой звук. Игнатов постепенно реставрирует психический лик функционера, и из-под его пера тот выступает во весь свой рост, как динозавр, который предпочел окаменеть, чем развиться и пройти биологическую лестницу. Строгательной простотой этот динозавр делит все живые существа на две группы: те, которые он может пожрать, и те, которые, наоборот, могут пожрать его: «пресловутая недоверчивость крестьянина в отношении всего, чего он не понимает», является и его характеристикой, но она ведет не к повышению любознательности, а к обскурантизму. Изучению непонятного он предпочитает его уничтожение – все равно, о чем идет речь: о литературе или искусстве, о философии или науке. Таким образом уменьшается число недоступных ему областей – обстоятельство, которое порождает в нем пьянящую иллюзию всемогущества.

При этом надо отметить, что этот подход – не какая-то старательно придуманная тактика, а – как говорит Игнатов – «банальное отсутствие угрызений совести», продиктованное нищенской жадностью наследственного аскета, революционера поневоле, революционера из горькой нужды, которому идеологическая совесть внушает, что большие люди жертвуют собой для революции, но который инстинктивно чувствует, что гораздо разумнее было бы спокойно вкушать все удовольствия жизни, которых он уже достиг. Как раз его исторический поход против инфекционных болезней капитализма ведет к заражению этими сладчайшими искушениями, против которых его правоверность не сумела его иммунизировать. Разгадка тайны – в одном, старом, как мир, правиле: невозможно бороться против определенной идеологии, не подвергаясь при этом ее влиянию. В этом смысле коммунизм «грызет» буржуазный мир, а какие-то обломки и проглатывает.

Игнатов показывает, как амбивалентность коммунистического сознания и особенно та амбивалентность, которую он называет «любовью-ненавистью к буржуазии», углубляется и как, вместе с тем, обостряется конфликт между наслаждениями, которым предается наш новообращенный гедонист, и его пуританскими, клеймящими наслаждения проповедями. В обрисованной Игнатовым сцене типичного «парти» современ-

ных коммунистических функционеров американское виски, американские папиросы и американские повадки задают тон. Игнатов прав: сейчас одно невозможно без другого, коммунистическая *доктрина* немыслима без поклона перед алтарем революции, однако коммунистическая *практика* точно так же невозможна без сладострастия ночных притонов. Эта амбивалентность – Игнатов называет ее нарочито парадоксальным словосочетанием «дольче вита пуритан» – символизирует тот этап коммунистической системы, который автор с полным правом называет «поздним (не зрелым!) коммунизмом».

Так как ценностная ориентация современного функционера абсолютно расстроена, патологичным становится и его социальное поведение. С сокровенной верой покупателя индульгенции он убежден, что административная фразеология способна гигиенизировать его нравственно, что содержание человеческого бытия состоит не из поступков, а из... терминов. Будучи, наподобие Тартюфа, убежден, что «мы не совершаем греха, когда грешим тайно», аппаратчик готов с непорочными директивами очередного съезда на своих губах на любое бесчестие. Как раз это полуосознанное лицемерие содержит в себе обреченность коммунизма, заключает Игнатов. Живучесть, которую это лицемерие обеспечивает, обманчива и в историческом плане недолговечна. Достоевский обратил внимание на то, как легко привыкнуть к роскоши и как мучительно трудно, как невозможно отвыкнуть от нее. Так что, вкусив запретный плод наслаждения, партийный аскет потерян не только для дела, но и для веры аскетизма.

Верно, что раздвоение партийного сознания еще не достигло уровня ожесточенной борьбы тела с душой в знаменитой балладе Франсуа Вийона, но верно и то, что углубляющийся на протяжении лет и десятилетий конфликт между бытием и сознанием внутренне выхолащивает и разрушает партфункционера.

На мой взгляд, особенной философской и литературной ценностью обладает последняя глава этого труда, озаглавленная «Опыт психологически мотивированного прогноза». Помоему, эту главу автору следовало бы развить в самостоятельное исследование. Исходя из эпохи, но и выходя за ее пределы, автор ставит вопрос о дремлющих в человеческой природе бесах, о зловещем круговороте их социально-политических проекций. В этом мировом аспекте зло коммунизма – зло мета-

физическое, зло безначальное и бесконечное, зло, присущее не какой-либо отдельно взятой эпохе, цивилизации или идеологии, а – как возможность – человеку вообще. Ссылаясь на учение Карла-Густава Юнга об архетипах, на Достоевского и на всю христианскую традицию, Игнатов приходит к выводу, что тайное желание сбросить с плеч «бремя свободы» и броситься в объятия тоталитарных тиранов, будет, возможно, сопровождать человечество до его последнего дня. Радикальный выход из человеческой трагедии – только в трансцендентном, потустороннем плане. В этом смысле автор – пессимист, но это активный пессимизм христианина, который не хочет мириться со злом.

...Я закончил чтение книги Игнатова с чувством, что вышел из сумасшедшего дома. И вспомнились слова современного болгарского сатирического поэта Константина Павлова, говорившего, что «каждый должен *немножко* сойти с ума, чтобы не сойти с ума *полностью*». И подумал, что тот, кто сегодня боится пережить коммунизм на страницах философского труда, осужден кроваво пережить его завтра на своей собственной шкуре.

Димитар Бочев

ИНОПЛАНЕТЯНИН ЛИМОНОВ

Есть люди, которые проглядывают рецензии на новые книги, чтобы понять – интересная ли книжка, стоит ли ее читать. Для них, чтобы они не теряли время, бегая глазами по строчкам, я сразу же и однозначно отвечаю: нет, не интересная.

Читать новую книгу Лимонова скучно, и я с трудом побарывал искушение пролистнуть десяток-другой (третий) страниц. И только профессиональные соображения подталкивали меня дочитать роман до конца.

Я переворачивал страницу за страницей, а происходило все то же самое. Герой с кем-нибудь совокуплялся. Или думал

Э. Лимонов. Палач. Иерусалим, «Хамелион», 1986.

об этом. Или, например, отправлялся в магазин, чтобы купить целлулоидный член. Или какой там – резиновый?

Знаете, как в анекдоте. Фурманов признается Чапаеву, что, вот, написал про вас, Василий Иванович, книжку. Чапаев берет рукопись и читает: «Василий Иванович Чапаев сел на коня и поскакал в штаб». Чапаев заглядывает в конец: «Василий Иванович Чапаев слез с коня и вошел в штаб». Что же там в середине-то, думает Чапаев, открывает страницу наобум и видит: «Цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок...»

Бродит по Нью-Йорку, мается от безвестности, от тоски по красивой жизни некто Оскар – поляк, впрочем, родину свою ненавидящий и ею не интересующийся. Лимонов уверяет нас, что Оскар этот закончил философский факультет, однако на облике героя, на уровне его сознания, на его культуре – учеба в университете никак не отразилась. Похоже, Оскар даже и книжек никаких не читал, кроме разве что Ницше по хрестоматии типа «Буржуазная философия XIX–XX вв.».

Однажды, сидя в «Макдональде», Оскар оказался свидетелем убийства. Размышляя впоследствии о взаимоотношениях убийцы и убитого (гомосексуалистов, как Оскар узнал из газет), герой-философ решает круто изменить свою жизнь. Нехитрые умозаключения приводят его к мысли стать любовником-профессионалом. При этом, сообразив, что даже его замечательных мужских качеств (а философ ими очень гордится) будет недостаточно, чтобы втереться в самое наивысшее общество, Оскар придумывает себе роль любовника-садиста или, как сам он приподнято называет свою будущую специальность, палача.

Если по примеру Василия Ивановича Чапаева заглянуть в конец книги, мы увидим философа Оскара зарезанным в роскошной нью-йоркской квартире в собственной его постели.

Ну, а в середине – 255 страниц – цок-цок-цок-цок-цок... Или, другими словами, наш философ работает над пожилыми дамами из высшего общества при помощи гуттаперчевого члена, многохвостой плеточки, которой он охаживает своих клиентов по мягким и нежным местам, и еще – цепи. Цепью он приковывает старушек к стене, а потом, сбегав в кафе за каким-нибудь безработным, просит его¹ совокупиться с поса-

¹ Щедрый Палач оценивает эту услугу в сотню.

женной на цепь бабушкой. Сам же – Палач! – сидит и смотрит. Клиенткам, утверждает Лимонов, все это доставляет чрезвычайное удовольствие.

Но жизнь не стоит на месте. Не уставая нахваливать собственную богатую фантазию, Оскар и арсенал свой совершенствует. То есть в смысле технического оснащения. Что-то покупает постоянно: либо новые цепи, либо телескопические члены. И еще какие-то страшные маски.

При этом он живет полной жизнью: обливается с утра и до ночи духами «Экипаж»¹, курит «джойнты» из самой лучшей в мире марихуаны, нюхает кокаин, одевается в «токсидо» (иногда – в белое пальто), обедает в «Плазе», ездит в лимузине, живет в «лофте».

Кстати, о «лофтах». Словечки такого типа Лимонов обожает. Складывается даже впечатление, что именно они дают Лимонову творческий заряд. Во всяком случае, когда таковых не хватает в описываемой натуре, Лимонов обращает свой взор на обыденные низкие реалии – томимый духовной жаждой, он нарекает их звучными именами. Из лифта делает «элейтор», из простого вульгарного фена – загадочный «фэн»².

Но не подумайте, что жизнь Палача – сплошной праздник. У него есть проблемы, которые я бы назвал профессиональными. Приходится иметь дело с теми партнершами, которые готовы платить, – с другой стороны, как раз особи, возбуждающие его интерес, в платных услугах не нуждаются.

Эта ситуация вносит некоторое напряжение и даже дискомфорт в жизнь Палача.

Проблема, однако, почти разрешается к концу повествования: Оскар встречает существо противоположного пола, не только богатое, но и вполне, с его точки зрения, подходящее для постели.

Ее он даже не стегает плеткой.

Но тут-то философа и убивают. Эх, нет в жизни счастья!

¹ Каюсь, моя профессиональная добросовестность не зашла так далеко, чтобы справиться в магазине, сколько же эти духи стоят. Вероятно, очень дорого, ибо Лимонов говорит о них с дрожью в голосе. Между прочим, кроме Палача, духами «Экипаж» злоупотребляет монстрикальный герой лимоновского рассказа «On the Wild Side».

² Впрочем, о «фэне» боюсь говорить с уверенностью. Может быть, Эдуарду Лимонову досталась машинка из конторы «Рога и копыта» – с турецким акцентом.

Вот, по-моему, и все содержание этой книги.

Правда, читать написанную галантерейным слогом историю Оскара-палача тоскливо не только потому, что все это заунывная безжалостная банальщина. История юноши, который связывает свои жизненные планы с сердобольностью или похотливостью пожилых дам – сюжет как сюжет. Как и все сюжеты в мире, не новый, но – работающий. То, что мы читали петрониевский «Сатирикон», например, никак не вредит, скажем, фильму Шлесенгера «Полуночный ковбой».

Роман Лимонова скучен потому, что он этим сюжетом и исчерпывается.

Герою хочется вскарабкаться на вершину – и он старается. Но что у него внутри? Только потроха? Что побуждает его двигаться? «Джойнты»? Запах духов «Экипаж»?

По существу, лимоновский герой взаимоотношается с миром исключительно на уровне физиологии. Он не живет и даже – не существует, он совершает эволюции, связанные с физиологической деятельностью. Жадное и завистливое сознание его лишь на одном сосредоточено – не упустить наслаждение. Сознание, подчиненное физиологии: получить как можно больше, забыться как можно глубже. Эта жажда – неутолима. Хищная физиология требует от сознания лишь новых и новых способов – отключения сознания.

Но проблема, однако, в том, что автора этого романа очень трудно отделить от героя.

А если Эдуард Лимонов – инопланетянин?

Пожалуй, это было бы самое удобное объяснение.

Но здесь не всё сходится.

В последнее время Лимонов опубликовал несколько текстов, основное содержание которых – злоба. Герои этих текстов, напечатанных в «Мулете» и в «Вечернем звоне», – Бродский, Солженицын, Тарковский, Шемякин.

Его чернильница, как гейзер, извергает из себя потоки желчи, и эту субстанцию он равномерно направляет на всех, кто знаменит, известен, кто на виду, – ибо, так вероятно он считает, они заняли его, Лимонова, место.

Трудно вообразить инопланетянина, культивирующего в себе столь земное чувство.

Лучше всего характеризует это липкое чувство его амбивалентность.

Пусть Лимонов полагает, что Бродский на поэтическом Олимпе уселся именно на лимоновскую табуретку. Ладно – мания величия болезнь вполне понятная. Но чем обидели Лимонова – Солженицын, Шемякин (на деньги которого, насколько я знаю, Лимонов впервые напечатался), Тарковский (который, вероятно, даже имени Лимонова никогда не слышал)?

Чем? Именно тем, что они – Солженицын! Шемякин! Тарковский!

Как и его герой, философ-палач, Лимонов не желает прозябать в безвестности – не важно как, важно сделаться знаменитым. Чтобы услышали о тебе, чтобы о тебе заговорили – вот что важно.

Завоевать Нью-Йорк – мечта философа-палача.

Мечта Лимонова – отвоевать местечко *на в е р х у*.

Лимонов похож на своего героя не только в мелочах, привычках, пристрастиях. Сходство между автором и персонажем книги в другом – в абсолютной и откровенной безнравственности. То что наводит на мысль об «инопланетянском» их происхождении, можно назвать и вполне земными словами – воинствующая бездуховность.

Михаил Лемхин

«ИДИ НА ГОЛГОФУ»

«Иди на Голгофу!» говорит Александр Зиновьев своему герою Ивану Лаптеву, «тунеядцу, пьянице, поэту и проповеднику, отсыпавшемуся после очередного перепоя в песочнице на детской площадке города Энска».

На вопрос – «с кого он списал г-жу Бовари?», Флобер ответил: «Г-жа Бовари это – я». Шестов был во многом прав, когда утверждал, что, в сущности, Достоевский до смерти оставался «подпольным человеком», а Ницше придумал своего Заратустру, чтобы сказать, как он относится к нашему наихудшему из миров. Думается, что приблизительно то же

Александр Зиновьев. Иди на Голгофу. L'Age d'Homme. Женева, 1985.

самое можно сказать и о зиновьевском Лаптеве: ведь и Флобер ни с какой стороны не был женщиной!

Однако...

Но здесь-то и начинаются трудности. Потому что путь Лаптева (от Энска до Москвы) лишь этап в эпопее Зиновьева, лет десять назад вышедшего из Ибанска («Зияющие высоты») и дошедшего (пока что) до Энска и за это время отмахавшего 14 этапов!

Невольно вспоминается наша первая встреча в Париже. Точно уже не помню когда (но тоже что-то около десяти лет назад). Сидели мы в традиционном ресторанчике «Русской мысли» на авеню Ваграм и меня поразило крайнее почти аскетическое вегетарианство Александра Александровича, к которому прибавлялся абсолютный антиалкоголизм: не только от аперитива отказался, но и полстакана вина не захотел выпить: для советского человека – потрясение основ! И вот тогда я спросил – верующий ли он или нет? А. А. замаялся, что-то начал говорить и признался: «Право, не знаю».

Проснувшись, Лаптев вообразил себя Богом, русским Богом, во всяком случае, что значит «страдающим»: «ведь мы, русские, имеем богатый исторический опыт по этой части. Страдания стали нашим привычным образом жизни и нашей натурой. И страдаем мы с выдумкой, с талантом, с большим мужеством и терпением, можно сказать – профессионально. И, конечно, с наслаждением». Русский же Бог – «явление очень странное. Он самые чистые и святые мысли выражает самым грязным языком в мире... Он высказывает самые трезвые суждения лишь в безобразно пьяном виде... Так что если в дальнейшем скажу вам что-то умное, то знайте: я в это время был пьян... („что у пьяного на уме, то...“).

И здесь весь Зиновьев и всё его отличие от Ницше-Заратустры, ожесточенные нападки которого на Бога были одинаково и результатом его страшной болезни, но и столь же страшного преступления людей, «убивших Бога», и который все же воскликнул: «Господи, почему Ты меня оставил?» Лаптев-Зиновьев кончает приблизительно так же. Своею проповедью он нажил не только почитателей, но и врагов, которые, само собой, одолели почитателей и он был вызван в Москву, где был судим и приговорен к «высшей мере наказания». Однако через несколько лет вдруг снова появился в своем городе.

– «Глядите! – раздались возгласы. – Никак опять Иисусик объявился. Откуда ты? Слух был, что тебя в Москве «шлепнули». Значит вранье?

– Нет, – сказал Лаптев, отыскивая место для своего полного стакана и тощего тела, – не вранье. Только «шлепнули» не меня, а нечто во мне: во мне убили Бога».

Это уже не смешно.

И снова вспоминается Ницше, считавший, что «самым страшным преступлением, совершенным людьми, было убийство Бога». Но в те времена убийцы – Маркс, Энгельс, Фейербах, Дарвин, Фрейд, Конт... – всенародно справляли свою победу, писали книги-откровения. Теперь времена изменились и человечество питается лишь объедками с когда-то казавшимся царственным стола.

«Иди на Голгофу» – написана в классическом зинovieвском стиле: диалогами между действующими лицами, «Богом» – Лаптевым и его окружением: его Антиподом, его Богиней, административными чинами Энска, врагами и почитателями и многочисленными его пациентами. Здесь надо заметить, что Лаптев, как и Распутин, обладал даром излечения некоторых недугов, путем внушения и соответствующих бесед. Следует также отметить, что свой дар, который он получил даром, даром же его и раздавал: денег за «исцеления» не брал: это входило в принципы проповедуемого им «лаптизма».

Он кроме того предупреждал: «Я исхожу из такой предпосылки: мы живем в коммунистическом обществе и не имеем шансов его изменить, заменить другим и убежать из него. Более того, мы не хотим его изменять... Мы обречены жить в нем, причем – в таком, каким оно нам дано в качестве естественной социальной среды». А это значит: не совершай противозаконного. Не участвуй во власти. Игнорируй всё официальное... И ни в коем случае не обожествляй власть... Игнорируй официальную идеологию. Любое внимание к ней укрепляет ее».

И это – святое признание. И относится не только к Лаптеву и его творцу, Зиновьеву (он-то знает, что пишет!). Но ко всей России, ставшей «Союзом Советских Социалистических Республик»: никакого «Союза» нет и никогда не было, «Советы» (настоящие) давно разогнаны, «Социализм» – и не ночевал, «Республики» – очередной миф, что значит, что уже четыре буквы: СССР – четыре безапелляционных лжи. И так

езде и во всем. Без лжи и демагогии в СССР (стихии лжи) не проживешь.

Но это не всё. «Самое трудное в моем положении, – признается Лаптев, – состоит в том, что я атеист... Бог не может верить в Свое бытие, ибо Он не может относиться к Себе, как к чему-то вне Его Самого». Стальная логика! Да и сам Зиновьев в интервью, данном журналу «Фигаро-Магазин» (10.1.87), признается: «Я атеист и глубоко верующий... Это очень просто. Я человек конца XX века, я ученый. Но, как существо моральное, я религиозен. Это значит, что существование или не-существование Бога, как идеальной сущности, для меня не проблема».

Как будто разумно. Но когда я был в приготовительном классе, мы с товарищами уже обсуждали вопрос: «А может ли Бог создать гору, на которую сам не сможет влезть?» Видно, такие штучки уже обсуждались в «те баснословные года». К сожалению, никто из взрослых не мог объяснить нам, что Бог не подчинен ни времени, ни пространству и уж тем более нашей «трехмерной» логике.

Изложить вкратце, резюмировать все приключения Лаптева, как всегда претворенные в монологи и диалоги (таков уже стиль Зиновьева), дело абсолютно невыполнимое: это – огромный кристалл с сотнями граней, освещенных каждая своим специфическим светом, исходящим из того же кристалла, и образующих вместе это нелепое, но вместе с тем крепко спаянное сооружение, вмещающее 280 миллионов людей, называющихся «советскими гражданами». Отсюда все качества и все пороки его героя, возмнившего себя Богом, но признающего, что он атеист; пьяницы и развратника, но отказывающегося брать деньги за свои исцеления, хотя случались дни, когда у него не было нескольких копеек на кусок хлеба; подсмеивающегося над Иисусом, но всё же пытающегося идти Его путем, отлично зная, что этот путь ведет на Голгофу, словно он понимает, что Голгофа потому и Голгофа, что ведет к Воскресению. Иначе она давно превратилась бы в нечто вроде Малахова кургана, которых в каждой стране хоть отбавляй.

В конце концов, известность Лаптева, как излечителя и целителя, достигла самой Москвы, ну и, конечно, нашлись умельцы и охотники до приключений, решившие воспользоваться его способностями и качествами. Главным в предпри-

ятии оказался некий «Серый» («таким было мое восприятие его», заявил Лаптев), который так ему и брякнул: «С такими способностями, как у тебя, деньги лопатой загребать можно. Только не в провинциальной дыре. Тут дураков не так много осталось. Надо в столицу податься. А там...»

Лаптев плохо верил в подобную перспективу, но Серый уговорил: «Хотя Бог явление провинциальное, – думал он, – но лишь в столице он может быть отвергнут и наказан, то есть признан».

И Лаптев согласился.

В Москве его вымыли, вычистили, побрили, одели в хороший костюм и даже соорудили школу, в которой он начал преподавать подправленную Серым «свою систему», хотя такой поворот дела ему «не очень-то нравился». Но Серый был тверд: «Мы тебе дали возможность проповедовать твоё ученье, но не ради твоих дурацких идей (у нас своих идей в избытке), а ради денег. Мы и не скрываем этого. Так что вроде бы всё по-честному...»

По-честному или не по-честному, но ученики стали валить в школу чуть ли не тысячами, так что «наверху» забеспокоились, опасаясь за чистоту марксистских риз, тем более, что лаптизм смахивал больше на новую идеологию, чем на религию, так что «школу пришлось закрыть раньше, чем предполагалось». А потом все пошло как по-писанному: состряпали на Лаптева «дело» и предложили выбор: «Сознаться, что мошенник, либо упорствовать и тогда...» Лаптев выбрал «тогда... и был приговорен к высшей мере наказания». Но что-то в административной машине не сработало и он снова очутился в своем родном городе. Живым, но с «убитым в нем Богом».

«Даром получили, даром и давайте», сказано в Евангелии.

К. Померанцев

ЧТО ТАКОЕ ШПАЛЕРА?

С течением времени слова иногда меняют свой смысл. Так, из романа Глинки на стихи Кукольника «Попутная песня» следует, что пароходом в прошлом веке называли средство

Александр Радашкевич. Шпалера. «Руссика», 1986.

передвижения по рельсам, известное нам теперь как паровоз, пароход же в наши дни обозначает совершенно другой вид транспорта. Или в «Войне и мире» хирург именуется «оператором», что неизбежно вызывает у сегодняшнего читателя ассоциации, предусмотреть которые вряд ли мог даже такой прозорливый и тонкий психолог, как Лев Толстой. В этом свете, может быть, меньшей натяжкой покажется моя попытка ответить на поставленный в заголовке вопрос следующим образом: вопреки словарю Даля, «Шпалера» – это поэтический сборник Александра Радашкевича, недавно выпущенный издательством «Руссика».

Скорее всего автор не нуждается в представлении: интересующимся поэзией читателям он известен по регулярным публикациям в «Континенте», «Стрельце», «Русской мысли», «Новом журнале». Печатает Радашкевич не только стихи – среди его работ значительное место занимают переводы, много статей; не так давно в «Русской мысли» появилась одна из них – серьезнейшая – о творчестве Н. Гумилёва.

«Шпалера» – первая книга Александра Радашкевича, и книга, на мой взгляд, особенная. Дело не только и не столько в профессионально-безукоризненном качестве, интенсивности и эмоциональной достоверности стихов, столько в их, условно говоря, неслучайности, выдающей наличие целостной и стройной поэтической системы, стоящей за отдельными образами и строчками, определяющей их и, одновременно, из них состоящей. Само наличие такой системы выгодно отличает сборник и превращает его появление в событие литературной жизни, что, в свою очередь, делает более оправданной попытку рассмотреть стихи Радашкевича в связи с некоторыми центральными темами сегодняшнего, зачастую немного разговора о русской поэзии.

(В скобках оговорюсь, пока не поздно: учитывая скромные размеры рецензии и более чем скромные возможности рецензента, мне придется отказаться даже от беглого описания разнообразных аспектов поэзии Радашкевича – таких, как его историософские взгляды, переводы, взаимоотношения с иностранными языками вообще и пр. Такая произвольная избирательность неизбежно искажает общую картину, но я вынужден ограничиться наиболее значительными, на мой взгляд, сюжетами, прекрасно понимая, что в числе принесен-

ных жертв оказывается столь немаловажная «деталь», как эмоциональное содержание книги, например.)

Самые актуальные, по-моему, темы, непосредственно затронутые в «Шпалере», – это место свободного стиха в современной русской поэзии и вульгарное социологизирование литературы, ее нарочитая злободневность или, наоборот, предельная индивидуализация.

Всё, чего читатель ожидает от стихов, у Радашкевича встречается в местах наиболее неожиданных: рифмующиеся слова помещены не в конец строк, а в середину или в начало, да и строки не выстроены по смысловой восходящей с тем, чтобы последняя оказалась бы и ударной, – иногда стихотворение такой строкой только открывается. Но эти уловки и ловушки – не просто игра, не эксперименты словосочетаемости, результаты которых удивляют, в первую очередь, самого поэта, – Радашкевич как нельзя более далёк от искусных мастеров косноязычия, к искусству имеющих отношение косвенное: его, порой кажущиеся изысками, изыскания происходят, в первую очередь, из оригинальности вкладываемого в стихи содержания и, соответственно, необходимости поиска альтернативных путей его выражения.

И все же в плане формальном «Шпалера» органически вписывается в традицию русского свободного стиха, идущую от поэтики XVIII века (неслучайно Радашкевич так часто обращается к событиям и персонажам этого периода нашей истории), от творчества Кузмина и Хлебникова. Может быть, самым стилистически значимым успехом автора является то, с каким мастерством он сумел приблизить стихотворные интонации к разговорной речи, чему, конечно, в немалой степени способствовала тавтологически свободная структура верлибра. Именно это максимально допустимое уподобление поэтического строя нормальному человеческому языку повышает убедительность сказанного и в итоге превращает его в услышанное.

Все – без единого исключения – стихи Радашкевича написаны сложным, интонационно-виртуозным верлибром, и таким образом позиция автора, им самим, может быть, воспринятая со слуха или вообще совершенно по-другому формулируемая, подкреплена всей практикой серьезной работы, всем скрупулезным опытом труда и творчества.

Так сложилось, что в российском обществе поэт играет роль пророка и учителя жизни. Не имея ни малейшего желания углубляться в эту, кажется, не самую лестную особенность нашего сознания, позволю себе только заметить, что поэзия традиционная (т. е. рифмованная, с четко выраженными, родственными песенным, ритмами) именно в связи с привычностью, а значит, и большей доступностью своей, – инструмент куда более пригодный для осуществления тяжких задач наставника, чем модернизм в любом виде. Отказ Радашкевича от таких традиционных форм представляется мне совершенно сознательным, и дело здесь не только в поисках неортодоксальных средств выражения, как отмечалось выше. Вся поэтика «Шпалеры» – уникальная в русской литературной истории попытка избежать в стихах исповеди, равно как и проповеди, а также сохранить достоинство при взгляде на вещи, часто не достойные взгляда.

В книге не просто начисто отсутствуют призывы, декларации, философские сентенции, но и, что гораздо более удивительно, по пальцам можно пересчитать все случаи употребления личных местоимений первого лица. В поэзии бесстрастность и равнодушие – понятия почти полярные, и отказ от пресловутого «лирического героя» в сочетании с – дух захватывающим – мастерством позволили автору безупречно выдерживать дистанцию, ничуть не теряя при этом в убедительности. Предельная объективация и ненавязчивая, сдержанная манера разговора, исключая даже возможность повышения голоса, срыва на запальчивый крик или грубый окрик, помещают книгу Радашкевича в контекст культуры европейской речи и поэзии Рильке и Кавафиса с объединяющей их тягой к историко-повествовательному жанру.

В такой системе «яканье» неуместно, ламентации невозможны, исповедь недопустима. Индивидуальный опыт, похоже, приобретает ценность только на типовом уровне, и только в результате художественного обобщения может оказаться темой или содержанием стихотворения, в то время как обстоятельства частной жизни – в лучшем случае повод для сострадания, не более.

В стихах Радашкевич – всегда очевидец, свидетель (даже если речь идет о событиях XVIII века), участником он не бывает никогда (даже в местах явно автобиографических). Наверное, именно таким и должен быть поэт в своем творчестве, именно здесь и проводить границу между реальностью поэтической и повседневной, в которой, наверное же, следует вести себя прямо противоположным образом.

Потому я и вынужден был побороть искус цитирования (прием, неизбежно облегчающий процесс написания статьи и, при определенном уровне текста, успешно заполняющий ее пространство), что из «Шпалеры» невозможно и даже противостоестественно выдергивать разрозненные строчки, подтверждающие или опровергающие какие-то нехитрые размышления. В конце концов, главное-то в целостности – интонационной, мелодической, эмоциональной – а не в отдельных словах, смысл которых – условность, меняющаяся со временем. Пароход ведь паровоз, оператор – хирург, а «Шпалера» – книга стихов. Очень хорошая.

Максим Кротов

НЕ РАНО ЛИ ПЕТЬ ОТХОДНУЮ...

«Триптих» – это три части единого целого, хотя книга состоит из трех новелл-очерков с сюжетами, ничего общего между собой не имеющими. И написаны все они в разное время: первые два – в Москве, в 1974 и 1976-м годах, а последний – в Израиле, в 1984-м. И все-таки книга едина, целостна и сценментирована общей мыслью: во что превратилась Россия нынешняя и к чему она идет. Не на заводах и фабриках, не в колхозах и на стройках ищет автор возможность схватить суть идеи. Он ищет такую возможность на кладбищах и в заброшенных русских храмах. Пусть не покажется это нелепицей – отношение людей к смерти вернее отразит душу, чем отношение к жизни с ее изменчивым и суетливым лицом.

Советский режим попрап законы моральной и экономической жизни, к этому все привыкли и ничему уже не удивля-

Феликс Розинер. Триптих. Лондон, ОРІ, 1986.

ются. Но всегда казалось, что если люди способны понять и простить надругательство над жизнью, то надругательство над смертью для них пока немыслимо. Однако оказалось, что — мыслимо, и Феликс Розинер показал это с наглядной очевидностью. Есть у автора способность цепко ухватывать факт и глубоко его анализировать.

В первом очерке «Посмертная хроника» — самом лаконичном и емком, идет речь о заурядных похоронах на заурядном московском кладбище, новом, только что «изобретенном», называемом «Хаванское». И в названии-то вроде нет ничего особенного, но на фоне абсурдистской картины, остающейся от описания этого «места захоронения», чудится что-то от слов «хапать», и «хавать», и «ховать». И нет уже ощущения кладбища как места, где, согласно обычаю, строго и скорбно навсегда прощаются с человеком, остается ощущение зловонной ямы, куда деловито сбрасывают трупы в порядке производственной деятельности. Казенной поспешностью веет от громыхающих жестью венков с биркой «Специализированный трест бытового обслуживания», казенной поспешностью — от могильщиков, торопящихся выполнить прибыльную работу.

Слово «свалка» в этом очерке появляется исподволь, когда похоронный автобус лишь подбирается к подступам кладбища. Об этом сказано с жутковатой простотой: «Мы проезжали московской клоакой». И она, эта клоака, с естественной неотвратимостью перешла в само кладбище, которое оказалось свалкой железа, мусора, тряпья и трупов. Ассоциация со свалкой вызвала у автора другую — вселенскую, эсхатологическую, безысходную, когда жизнь и смерть на нашей планете предстают в виде единой загаженной свалки.

Неуважение к смерти и тяжелые моральные последствия этого стали темой очерка «Запредельная встреча» с подзаголовком «Дополнение к биографиям В. Розанова и К. Леонтьева». Сюжет незатейлив: зная, что оба писателя похоронены на одном кладбище в Черниговском скиту неподалеку от Загорска, автор с друзьями приезжают туда на поиски их могил. Первоначальное ощущение — благостное, нет ничего похожего на механическую суету гигантского подмосковного «комбината по захоронению». Неподалеку Лавра, перезвон колоколов, тихие иноки в рясах. И вдруг — «дзынь!» — все это благолепие разваливается, как детские постройки из камеш-

ков на морском берегу. Неожиданно выясняется, что к Черниговскому скиту паломники шли по дороге, мощенной раздробленными могильными плитами, а это, пожалуй, еще страшнее, чем подмосковная клоака: «На нас смотрело с осколка БОГЪ, и тут же бросилось с другого куска ДУША... Шли, замедлив шаг и неосознанно стараясь не попасть ступней туда, где были врезанные в камень буквы. Кладбища же как такового не было, ибо вместо могил холмились тут пустые болотные кочки».

И что за лихоманка трясет правителей этой несчастной страны! – из-за границы всеми правдами и неправдами стараются вывезти прах великих людей России, ее гордость и славу, а у себя, на своей собственной земле, эту гордость и славу пинают ногами, останки великих вырывают бульдозерами, а на месте их упокоения устраивают спортивные площадки или военные полигоны. Страна, которая затаптывает свое прошлое, не будет иметь будущего – такова определяющая мысль очерков «Каргопольские маковки» и «Запредельная встреча», только в первом пойдет речь не о поруганных кладбищах, а об оскверненных, гибнущих храмах. В принципе – об одном, об изгаженной святыне, ибо места молитвы и вечного покоя связаны с Богом и с Вечностью, а их давным-давно за ненадобностью изгнали советские власти.

Очерк «Каргопольские маковки» полемически заострен, ибо, помимо всего прочего, для автора важно опрокинуть лживую официальную версию о якобы охраняемых и поддерживаемых государством памятниках старины. Рупором лжи в данном случае оказывается «Путеводитель», который, как и все путеводители, предназначен для того, чтобы указывать и разъяснять. Вот он и «указывает»: «Приезжая в Каргополь, погружаешься в тихое очарование...» «В мертвую сонливость, – парирует автор, – в очарование острова мертвых». Путеводитель вещает далее: «Формы астафьевской деревянной церкви XVII века поражают предельной простотой». Ответ Розинера лаконичен: «Уже не поражают», – ибо летом прошлого года эта церковь рухнула и останки ее гниют в придорожной грязи. Тон полемики саркастичен, а логика фактов поубедительней всякой другой.

Выясняется также парадоксальная вещь – в первую очередь гибнут именно памятники, *охраняемые государством*, так как бездушная охрана бюрократического государства превра-

щается в свою противоположность и за дощечкой «Охраняется законом» обязательно скрываются груды заплесневевших, наложенных друг на дружку икон, обвалившиеся стропила и смытая дождями роспись стен. Зато «неохраняемые» церквушки ли, часовенки, как ни странно, живут, поддерживаемые бескорыстным уходом местных старушек.

Полемика по поводу «охраняемых» памятников тем актуальнее, что голоса в их защиту, прозвучавшие впервые с конца пятидесятых, с каждым годом все громче. Сейчас, судя по сведениям, доходящим из Союза, ревнители старины уже криком кричат. Ну и что? Можно уже и сейчас с уверенностью сказать, что почти ничего не изменится, потому что, как точно заметил автор «Триптиха», дело отнюдь не в Министерстве культуры, а в самой *Культуре*..

О поруганных и оскверненных храмах существуют книги, исследования, фотоальбомы. Так что выбранная Ф. Розинером тема вроде бы не нова. Ну, поехал советский интеллигент в Прионежье (всякий уважающий себя образованный человек делает то же), в край исконного русского быта и разрушенной древней красоты... Однако в очерке Розинера речь идет о вещах гораздо более серьезных. Вот стоит он с друзьями в очереди на каргопольский автобус... И вдруг выясняется, что билетов нет и никогда не будет. Очередь ведет себя не по-человечески – она бессмысленно-равнодушна, потому что и ехать ей, вроде, ни к чему, и торопиться некуда, и дорога дрянная. Один из пассажиров изрекает фразу, ставшую для автора смысловым ключом к общему настроению: «Как бы там ни было, лучше, чтобы никак ничего не было». В другой очереди, в столовую, мужлан скуки ради чуть не насмерть забивает собачонку. Никто даже не оборачивается, чтобы посмотреть. Безразличие в чистом виде, безразличие как лучший способ существования...

У крестьян, у случайных прохожих одеревяневшие лица, тупо-безразличные взгляды. Ни чувств, ни мыслей. Оживают только при виде бутылки с мутноватой влагой, пьют все – от стариков до подростков. Развалившаяся на станционной лавке женщина добродушно бормочет: «А что же не пить? Одна и отрада в этом – выпить. Отдохнешь от всего». У встречающихся повсюду пьяных вид блаженно-отсутствующий. Вот когда становится понятным предпосланный очерку эпиграф из «Откровения Святого Иоанна»: «Прочие же люди,

которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих».

Василий Белов в своей прославленной книге «Лад», стыдливо избегая слов «теперь» и «нынче», рисует старинный русский Север как край рачительных хозяев, высокой духовности и чистоты нравов и исполненного глубоким смыслом распорядка жизни. «Каргопольские маковки», выходит, оказались как бы «Контр-Ладом»?.. Автор очерка пишет: «Вся современная жизнь не только деревни, но во многом и города, страны в целом, основана на последствиях долгой цепи катастроф. Сегодня главным их последствием, самым тяжелым и, может быть, непоправимым, стали *люди*». И это совершенно справедливо. Но тут же, несколько строчек спустя, начинаются сопоставления, которые начисто смыывают разумную постановку вопроса и все рассуждения автора ставят с ног на голову. Оказывается, завершает мысль Ф. Розинер, советским людям постепенно стал *нравиться* тот образ жизни, который им навязала тотальная власть: «Так повысим же зарплаты! Больше предметов народного потребления (в избах у описываемых крестьян и телевизоры, и холодильники, молодежь на мотоциклах раскатывает!), построим дороги, возведем пятиэтажные коробки... издадим миллионными тиражами „Трех мушкетеров“. Эти люди, как крысы под экспериментом, непрерывно нажимающие на планочку, связанную с центром наслаждения в мозгу».

Сочинив абсурдную аналогию с крысами, автор придумывает не менее абсурдно звучащий рецепт «исцеления»: «...сами люди могут проявить свою природную способность мыслить и осмысленно действовать, чтобы остановить свое же собственное убийство». Да при чем же тут люди?! Розинер обрисовал бессмысленную жизнь деревни, где нет ни горячего биения самостоятельного хозяйствования, ни активной энергии личного интереса, и на этом остановился. А о том, что *система* все вытравила, ни словечком не обмолвился. Поменяй социальные условия, отбрось пришедший из кошмара режим, и люди, такие тупые и сонные, словно в живой воде искупаются – придут силы, энергия, и воля к работе неведомо откуда возьмется.

Феликс Розинер пишет и убедительно, и красноречиво. И образы оскверненных кладбищ, по которым бродят толпы «иванов, не помнящих родства», и картина выморочного края с почернелыми, брошенными деревнями, на редкость горест-

ны и безотрадны. В непроглядном тумане ни веры, ни крохотного лучика надежды. Что ж, автор имеет право на собственное видение и чувство. Вот зачем он только «выморочных» людей так растоптал? Ведь они-то ни в чем не виноваты.

Майя Муравник

ВЕСТНИК

И з д а н и е

«Русского Студенческого Христианского Движения»

Ответственный редактор: Н. А. Струве

ВЕСТНИК РХД № 148

III - 1986

ИЗ СОДЕРЖАНИЯ

От редакции. На кочке – Н. Струве

БОГОСЛОВИЕ И ФИЛОСОФИЯ

О молитве – Архим. Софроний (Сахаров)

О таинстве исповеди – Прот. Георгий Бенигсен

Серен Киркегор в русской литературе – Л. Чертков

Отрывки из дневника 1847 г. – С. Киркегор

ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ

Стихи – Елена Пудовкина (Ленинград); Исаак Розовский

Глава 212 из «Марта Семнадцатого» (Узел III) –

А. Солженицын

Два «акмеизма» – И. Ф. Мартынов

В. Ходасевич и В. Набоков – Н. Струве

СУДЬБЫ РОССИИ

ЛЕПТА (Журнал в журнале)

О двух подвижниках – Из письма архим. Иакова – Анзерское чудо – Отец Сергей

О малом доброделании – И.

Из проповеди – архим. Таврион Батозский

Коротко о книгах

ВАДИМ КРЕЙД. ВОСЬМИГРАННИК

Мало кто отваживается в наш век писать поэмы – этот жанр требует от читателя известной самоотверженности и со времен «Первого свидания» Андрея Белого, кажется, русским поэтам не особенно удается. Собственно, уже Блок считал идеальной длиной лирического стихотворения 20 строк. Если же верить японцам, то достаточно и пяти, а то и вовсе трех. В этом смысле Вадим Крейд ближе к японцам, да и не только в этом – именно о восточной поэзии заставляют прежде всего вспоминать его восьмистишия, выдержанные обычно в эскапистской, созерцательной манере. С другой же стороны, они, во-первых, рифмованы, во-вторых, по-европейски организованы: сначала в циклы по восемь стихотворений, потом – в книгу под названием «Восьмигранник». Читай – одна из шлифовок бриллианта, или же: самая распространенная форма каменных кристаллов. Поклонник Каиссы может увидеть тут и намек на шахматную доску. Мне же на ум приходит некий японец, который в саду камней медитирует, глядя на красивые валуны, и тихо декламирует самому себе стихи, скажем, такие:

Скрипит песок в стеклянной тишине,
И в раннем утре, голубом и бледном,
Победный крик ворон со всех сторон
И бедный отзвук в вышине.

Правда, японские стихотворения строятся на другой, более мудрой основе. Крейд заимствует из них систему непритязательно прекрасных – то есть изящных – вещей, но добавляет к ней порядочную дозу традиционных европейских эмоций. От вкусов читателя будет зависеть, насколько этот гибрид окажется жизнеспособным. Во всяком случае, любой, кто обращается за опытом к дальневосточной поэзии, обязан развить у себя абсолютный вкус, как у музыкантов абсолютный слух. Совершенным восьмигранником можно любоваться именно благодаря его редкости среди булыжников. Тут в книге попадаются досаднейшие провалы. Их источник – в традиции, которая нам куда ближе. На фоне неяркой «японской» красоты мира Крейд разворачивает приключения духа; от аналитического созерцания:

Какая прозрачная выдалась осень...

– он то и дело переходит к напряженной констатации:

Время и эту русую ночь
Майскую вычеркнет прочь.
Как и вчера, завтра нырнет
В гнет непонятных теней...

Этот размышляющий, страдающий от собственной беспомощности дух – прямой наследник десятых годов нашего века. Об Иннокентии Анненском, великом певце человеческой слабости, напоминает «мучительное» настроение некоторых стихотворений. «Октавы про света» и «Восьмигранник снега» – разумеется, из того же источника, что «Третий мучительный сонет» и «Трилистники» всевозможных вещей и настроений. Углубляясь в ту же эпоху, немедленно обнаруживаем в ней и нечто похожее и на «Восьмиглав обольщений», и на «Осьминога тьмы» – увы, здесь родственники куда менее почетные для поэта, не то дурной Сологуб, не то и вовсе соловьевские пародии на ранних символистов.

Лишь бедной радугой ажурной
Парит любовь во мгле ума...

Такой – довольно натужный – выход предлагает поэт в ответ на свое же горестное восклицание:

О, как далеко здесь до Бога!
Душа – слеза, глаза – сухи.
От устья жизни до истока
Полынь-трава да пустяки...

Вадим Крейд – искушенный литературовед и в высшей степени многообещающий, хотя и скупое печатающийся прозаик. О его стихах, пожалуй, я не стал бы выражаться так лестно: написаны они рукой зачастую весьма неуверенной, и вряд ли допустимы у более опытного мастера «бред этих трансов», «бархатные барханы» и «песни Имы Сумак», попавшей в стихи исключительно за экзотический голос и популярность в Москве начала 60-х годов. И все же книжка эта интересна. Во-первых, при всех своих ошибках и провалах поэт «не позволяет душе лениться» – а в этом верный залог развития. Во-вторых,

проза Крейда бросает собственный свет на его стихи. В сравнении с нею становится ясно, что в его поэзию попадает все то «японское» и «анненское», что не помещается в прозу – искусство куда более самоуверенное, самодовлеющее и жесткое, чем стихи. Что ж, тогда и беспомощность этого духа, искателя гибельных приключений, становится понятной.

Какие сны светили мне
В ту ночь на воскресенье,
Исчезли. Память, сбереги
Их золотистый свет...

Выше я говорил об эскапизме Крейда. Слово почти ругательное, столь же обидное, как пресловутая башня из слоновой кости. И в самом деле – герой «Восьмигранника» почти начисто оторван от конкретного времени и пространства, сада камней – под серым ленинградским освещением – ему вполне достаточно. И в этом, мне кажется, еще одна сильная сторона этих стихов. Вскормленный реализмом читатель склонен искать – а поэт ему поставлять – какие-то зацепки, связывающие текст с обыденной реальностью. Не знаю, как вам, а лично мне наша обыденная реальность уже набила – особенно у цепляющихся за нее по недостатку духовности – порядочную оскомину. И почему бы, пусть на небольшом пространстве эмигрантского сборника стихотворений, не навестить помянутую – даром что недостроенную – башню? Ни Крейду, ни нам с вами не получить постоянного вида на жительство в этом несуществующем строении. Удовольствуемся визитом – удостоверимся, что есть на земле люди, честно пытающиеся его соорудить. Такие же слабые, как мы с вами. Обладающие, однако, робкой тягой видеть во сне

...предел неизвестный,
Глубокий рубиновый свет –
Сиянье, но этого кроткого места
На свете, наверное, нет.

А. Т.

*Robert Moss. Boulevard Gogol, Paris, «Denoël», 1986,
(Moscow Rules. New-York, «Villard Books», 1985).*

Политический триллер крупного американского журналиста Роберта Мосса был написан во время короткого правления Константина Черненко. Его сюжет – жизнь и карьера молодого, блестящего русского генерала, который сразу после смерти Черненко (который, разумеется, назван просто Генеральным Секретарем) организует почти бескровный военный переворот с установлением военной диктатуры и роспуском партии.

Герой книги, Александр Преображенский, родился в конце Второй мировой войны, вскоре после гибели отца на фронте. Его мать, неласковая, усталая женщина, посвятила себя службе и партийной работе. Студент МГУ, Саша сближается с фрондирующей молодежью, посещает читки неофициальной поэзии. Но отец его подруги, старый зэк, профессор истории, открывает ему подлинные обстоятельства гибели отца. Сашин отец был застрелен в затылок чекистом Топчим в Пруссии, пытаясь предотвратить коллективное изнасилование 7-летней немецкой девочки. Топчий же стал со временем одним из руководителей КГБ. Это открытие меняет Шашину жизнь. Он решает расправиться с Топчим, да и со всей системой, которая позволяет безнаказанное существование подонков.

Саша начинает с мелкого предательства, произнося на комсомольском собрании разгромную речь против одного из студентов-поэтов. Студента вскоре сажают, затем следует арест Сашиной возлюбленной, которая впоследствии кончает самоубийством в лагере, не перенеся серии страшных изнасилований. Тем временем Саша уезжает на военные учения и по окончании оных завербовывается в ГРУ. Женитьба по расчету на дочери одной из шишек Генштаба открывает перед ним блестящую карьеру. Разведработа в Нью-Йорке, тщательно засекреченный роман с американкой Элен, двойником погибшей Тани.

Но Сашины планы – это отнюдь не *dolce vita*. По возвращении на Родину он просится в Афганистан, на настоящую войну, в рамках частей спецназа. Именно там он надеется встретить близких по духу людей, сформировать ядро заговора. Афганская война показана в книге глазами профессионального военного. Для Саши и его новых товарищей по оружию очевидно, что эта война в ее нынешнем виде

бессмысленна. Реальны только два решения: вывод войск или превращение Афганистана в советскую республику. Так, благодаря афганскому конфликту, начинает складываться армейская оппозиция партии.

После тяжелого ранения Саша возвращается в Москву. Его тесть, Зотов, становится меж тем во главе Генштаба, назначая Сашу, самого молодого генерала Советской Армии, своим заместителем. Сведения о неизбежной смерти Генерального Секретаря ускоряют развитие событий. Зотов сообщает Саше о созыве экстренного пленума ЦК, который должен избрать нового генсека, на роль которого метит Аскеров (Алиев). Несколько офицеров ГРУ во главе с Сашей готовятся нанести удар во время пленума, парализуя КГБ и партийную верхушку при помощи войск спецназа, находящихся под их полным контролем.

В этот момент в Москву прибывает американка Элен, решившая разыскать своего давнего возлюбленного. Встреча Элен и Саши, естественно, засекается КГБ. Топчий докладывает Аскерову о связях Преображенского с ЦРУ, и тот просит Топчего подготовить материал, чтобы тем самым скомпрометировать Зотова и поставить во главе армии своего человека.

Но поздно. Смертный час КГБ и КПСС пробил. Войска спецназа захватывают стратегические посты в столице, Александр Преображенский в упор застреливает Топчего, припомнив ему прошлое. Вся верхушка ЦК арестована. В стране провозглашается диктатура армии, временное запрещение любой политической деятельности, роспуск партии. Тем не менее, происходят стихийные массовые демонстрации в поддержку нового режима, церкви наполняются верующими, республики, несмотря на некоторые беспорядки, не отделяются, а американцы, заверенные советской хунтой в отсутствии у нее агрессивных намерений, отменяют введенное было положение боевой готовности. На этой оптимистической ноте и кончается книга Мосса.

Два года спустя мы знаем, что история повернулась совсем не так, как предсказывал Роберт Мосс. Но его роман достаточно компетентен и занимателен, чтобы задуматься, возможен ли был описанный в нем сценарий.

В СССР существуют различные лобби и группы влияния, представляющие основные силы советской номенклатуры. Из кругов, близких к КГБ, можно услышать, что именно молодое поколение Комитета Госбезопасности представляет собой самый здоровый и прогрессивный элемент советского общества (эти слухи особенно были популярны в правление Андропова). То же можно, видимо,

услышать и об образованных кругах верхушки партаппарата, и о верхушке армии.

Информанты Роберта Мосса принадлежали, очевидно, к последней группировке, о чем свидетельствует, в первую очередь, афганский эпизод книги. Но три момента в развитии сюжета делают его совершенно невероятным. Во-первых, жесткие законы номенклатурных знакомств и браков исключают саму возможность встречи, не говоря уже о браке, между Сашей и его будущей женой, а стало быть, и его быстрое, не проверенное годами подлости, восхождение. Во-вторых, причины, а также цели восстания офицеров остаются немотивированными. Сам Саша утверждает, что речь идет даже не о восстании, а о революции. Глухо говорится, что офицеры-заговорщики собирались иногда для обсуждения программы, но эта программа нигде не упомянута. Просвечивает лишь недовольство советской политикой в Афганистане, которая не приводит к решительной победе и разлагает армию. И, наконец, в-третьих, совершенно очевидно, что Советский Союз, последняя во вселенной империя, не может существовать в своем нынешнем составе без глобального идеологического контроля. Как совершенно справедливо констатируют в своей последней книге «Тихо, идут убийства!» Андре Глюксман и Тьерри Вольтон, коммунизм давно превратился из идеологии в технологию захвата и особенно удержания власти, давно перешел из рук фанатиков-революционеров в руки практиков военных.

Рано или поздно, коммунистический режим в России рухнет, но сценарий его падения будет совершенно иным.

Г. А.

По страницам журналов

«22» № 50

Какие авторы, таков журнал, ибо, как всегда и во всем, только талантливость остается определяющим фактором его существования. Пятидесятый номер совпал с десятилетием журнала, и оно показало, как высоко он котируется у читателя. Роберт Конквест, Милан Кундера, Александр Зиновьев, Фридрих Горенштейн, Василий Аксенов, Иосиф Бродский, Саша Соколов, Борис Чичибабин, Сол Беллоу, Джеймс Джойс, Станислав Лем, Владимир Жаботинский, Амос Оз, Владимир Набоков... И это только айсберг, далеко не полный перечень имен, поразивших наше воображение при чтении приложенного к этому юбилейному номеру библиографического списка.

Самым большим по охвату стал раздел «Иерусалимские размышления», посвященный проблемам Израиля и русского еврейства, проблемам национального самосознания (это, в основном, и составляет главную специфику журнала), но, пожалуй, более впечатляющей показалась рубрика «Философия, история, религия», глубоко и серьезно трактующая затронутые вопросы, а также все связанное с вопросами общемировой культуры и сущностью ее феномена.

Как справедливо говорится в послесловии к номеру, «серьезность и значительность всегда были и остаются главными критериями литературного отбора в „22“, и с этим, бесспорно, связана особая заслуга журнала, ставшего первооткрывателем литературных талантов высшего класса, пребывавших до этого как бы в небытии и вставших ныне в один ряд с самыми прославленными. Это прежде всего Исаак Гиндис, повесть которого «Хроника местечка Чернополь» появилась в одном из первых номеров журнала, покойный ныне Борис Поляков, написавший незабываемую повесть-быль «Жизнь и смерть Соры-Рохл» и, наконец, Леонид Цыпкин с его уже опубликованной повестью «Мост через Нерочь» и печатающимся нынче романом о Достоевском «Лето в Бадене». Подпольное писательство в Советском Союзе – ситуация не из легких. Она-то в конечном итоге и убила в 1982 году московского профессора-медика Леонида Цыпкина в самом расцвете писательских творческих сил и таланта – ему было всего 56 лет.

Самое замечательное, что Достоевский у Л. Цыпкина не становится зауядной фигурой из серии «Жизнь замечательных людей».

Перед нами автор «Записок из подполья» в пору его вторичной женитьбы и отъезда за границу. Это герой живой, разорванный противоречиями бытия, измученный и близкий своему создателю настолько, что слышится, как тяжелое дыхание обоих перемешивается в затхлом воздухе подполья. Вот почему Л. Цыпкину органически понадобился формальный прием смещения времен, когда действие неувлимо и стремительно скользит из прошлого века в нынешний или от момента описываемых событий в пору каторги и ссылки Достоевского. Рисуетсся сцена пожара из «Бесов», грот на берегу пруда, фигура только что отбывшего ссылку и умоляющего о получении права на место жительства в Петербурге для продолжения литературной карьеры. Пассаж кончается фразой: «Я был возле этого грота, только не в Твери, а в Москве». Мы поставили точку, но у автора точек нет, роман синтаксически строится только на запятых – как единственная, произнесенная вздохом фраза. Леонид Цыпкин сумел создать произведение формально сложное, своеобразное, целиком построенное на глубоких ассоциациях и психоанализе.

Любопытно, что повесть Феликса Канделя «Слово за слово» (ч. 2), опубликованная в этом номере и ничего общего с романом Л. Цыпкина не имеющая, композиционно также строится на модернистском принципе скользящего времени. С этой точки зрения интересно проследить эволюцию творчества Ф. Канделя от его традиционно-реалистического «Коридора» через текучую сказовость «Людей мимоезжих» к сюжетно-композиционной раздробленности новой повести. Герои-то остались прежними, это обитатели московской коммунальной квартиры, только подробное прослеживание их судеб уже не нужно писателю. Люди-песчинки представлены не по отдельности, но как бы в едином песчаном вихре. Вот взлетел один слой песка, вот второй, вот они перемешались, а их последовательность во времени никому не интересна. Василий Аксенов справедливо однажды заметил, что «применение абсурда в художественной литературе... часто вызвано попытками гармонизировать реальную действительность». В этом отношении стилистические поиски Ф. Канделя представляются вполне оправданными.

Публикуя в этом номере первую главу исследования А. Воронеля о творчестве А. Солженицына, редакция отмечает, что центральная ее мысль – это роль нравственности «как основы коллективного человеческого существования» и что то же самое относится к другим помещенным в номере материалам, в частности, к статье известного румынского философа Э. Чьорана «Россия и вирус свободы». Мы не случайно выделили именно публикацию Чьорана, ибо идейно тот и

другой где-то чрезвычайно сближаются, проповедуя столь популярный нынче извечный национал-психологический национализм.

Снова, как и всегда, происходит привычная подмена понятий советского русским и коммунистической экспансии экспансией российско-имперской. Чьоран, к примеру, утверждает, что «режим по-прежнему остается русским и целиком вмещается в русские традиции» и что «история благоволит к народам, долгое время живущим под ярмом неволи, собирающим силы и копящим надежду». Читай так – русские всегда были отсталыми? Тем лучше они сохранили себя для варварства, а значит, и для захвата.

Воронель вслед за Чьораном повторяет: «За прошедшие десятилетия русский народ в своей значительной части... превратился в многомиллионное служилое сословие, пронизавшее все поры Советской Империи... Их общая система координат – государственная служба». Привычное и, надо сказать, набившее оскомину направление мысли. Оговоримся только, что Чьоран писал свою статью тридцать лет назад, в 1957 году, находясь под острым впечатлением от недавно пережитых венгерских событий, Воронель же работает над своим исследованием сейчас, когда суть проблемы, кажется, уже не вызывает сомнений.

Коммунизм погрузил огромную страну во мрак оккультизма. В этой связи поражает точность формулировки французских исследователей Бержье и Повеля, отрывок из книги которых «Утро магов» представлен в этом номере: «Ленин когда-то сказал, – пишут они, – что коммунизм – это советская власть плюс электрификация... Нацизм – это магический эзотеризм плюс танки». Авторы книги раскрывают мало кому известную истинную сущность нацизма как «целостной системы иррационально-мистических представлений о мире». А разве коммунизм не то же самое? Это тоже, подобно нацизму, уникальная в истории человечества антинаучная идеология, тоже своего рода «прорыв в Зло... в мир, где магия заменяет науку, а мистика отменяет разум». И эта идеология призвана обманом и ложью захватить всю планету, а не только Европу, как о том сказано у Чьорана.

Всемирно известному польскому фантасту Станиславу Лему исполнилось 65 лет. На Западе и в Польше вышли две новые повести Лема «Мир» и «Фиаско», а также сборник эссе «Библиотеке XXI века». Одно из них – «Одна минута» – журнал предлагает читателю. Прием обыкновенного статистического подсчета позволяет автору прийти к нравственным обобщениям широкого порядка – к рассказу о том, как одни люди мучают и истязают других, притом неустанно, каждую минуту, и ежеминутно, когда каждый из нас занят своим

делом и ни о чем не задумывается, «тысячи людей воют, извиваясь, под пытками в смертной агонии».

Подвигнет ли нас писатель к тому, чтобы задумались? Если и нет, то какую-то струнку в душе затронет и какую-то зарубку в ней оставит. Именно к подобной читательской реакции и стремилась редакция журнала «22», публикуя эссе Лема. Пожелаем же ей, чтобы она публиковала такие материалы как можно чаще.

М. М.

«БЕСЕДА» № 4

Вышел 4-й номер религиозно-философского журнала «Беседа», который открывается публикацией глав из книги французского православного богослова Оливье Клемана «Вопросы о человеке». В этих главах, в частности, отмечается, что XIX век был для христианства эпохой духовного падения, морализаторства и «непонимания того, что есть жизнь и красота». Видимо, французский богослов надеется, что наш XX или XXI век будут лучшими в смысле понимания христианства, чем XIX век.

Любопытное замечание сделано здесь по поводу первоначального единства душ и Бога. «Оригенисты утверждали, – пишет Клеман, – что в своем первоначальном состоянии души были слиты с Богом и друг с другом. Но постепенно пресытились, им захотелось чего-то другого, они были извергнуты во внешний мир, где началось их изолированное, противоречивое существование, они упали в царство холода. Этот окружающий нас холод – мир в его падении».

Борис Гройс опубликовал отрывки из «Дневника философа». Я бы выделил из этой работы следующую центральную мысль. Гройс пишет о том, что модернистская мысль предполагает, «что человек имеет непосредственный доступ к миру, как его часть... И поэтому может, в независимости от традиции, осуществить и выразить непосредственное усмотрение истины». В отличие от этого подхода, пишет Гройс, постмодернистское мышление отрицает саму возможность человека постигнуть действительность. Более того, оно отвергает «само наличие этой действительности».

Постмодернистское мышление (как в искусстве, так и в философии), которое сменяет сейчас на Западе так называемое модернистское, – действительно, крайне интересный предмет для исследования.

Гройс блестяще пишет об этом. Однако феномен постмодернизма находится в процессе становления и, может быть, еще трудно сказать о нем окончательное слово.

Актуальна и интересна статья Татьяны Горичевой о постнигилизме. Ее актуальность совершенно очевидна: если западные философы, ученые, публицисты, писатели, начиная со 2-й половины XIX века писали о глубоком кризисе современного мира, связывая его с т. н. «смертью Бога» (для современного человека, разумеется) и наступлением периода тотальной секуляризации, то Горичева говорит о кризисе самой секуляризации, «поскольку уже нечего ниспровергать, ценности исчезли, осталась только чистая власть и чистая технология».

Это состояние современной цивилизации она и называет эпохой постнигилизма. Каким же образом она характеризует это состояние? Горичева пишет: «Современный человек-машина выглядит порой менее человеческим, чем окружающие нас четвероногие твари. Иозеф Бойс сказал как-то – даже мертвое животное живее современного человека-рационалиста».

Она подчеркивает, что приблизительно к таким же выводам относительно предмета ее статьи пришли и некоторые западные философы, например: «Мы в некотором роде живем, как умершие» (Гюнтер Кунерт), «Повсюду потеря тайны, дистанции, игры и иллюзии» (Жан Бодрийар).

Одним словом, до известной степени утрачивается не только человеческий дух, но и тело, и человек таким образом как бы утрачивает даже природное бытие, превращаясь просто в плохо функционирующий истеричный механизм, жизнь которого приняла форму иллюзии.

Проблема выхода из этого состояния не является темой этой статьи, в этом плане из нее можно делать разные выводы.

Любопытна статья немецкого философа Хельмута Даама «Несостоятельность философского атеизма». Автор пишет, «что же такое, в конце концов, материальность мира? В своей «Диалектике природы» Энгельс говорит, что материя – это лишь абстракция ума». Очевидно, Хельмут Даам хочет отметить, что сама концепция материализма – противоречива, неопределенна, так как само понятие материи, как и любое иное понятие, – ментально и зависит от сознания.

Одновременно автор подчеркивает, что сами материалисты признают идеальность сознания, ибо эта идеальность самоочевидна, она вытекает из реального опыта любого человека как разумного существа. В то же время автор убежден, что это признание идеальности сознания со стороны философского материализма по существу не-

совместимо с материалистическим монизмом, с учением о мире как о единстве материи. Что же касается известного определения сознания как «продукта» материи, то при признании идеальности сознания трудно перекинуть мост от материи к сознанию и стереть качественное различие между ними.

Надо добавить, что позиции философского материализма и атеизма весьма уязвимы также с чисто психологической, даже социо-психологической точки зрения. Это объясняется тем, что философский материализм, признавая исключительное положение человека во Вселенной, отказывает духовной природе человека в независимом от материального мира существовании. Тем самым философский материализм, и атеизм в особенности, неспособны дать человечеству ответ на вопрос о смерти. Они заводят человека в тупик, из которого нет выхода. Это имеет также и социальное значение, ибо лишение права на поиск выхода из тупика атеизма неизбежно создает (на уровне сознания или на подсознательном уровне) кризисную психологическую ситуацию, которая не может не проявляться и в социальной жизни.

В разделе «Религия и эстетика» опубликована статья Евгения Шифферса «План будущей монографии», в которой автор анализирует органичность поэзии Мандельштама, Гумилева и Ахматовой, и обращает внимание в связи с этим на современного московского неконформистского художника Эдуарда Штейнберга, живопись которого также кажется ему глубоко органической. Шифферс исследует в этой своей небольшой работе и проблему богословского оправдания творчества. Он считает, что будущая русская культура «будет иметь краеугольным камнем своего здания русскую рецензию на Новый Завет и азиатское (шаманско-сибирское) колдовское отношение к творчеству, как именно бытийному акту, но не психологическому, социологическому, пропагандистскому или эпатажному».

В журнале «Беседа» приводятся также рецензии, интервью, отрывки из писем, поступающих из Советского Союза. Например, в обзоре, который посвящен состоянию греческого богословия, отмечается готовность греческих богословов Крестоса Яннарса и Зизиуласа «встретить вызов современного мира», связать апофатическую западную философию (например, Ницше и Хайдеггера) с православным апофатизмом.

Интересно интервью, которое дал журналу доктор философии Вильгельм Ниссен, который заведует кафедрой Восточной Церкви в Кельнском университете.

Вильгельм Ниссен проводит лекции и семинары с целью «познакомить западную науку и вообще всех интересующихся с наследием Отцов Восточной Церкви». Он издает серию «София», книги которой посвящены восточному богословию. В то же время профессор Ниссен уделяет большое внимание русской философии, которую, как он считает, недостаточно хорошо знают на Западе. Вместе с тем русская литература, которая так тщательно изучается в западных университетах, не может быть понята без влияния на нее философии Соловьева, Федорова, Флоренского. Профессор Ниссен подчеркивает вместе с тем, что для него литература часто больше говорит о Боге, чем современное богословие. Он говорит, например, что не только русская, но и «южноамериканская литература ставит в своих романах вопрос о Боге с неподражаемой силой. Это удивительно, даже если это почти всегда подается в языческой упаковке».

Итак, журнал «Беседа» продолжает свой путь, на его страницах обсуждаются не только актуальные проблемы богословия, но и современной философии и даже восточной метафизики. Мне кажется, что при таких данных рост интереса к журналу неизбежен.

Юрий Мамлеев

МИХАИЛ ФЕДОТОВ

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Книга о судьбах людей, вернувшихся по завету предков на свою историческую родину – в Израиль, об их чаяньях и проблемах в новой для них среде и обстановке.

В книге 400 страниц.

Заказы принимаются по адресу:
M. Fedotov, POB 6997
Jerusalem, Israel

Почему такая великолепная теория уже столько лет приводит к совершенно противоположным результатам?

Ян Прохазка

*Плохие свойства человека как такового?
Плохие руководители? Плохие народы?
Плохая история? Может ли централизованное
в масштабах государства производство и
распределение сосуществовать с правами человека
и со свободным обращением информации в обществе?
И ПОЧЕМУ МОЖЕТ ИЛИ НЕ МОЖЕТ?*

На эти вопросы отвечает книга

Доры Ш т у р м а н

«НАШ НОВЫЙ МИР»

ТЕОРИЯ. ЭКСПЕРИМЕНТ. РЕЗУЛЬТАТ

Рукопись книги, циркулировавшая в Самиздате с начала 1970-х гг., была нелегально вывезена из СССР. Автор, выехавший вслед, издал ее в 1981 году, дополнив (спустя десять лет) новыми фактами и статистическими данными, которые убедительно показали достоверность «подпольного» анализа.

Новое издание расширено и дополнено материалами 1980-х гг., еще более четко подтвердившими первоначальные прогнозы.

Объем книги – 460 страниц.

Книгу можно заказать по адресу:

S. Tictin, 422/6 Mizrakh Talpiot,
Jerusalem 93802, Israel.
Tel. 02 - 721633.

Наша анкета

ИНТЕРВЬЮ С АКАДЕМИКОМ АНДРЕЕМ ДМИТРИЕВИЧЕМ САХАРОВЫМ (с участием Елены Боннэр)

Ведет лорд Николас Ветелл

Н. Б. Какие контакты были у вас за годы вашей жизни в Горьком?

А. С. Несколько раз приезжали физики из Москвы для научных контактов, а в последний период, месяцев семь-восемь, никого не было. После Люсиного возвращения из-за границы мы были лишены каких-либо контактов, буквально ни с кем не общались, за одним лишь исключением. Тут был проездом мой университетский товарищ. Он нарочно прошел мимо моего дома, под моими окнами. Я увидел его, мы с Люсей выскочили, и нам дали возможность поговорить на улице. Это было для нас большим событием – единственный контакт за семь долгих месяцев.



Н. Б. Ваши друзья не могли прийти к вам домой?

А. С. Мы и не пробовали просить разрешения у милиционера для моего товарища. Мы боялись, что, если мы подойдем к милиционеру с просьбой, его схватят и увезут.

Н. Б. А что, в подъезде был милиционер?

А. С. Милиционер сидел в коридоре перед нашей дверью все семь лет неотлучно. Стоял такой столик на лестничной площадке, и за ним, спиной к нашей двери, сидел милиционер. Выхожу я или Люся – он сидит неподвижно, не поворачивается, не здоровается. Утром один из нас выходил за газетой, которую почтальон оставлял у него на столике (ему было

запрещено звонить в нашу дверь), и «наш» милиционер молча протягивал газету через плечо. Странное общение!

Н. Б. Но в последние месяцы у вас были контакты с несколькими советскими журналистами. Когда они начались?

А. С. Не контакты, скорее – попытка контактов. В начале октября пришло письмо из «Нового времени», не на редакционном бланке, а на обычном листе бумаги, с предложением написать статью по вопросам моратория ядерных испытаний.

Н. Б. По нашему телевидению показывали вашу встречу с одним ученым по этим вопросам. Пленку, кажется, передал Виктор Луи.

А. С. Но я ни с каким ученым по этому поводу не беседовал!

Н. Б. Это было в связи с предложениями Горбачева по разоружению, и вы говорили, что более или менее поддерживаете инициативу Горбачева.

А. С. Я утверждаю, что ни с каким ученым об этом не говорил. Я думаю, что речь идет о моем разговоре с доктором Обуховым, главным врачом больницы, где я лечился. Я не знал, что идет запись. Это было, когда Елена Георгиевна получила разрешение на выезд. Я вместе с ней приехал в больницу на обследование. Эта съемка – просто провокация. Обухов затеял со мной этот разговор специально для тайной съемки. То, что я говорил, подверглось затем искусному монтажу. Люся потом, когда вернулась с Запада, рассказала мне об этом фильме. Часть моих высказываний была вырезана, и общий смысл искажен. А выглядела эта беседа невинно – Обухов как бы занимал меня разговорами, пока Люсю осматривали. По существу же, я говорил тогда то же, что и сейчас говорю. Кстати, Люся рассказывала, что на пленке русский текст был не всюду стерт, и перевод не вполне соответствовал моему тексту.

Н. Б. Что произошло с Еленой Георгиевной после ее приезда с Запада?

А. С. Она вернулась 4 июня, и после приезда в Горький ее уже никуда не пускали. Она отправила из Европы в Москву багаж, но ее даже не пустили получить его.

Н. Б. А когда вы в последний раз разговаривали с Обуховым?

А. С. Где-то в марте. Я ездил в больницу на лечение зубов, а он воспользовался этим приездом, чтобы попытаться взять у

меня какие-то извинения за письмо Александрову. После приема у зубного он попросил меня зайти к нему в кабинет, где сидело еще два человека. Он сначала попросил меня написать благодарность зубным врачам за то, что они поставили мне протез, а когда я это сделал, завел разговор о письме Александрову.

Н. Б. Благодарность за эти вот золотые зубы?

А. С. Да. У меня уже был раньше протез, но он сломался. А в Горьком починить зубы трудно. В 1985 году, уже после решения о Люсиной поездке, когда меня выписали из больницы, он предложил, чтобы мне поставили протез в его больнице. Это, мол, проще. Я согласился, а теперь знаю, что надо было отказаться, ибо и это было использовано для киносъемок. Следующий прием у зубного был назначен на июнь, но я послал телеграмму, что отказываюсь прийти.

Н. Б. А статью для «Нового времени» вы написали?

А. С. Я на их предложение просто не ответил. А потом последовало предложение, переданное через академика, теоретического физика, Виталия Лазаревича Гинзбурга. Он сообщил мне в письме, что к нему обратился начальник отдела науки «Литгазеты» Мороз с пожеланием взять у меня интервью по общеполитическим вопросам. Я послал в ответ Гинзбургу телеграмму, что интервью с петлей на шее я не даю. Я считал, что это какая-то игра со мной.

Н. Б. А были и другие попытки?

А. С. Нет, других попыток не было. Уточню, что приглашение от «Нового времени» было в начале октября, а письмо от Гинзбурга – в ноябре 1986 года. Наверное, в это же время было принято решение о нашем освобождении, и власти хотели получить какие-то дополнительные гарантии. Вряд ли это была инициатива Горбачева, скорее – кого-то пониже рангом. Это их постоянная тактика – стремиться получить, как у нас говорят, максимум навара.

Н. Б. Ходили слухи, что ваше освобождение было отложено из-за выхода книги Елены Георгиевны.

А. С. Я думаю, что это никак не связано. Может быть, это даже нарочно писали.

Н. Б. Это Луи говорил.

А. С. Ах, Луи. Ну, он всегда такие вещи говорит. На самом деле, книга Люси никак не могла служить препятствием.

Н. Б. Итак, после двух попыток привлечь вас к сотрудничеству больше ничего не происходило?

А. С. Ничего, вплоть до звонка Горбачева.

Н. Б. Расскажите об этом поподробнее.

А. С. В половине одиннадцатого, вечером 15 декабря, раздался звонок в дверь, и вошли три человека. Двое были с телефонной станции, техники, а третий – гебист.

Н. Б. И они не дали никаких объяснений, почему они явились так поздно вечером?

А. С. Понимаете, мы же были там, как заключенные. Какие уж тут объяснения!

Н. Б. И они долго возились?

А. С. Да нет, все было сделано очень быстро. Все делалось временно, они даже провод не закрепляли. А перед уходом гебист сказал: «Завтра около десяти вам позвонят». Он сказал это под самый конец, видно, боялся, что мы станем возражать: мол, никаких звонков нам не надо.

Н. Б. Вы боялись, что будет новая попытка взять у вас интервью?

А. С. Не боялся, чего мне бояться. Я просто отказался бы давать интервью, и все. Но я сразу подумал, что будет звонить Горбачев.

Н. Б. А были другие звонки утром, до Горбачева?

А. С. Нет, только в 9 утра позвонили с телефонной станции, сказали нам наш номер. Рабочие-то ушли, номера не оставив. Но потом, после звонка Горбачева, снова позвонили с телефонной станции, сказали, что наш номер изменяется, и дали другой номер.

Н. Б. В котором часу позвонил Горбачев?

А. С. Горбачев позвонил в три часа дня, когда я уже перестал ждать звонка, собрался идти за покупками, да и еще всякие дела были. Я уже решил, что ГБ передумало, а тут Горбачев и позвонил.

Н. Б. У вас не возникло мысли отказаться от разговора с Горбачевым?

А. С. Нет, такой мысли у меня не было. Вначале мне сказали: «Сейчас с вами будет говорить Михаил Сергеевич», и я сразу понял, что речь пойдет о моем освобождении.

Н. Б. В этом разговоре вы говорили о судьбе политзаключенных, настаивали на их освобождении, говорили о трагедии Марченко.

Е. Б. Он только об этом и говорил, о себе – ни слова.

А. С. Но я Горбачева поблагодарил, два раза – в начале разговора и в конце, поблагодарил за внимание. Получилось, однако, что разговор кончил я. Это даже как-то невежливо получилось. Я сказал «до свидания», и ему тоже ничего не оставалось, как попрощаться.

Н. Б. *А о вашем будущем Горбачев ничего не говорил?*

А. С. Он сказал: «У вас есть квартира, так что с жильем проблем не будет. Я подошлю к вам Марчука. Переезжайте в Москву и возвращайтесь к патриотическим делам».

Н. Б. *Все годы вашей ссылки ваша квартира стояла пустая?*

А. С. С отъезда Лизы, то есть уже пять лет.

Н. Б. *И никто не смотрел за квартирой?*

Е. Б. Никого туда и не пускали. Я выехала в Горький без теплых вещей, хотела потом, чтобы друзья пошли к нам на квартиру за моими вещами и выслали их мне в Горький, но никого так и не пустили. Я выехала в ссылку в блузке и курточке. Только когда в нашей московской квартире от ветра открылись окна и натекло внутрь, комиссия из домоуправления вызвала одну нашу приятельницу, чтобы в ее присутствии открыть дверь и прекратить потоп.

Н. Б. *Так они что-то отремонтировали?*

Е. Б. Ничего они не чинили. Вы разве не видите, что все тут разваливается? Если бы Горбачев знал, в какую квартиру мы должны вернуться, он не сказал бы, что у нас нет проблем с жильем. Ему было бы стыдно.

Н. Б. *За шесть лет ничего тут не изменилось?*

Е. Б. Ничего. У нас всегда была такая бедная квартира. Ни мебели, ничего. И всегда нам было тут тесно. Это же мамина квартира. Когда Сахаров здесь поселился, в этой двухкомнатной квартире жили мама, я, Алеша и Таня с Рэмой. Нас стало шестеро. Потом родился Мотинька, и было семь человек.

А. С. Но после рождения Мотиньки у Тани уже была квартира.

Е. Б. Ты забыл, что им угрожали и что они не могли там жить! Вообще, когда мы все тут жили, мы просто задыхались. Да и сейчас нам надо еще перевезти наши вещи и книги из Горького, и я не знаю, как они сюда влезут.

Н. Б. После звонка Горбачева вы стали готовиться к переезду?

Е. Б. Ничего мы не готовились. И не переехали сразу, потому что я была больна и не выходила на улицу с начала декабря. И теперь я опять сижу дома. Даже за моим паспортом в МВД ездил Андрюша.

А. С. У нее же не было паспорта, только удостоверение ссыльной. Все забывают, что Люся была ссыльной и, когда ей выдавали удостоверение, у нее сняли отпечатки пальцев, как у преступницы. Но теперь никаких документов о том, что она была ссыльной, у нас не осталось. Даже ее приговор у нас украли. Видимо, они боялись, что этот приговор попадет на Запад и будет разоблачительным документом. Полное беззаконие! А сейчас, когда я приехал в милицию за Люсиным паспортом, в здании было пусто. Пока я поднимался на второй этаж, меня догнал милиционер и говорит: «Милиция не работает, никого нет». А я ему отвечаю: «Мне в 17-ю комнату. Я – Сахаров». Тут он сразу вежливо мне ответил: «Пожалуйста, пожалуйста».

Н. Б. А как вы знали, что надо туда поехать?

А. С. Нам позвонили по телефону и сказали, что надо поехать за Люсиным паспортом, причем захватить с собой ее удостоверение ссыльной. Я им удостоверение, они мне паспорт. Я спросил, есть ли какие-то документы, подтверждающие ее помилование. Мне было отвечено: «Никаких документов у нас нет, нам просто поручено вернуть вам паспорт». Конечно, они нарочно назначили свидание в нерабочий день, чтобы лишних свидетелей не было.

Н. Б. Я слышал от вашей дочери, что у вас был серьезный разговор с Марчуком.

А. С. Этот разговор продолжался полтора часа. Марчук специально приезжал в Горький, но встреча была не в нашей горьковской квартире (теперь-то эта квартира, конечно, не наша, а ГБ!). Один горьковский академик устроил эту встречу у себя в Институте. За мной прислали машину, я там никогда раньше не был.

Н. Б. Я знаю в общих чертах содержание этого разговора. Вы ясно дали ему понять, что продолжите свою борьбу за права человека.

Е. Б. Когда Сахаров ему это заявил, Марчук сказал такую фразу: «Если вы опять будете сосредотачивать свое внимание

на негативных аспектах, вы окажетесь в вакууме среди своих коллег по Академии».

А. С. Очевидно, он хотел предупредить меня, чтобы я не слишком зарывался. Это не был прямой запрет, он не брал с меня никаких обещаний. И я думаю, что его предупреждение исходило не от Горбачева, а от органов.

Н. Б. *Но все же Горбачев его послал...*

А. С. Да, Горбачев сказал, что пришлет ко мне Марчука.

Н. Б. *А были еще какие-то встречи с властями, с начальством?*

А. С. Никаких.

Е. Б. После переезда в Москву мы, в основном, общаемся с западными корреспондентами, которые мешают нам жить и искажают наши слова. По русскому западному вещанию совершенно неправильно, просто тенденциозно неправильно передают слова Сахарова. «Свобода», «Голос Америки», «Немецкая волна» в своих комментариях как будто пытаются сказать, что освобождение Сахарова является результатом компромисса с его стороны. А для этого нет никаких оснований. Теперь Запад все время талдычит одну мысль, что освобождение Сахарова есть следствие смерти Марченко. Это совершенно неправильно. Так заявили Орлов и Щаранский, а вслед за ними повторяют все западные комментаторы. А на самом деле речь идет о несоизмеримых явлениях. Марченко – это одно великое нравственное явление.

А. С. *Он был удивительный человек!*

Е. Б. А Сахаров – совершенно другое явление, связанное с совершенно иными точками общения в мире. Он связан с научным сотрудничеством, с проблемами разоружения. В СССР есть только один независимый голос, который компетентно говорит о проблеме разоружения. Я, может быть, обижу многих наших диссидентов, но я утверждаю, что ни Орлов, ни Щаранский, ни Люда Алексеева, ни Иванов, Петров, Сидоров не компетентны в этой специфической, закрытой области. Сахаров никаких секретов не разбалтывает, но знает-то он несравненно больше, чем все мы. И его компетентность делает его совершенно особой фигурой. К истории Марченко это не имеет никакого отношения.

Н. Б. *Так вы не считаете, что смерть Марченко ускорила ваше освобождение?*

А. С. Это независимые процессы.

Е. Б. Совершенно независимые. Освобождение Марченко тоже могло решаться Горбачевым, но на совершенно ином уровне. В освобождении Сахарова участвовал и высший генералитет, и высшее партийное руководство страны. А для освобождения Марченко – Андрюшенька, это действительно так! – достаточно было слова одного большого начальника.

А. С. Это совпадение во времени, случайное, смерти Марченко и моего освобождения как бы иллюстрирует противоречивость ситуации в стране.

Н. Б. *Итак, вы вернулись шесть дней назад и пытаетесь теперь наладить вашу жизнь.*

А. С. Мы еще ничего не пытаемся.

Е. Б. Жизнь наша еще не началась. Мы мечтаем, чтобы кончилась сенсация, чтобы прекратился поток журналистов. Сахарову работать надо, заниматься, завтра у него семинар.

Н. Б. *Это будет ваш первый семинар?*

А. С. Нет, второй. На первом я был в день приезда, ровно неделю тому назад. Меня очень хорошо встретили коллеги. Я был в Физическом институте Академии наук, в теоретическом отделе. Там по вторникам регулярно проходят общемосковские теоретические семинары. До семинара и после семинара я разговаривал с коллегами, сотрудниками теоретического отдела. Во время семинара слушал научные доклады. Произошло такое совпадение, что один из научных докладов, который делал незнакомый мне молодой ученый по фамилии Шапошников, касался одной из тем, где я был родоначальником. У меня есть вклад не только в области чисто военных вопросов или управляемой термоядерной реакции, но и в фундаментальной науке.

Е. Б. Это западные журналисты всегда говорят: «Сахаров, отец термоядерной бомбы». Почему они ни разу в жизни не сказали: «Сахаров, отец мирной термоядерной энергии»? Я слушаю западные радиостанции с 1960 г. – никогда этого не говорили.

Н. Б. *Вы считаете управляемую термоядерную реакцию самым важным своим вкладом?*

А. С. Конечно. Но сейчас речь шла о достижениях в фундаментальной науке, об орионной асимметрии вселенной.

Е. Б. Никогда не говорили, что Сахаров – родоначальник идеи об объединении прав человека и защиты мира.

А. С. В представлении к Нобелевской премии это сказано. Но вернемся к семинару. Мне было очень приятно, что молодой ученый в начале доклада сказал: «Как показал Сахаров в 1967 г., существуют три необходимых условия... и т. д.». Вот так начался доклад, а я сидел среди слушателей. Когда я пришел, меня встретили аплодисментами.

Н. Б. *Вы поехали на семинар сразу по приезде?*

А. С. Да. Поезд пришел в Москву в семь утра, а в два часа я уже был в Институте.

Н. Б. *А завтра тоже будет теоретический семинар?*

А. С. Конечно. Завтра будет обсуждаться одна новая и важная теория, касающаяся элементарных частиц.

Н. Б. *Вы будете слушателем или собираетесь читать доклады на этом семинаре?*

А. С. Пока буду слушателем, иногда, на обсуждении, буду вопросы задавать.

Н. Б. *И много людей там участвуют?*

А. С. Это большой семинар. Участие принимают человек 10, а слушает человек 350.

Н. Б. *Но в будущем вы будете и докладчиком?*

А. С. Я надеюсь. Обычно научные работы, прежде чем посылать в печать, обсуждают на каком-либо семинаре.

Н. Б. *А вы писали научные работы в Горьком?*

А. С. Да, я писал статьи. Последняя из них была написана весной 1986 года.

Н. Б. *Теперь эти работы могут быть напечатаны.*

А. С. Они уже напечатаны. Все, что я делал в Горьком, уже напечатано в советских научных журналах. Мои коллеги из ФИАНа брали на себя техническую работу по оформлению этих статей.

Н. Б. *Сколько работ вы написали в Горьком?*

А. С. Немного, к сожалению. Шесть.

Н. Б. *Конечно, вы были в отрыве от коллег и не могли обсуждать с ними ваши идеи.*

А. С. Я обсуждал. Было несколько приездов физиков в Горький. Им разрешили меня навестить. За семь лет меня посетило человек десять, может, чуть больше. Видимо, со всеми ними проводился предварительный инструктаж, как они должны себя вести.

Н. Б. *Вы не говорили с ними о политике, только о науке?*

А. С. Немного говорил...

Н. Б. *Сейчас вам, конечно, будет легче работать.*

А. С. Во всяком случае, я получаю возможность общаться с учеными, а это – необходимое условие для работы.

Н. Б. *А как было в Горьком с библиотеками и журналами?*

А. С. Мне присылали очень много публикаций из-за границы и из Всесоюзного института информации, так что я не был обижен отсутствием литературы. Кое-что и Люся привезла.

Н. Б. *Поговорим о вашей общественной позиции. Будете ли вы настаивать на амнистии для узников совести?*

А. С. Да, это является моим неперенным долгом. Я считаю, что амнистия окажет огромное влияние на общественный климат в стране и во всем мире. Но, кроме того, это вопрос просто справедливости, вопрос моего персонального долга по отношению к моим друзьям и единомышленникам. Если бы я мог спасти Марченко, я бы никаких усилий не пожалел. Но Марченко погиб, и очень важно, чтобы кончились страдания других людей и их семей.

Н. Б. *Знаете ли вы, в каких условиях погиб Марченко?*

А. С. Я думаю, что с ним произошло то же самое, что со многими другими. Самое высокое начальство дало пару месяцев назад указание его освободить, но начальство на уровне пониже и ГБ хотели напоследок его сломать или хотя бы сломать Ларису Богораз. Вместо того, чтобы сразу его выпустить, и тогда он остался бы жив, от Ларисы требовали каких-то заявлений, что она готова вместе с Марченко уехать в Израиль. А ведь Марченко уже 15 лет назад предложили уехать в Израиль по родственному вызову, и, когда он отказался, его арестовали и посадили. Через несколько дней после смерти Марченко мы с Люсей в Горьком смотрели по телевизору пьесу о декабристе Луние. Там Луину сообщают о его смертном приговоре, и перед ним, в камере, мысленно проходит вся его жизнь. И авторский голос за сценой говорит: «Хозяин раба всегда убежден, что раб готов убежать. Но иногда находится человек, который не убегает». Речь идет о конкретных обстоятельствах биографии Лунина. Так вот, Марченко – это Лунин наших дней. Лариса не видела Марченко два года и восемь месяцев. Под разными предложениями ему отказывали в свидании. Ему всего-то полагалось два свидания в год, и легко

было сказать, что он нарушил какие-то правила. Предлог всегда найдется.

Марченко в течение двух лет и восьми месяцев никого с воли не видел, так и сидел в своей камере. 4 августа он начал голодовку. Он написал обращение к Венскому совещанию, требовал защиты своих прав заключенного. Его все время ломали, пытались добиться от него каких-то покаяний, признаний, его били. Сейчас вообще очень многих бьют. На этой изнанке жизни вообще никаких перемен не происходит. Все так же жестоко, как и раньше. Мы не знаем точно, как погиб Марченко, не знаем даже, снял ли он голодовку или не снял. Известно, что за несколько часов до смерти он подошел к двери камеры (то есть он мог еще вставать) и позвал врача. Его вывезли в больницу, не знаем, кормили ли его насильственно. Справки о причине смерти Ларисе не выдали, только разрешили похоронить мужа.

Н. Б. Это просто ужас. Но мы должны думать о будущем.

А. С. Да, мы должны думать о будущем. Сейчас как раз такое положение, когда западные правительства могут и должны требовать улучшений в вопросах о правах человека, об узниках совести, об эмиграции, просто о поездках. Орлов очень правильно пишет, что это нужно не только для СССР, но и для Запада тоже. Это одна из гарантий мира.

Н. Б. Сколько, по-вашему, политзаключенных в СССР?

А. С. Трудно сказать. Лично мы знаем несколько сот человек, но это – нижняя граница, а верхняя граница неизвестна. Возьмем число лагерей. Их полторы тысячи. Предположим, в каждом от нуля до двух политзаключенных. Значит, верхний предел – около трех тысяч человек. Но реально их, наверное, гораздо меньше. По спискам Международной Амнистии – человек 600.

Н. Б. Сюда включены и религиозные?

А. С. И религиозные, и отказники, вообще все.

Н. Б. А те, кто отказывается от службы в армии?

А. С. Тут я не уверен. В связи с отказом от службы в армии, вы, может быть, знаете историю Евсюкова? Такая фамилия ничего вам не говорит?

Н. Б. Нет.

А. С. Я расскажу вам про Серафима Евсюкова. О нем сейчас, правда, много пишут, но это такой вопиющий случай, что я должен о нем упомянуть. Лет 8-9 тому назад бывший борт-

механик гражданского флота пожелал эмигрировать вместе с семьей. Ему отказали, хотя у него есть, кажется, родственники во Франции. Он готов был ехать либо во Францию, либо в любую другую страну, куда разрешат. После отказа он обратился к нам, к мировой общественности. Началось страшное преследование его семьи. Сына его за отказ от армии посадили, а это был вынужденный отказ. Согласись он пойти служить, его бы уже никогда не выпустили.

Н. Б. А где эта семья сейчас?

А. С. Сын два с половиной года находился в заключении, освободился, потом его еще раз стали призывать в армию, и он вновь отказался. Его вторично осудили на такой же срок, много избивали на следствии, добивались, чтобы отказался от желания эмигрировать. В тюрьме его избивали, по подстрекательству начальства, заключенные. А отца несколько месяцев тому назад посадили в психбольницу.

Н. Б. В какой больнице он находится?

А. С. В Столбовой, под Москвой. Там его избивают, добируются отказа от желания эмигрировать, заявляя, что это, мол, психическое заболевание. Его подвергают мучительной и вредной инсулиновой терапии. Он сильно похудел.

Н. Б. Он не еврей?

А. С. Нет, он не еврей. Он просто хочет эмигрировать. И раз он служил в авиации, значит, он здоров психически. В авиацию больных не берут. Я его видел семь лет назад. Это здоровый, гармоничный, хорошо сложенный человек с твердой волей. Хороший образец человеческой породы.

Н. Б. Конечно, не только евреи должны иметь право эмигрировать.

А. С. Для меня это очень важный социальный принцип. Я считаю, что государство, в котором есть свобода выезда и возвращения граждан, уже не может быть плохим. В нем появляется регулирующий клапан, определенная степень свободы. Сама возможность покинуть государство уже делает его лучше.

Н. Б. Какие реальные надежды на будущее вы питаете?

А. С. Я вообще очень не люблю прогнозов, но я думаю, что та часть руководства нашего государства, которая следует за Горбачевым, заинтересована в экономическом подъеме, в ликвидации тех искривлений, которые у нас существуют. Непременным условием этого является открытость общества,

то есть свобода передвижения, эмиграции, поездок, свобода убеждений, распространения информации, свобода совести, религиозные свободы. Это все необыкновенно важно для нормального функционирования государства, для того, чтобы оно не представляло угрозы для своих соседей, для всей планеты, ибо соседство сегодня измеряется длиной полета баллистической ракеты.

Н. Б. Но в Советском Союзе этих свобод никогда не было.

А. С. В СССР, да и в России было много негативных явлений. Но были и реформы Александра I, и эпоха, предшествовавшая Первой Мировой войне. Даже частичное продвижение в направлении гражданских свобод было бы очень важно. Повторяю, важно не только для нашей страны, но и для всего мира. Мир может спать спокойно, только если наше общество станет открытым. Это один из залогов мира, разоружения.

Н. Б. А что вы лично можете сделать в этом направлении?

А. С. Во-первых, я могу обращаться к Западу с разъяснением этих вещей. Есть Хельсинкское совещание, конференции по проверке исполнения Хельсинкских соглашений. Некоторые западные политики исходят из посылки, что чем хуже обстоят дела в СССР, тем лучше для них. Пусть, мол, у них не будет прав человека, пусть разваливается экономика. Может быть, в старые времена такая логика в отношении противника была понятна. Но сегодняшний мир так устроен, что мы можем или вместе жить, или вместе погибнуть. А это значит, что мы должны заботиться о том, что происходит во всем мире. Идеология «чем хуже, тем лучше» всегда мне очень не нравилась. Это – идеология экстремистов, каких-нибудь Красных Бригад или «Аксьон директ», стремящихся к разрушению общества. Но любой разумный политик и государственный деятель должен хотеть стабилизации в мире и, как фактор этой стабилизации, – открытости советского общества.

Н. Б. Речь идет и о стабилизации Советского Союза?

А. С. Безусловно. В том числе и об экономической стабилизации. Запад не должен этого бояться. Прогресс Советского Союза в области техники как следствие его открытости – не опасен для Запада. Опасна такая страна, которая может подавить у себя любое инакомыслие, в которой решения принимаются неизвестно кем и неизвестно на каком основании. Лучше жить рядом со здоровым и сильным человеком, чем со слабым, но с неуправляемой психикой и непредсказуемыми реак-

циями. У нас политические решения не контролируются народом, мы до сих пор, например, не знаем, кем и на каком уровне было принято решение о вторжении в Афганистан.

Н. Б. Многие у нас говорят, что мы не должны помогать советской экономике, ибо большая ее часть связана с военным сектором и это не повышает благосостояния советского народа. Говорят, что вообще торговля с Западом используется советскими властями.

А. С. Да, этот момент существует. Конечно, значительная часть экономической помощи идет на военные нужды. Вопрос опять упирается в закрытость советского общества. Политика – сложная вещь. Иногда нужно использовать методы давления, иногда – методы поощрения, переговоров. Как делать политику, тут я не советчик.

Н. Б. Мы не знаем, поощрять ли Горбачева или относиться к его начинаниям со скептицизмом.

А. С. Поощрять, но давить в нужном направлении.

Е. Б. Чтобы открытость общества и права человека стали принципами государственной жизни, а не демагогией.

А. С. Чтобы освободили не несколько десятков человек, а освободили всех, по закону. Я действительно считаю, что амнистия узников совести очень важна как первый шаг перемен.

Е. Б. И всю систему наказаний следует изменить в сторону смягчения. И отмена смертной казни имела бы огромное нравственное значение.

А. С. Да, гуманизация системы наказаний очень важна. Сейчас у нас огромные сроки, ужасные условия заключения.

Е. Б. И очень много административных нарушений. Сейчас об этом уже начали писать.

А. С. Но надо, чтобы не только писали, но чтобы и реальные перемены были. И я надеюсь, что все контакты Запада с нами будут обусловлены этими переменами. Запад ничего не должен давать нам совсем даром. Это не шантаж со стороны Запада, это его помощь прогрессивным тенденциям в нашем обществе, которые пробивают себе дорогу с огромным трудом. Эпизод со снятием Кунаева и последующими демонстрациями показывает, что все очень непросто. Кунаев олицетворял собой систему ужасной коррупции на местах, которая была во всех республиках, да и в центре была.

Н. Б. А что вы можете сделать по отношению к советским властям?

А. С. Я собираюсь обратиться к Михаилу Сергеевичу с письмом, в котором затрону эти темы. А может быть, это будет не письмо, а какая-то другая форма обращения. Пока я сам не знаю. Я осматриваюсь и думаю. Что-то надо делать, и мне, и всем, кто в силах. Просто в силу стечения обстоятельств я оказался на виду.

Н. Б. Поддержит ли вас Академия наук?

А. С. На Академию наук я вовсе не надеюсь. АН отнюдь не выступила в мою защиту, когда в январе 1980 г. меня вывезли в Горький. Тогда Марченко обратился с открытым письмом к академику Капице. Это было очень смелое письмо, и оно послужило на суде над Марченко основанием для обвинения его в «заведомо ложных клеветнических измышлениях». Не только это, правда. У него было еще письмо о мирном сосуществовании, а самое главное, хотя это и не называлось, это его книга «Мои показания», книга двадцатилетней давности. Он вышел 20 лет назад из заключения и написал книгу о послесталинских лагерях и тюрьмах.

Н. Б. Выходит, в официальных кругах у вас поддержки нет.

А. С. Нет. Меня поддерживают мои старые друзья. Может быть, появятся новые.

Н. Б. Ну, а если вам предложат выступить по советскому телевидению или писать в советской прессе?

А. С. Я соглашусь на некоторых условиях. Одно из этих условий – принципиальное. Я должен быть опубликован полностью и без купюр. Кое-какие предложения, впрочем, мне уже были сделаны.

Н. Б. У нас идет спор по поводу Совещания по правам человека в Москве – принимать участие или не принимать.

А. С. Я думаю, что есть одно неперемное условие. Все члены Хельсинкских групп, которые находятся в заключении, должны быть освобождены и реабилитированы.

Н. Б. О скольких людях идет речь?

А. С. В общей сложности, о нескольких десятках. Особенно много заключенных среди членов Украинской, Литовской, Эстонской групп.

Н. Б. Орлов сказал Маргарет Тэтчер, что он хотел бы быть свидетелем на этом совещании, готов приехать в Москву.

А. С. Да, выступление Орлова здесь в качестве свидетеля было бы чрезвычайно положительным фактором. Думаю, что советское руководство должно разрешить подобную вещь. Может быть, это тоже должно быть поставлено в качестве условия. Это хорошая идея.

Н. Б. Мы хорошо помним Олимпийские игры. Тогда на Западе была дискуссия – принимать участие или не принимать. В конце концов, почти все западные страны участвовали. Но Олимпиада не была периодом свободы в Советском Союзе, потому что закрыли для прохода многие улицы, многих людей убрали из столицы. Особых дискуссий не было, потому что некому было задавать вопросы.

А. С. Все это я знаю, хотя меня тогда не было в Москве. Москва была полна милиции, и очень многих вывезли.

Н. Б. Мы, конечно, не хотим повторения этих явлений.

А. С. С Олимпиадой дело было очевидным. Олимпиада не может проводиться в стране, ведущей военные действия, а СССР в это время вел военные действия в Афганистане.

Н. Б. Но вы не скажете Рейгану, чтобы Америка не принимала участия в Совещании по правам человека?

А. С. Я думаю, что участие Запада должно зависеть от выполнения Советским Союзом ряда условий. То же относится и к экономическому, и к научному, и к любому другому сотрудничеству. Это не вмешательство во внутренние дела СССР, это наши общие дела, и Запада, и Востока. Может быть, постановка таких условий облегчит Горбачеву проведение его политики. И условия надо ставить жестко. А чисто военную помощь СССР, возможно, вообще не следует оказывать. Хотя это вопрос сложный, так как любая техническая новинка может быть использована для военных нужд. Попробуй разберись! Кроме того, военную технику СССР в любых условиях разовьет. Создал же Советский Союз ядерное и термоядерное оружие вполне собственными силами.

Н. Б. А вы не считаете, что шпионаж сыграл в этом большую роль?

А. С. Сыграл, конечно, определенную роль, но главным образом для того, чтобы начальство не сомневалось и средства отпустили. Ну, а уж когда принято решение денег не жалеть, все можно своими руками сделать.

Н. Б. Так вы считаете, что, если советское общество станет более открытым, будет легче достигнуть прогресса в области разоружения?

А. С. Несомненно. Это очень важный вопрос, по-моему – номер один. Открытость советского общества – необходимая посылка для возникновения международной атмосферы доверия. Ведь сейчас, по существу, столкновения между СССР, социалистическим лагерем в целом, и Западом происходят на всех континентах.

Н. Б. Что вы имеете в виду?

А. С. Очень многие региональные конфликты, которые имеют, конечно, какие-то исторические корни. Афганистан, Южно-Африканский узел, Эфиопия, Ближний Восток, да и многие другие точки.

Н. Б. А каково ваше мнение об американской программе звездной обороны, СОИ?

А. С. Прозвище «звездная оборона» я предпочитаю не употреблять, ибо оно как бы предопределяет отношение. Я много раз писал, еще до горьковской ссылки, о своем отношении к противоракетной обороне, к соглашениям о противоракетной обороне и к системе космической обороны. Я считаю, что система космической обороны – бесперспективная вещь в военно-стратегическом смысле. Думаю, что благодаря затратам гигантских средств, огромного научно-технического и интеллектуального потенциала удастся создавать все более и более совершенные эшелонированные системы противоракетной обороны. Некоторые их эшелоны будут иметь космическое базирование. Но одновременно ведь будет совершенствоваться и наступательное оружие, средства нападения на эту космическую систему. Эта космическая система будет включать в себя космические станции, зеркала, расположенные в космосе, большое число спутников наблюдения, системы коммуникаций, вычислительные центры, а также исполнительные органы этой системы. Это система наблюдения и вспомогательного приспособления. Все это страшно уязвимо по отношению к сильному противнику. А наступательные средства будут развиваться и приспособливаться к тому, чтобы преодолевать космическую оборону и вообще противоракетную оборону. Я думаю, что наступательное оружие против СОИ будет развиваться успешно и даже опережать развитие СОИ. С научной точки зрения можно сделать все,

что угодно. Можно, например, создать рентгеновский лазер, который возбуждается ядерным взрывом. Но СОИ – это не просто научный эксперимент. Будет ли это все работать в условиях термоядерной войны? Если, скажем, СОИ будет стоить биллион долларов, то затратой в десять раз меньше можно преодолеть то, что создано за биллион. А так как экономические потенциалы, возможности затрат СССР и США отличаются вовсе не в 10 раз (мы не знаем точно, насколько, но гораздо меньше), то чисто военно-экономически СОИ, по моему, – безнадёжная вещь.

Н. Б. Это не моя специальность. Но некоторые весьма серьезные американские эксперты настаивают, что СОИ – очень значительный вклад в оборону Запада и что стоит продолжать эту инициативу вместо того, чтобы начинать новую ракетную программу. Я в курсе этих мнений, ибо являюсь членом британской парламентской делегации в Европейском парламенте.

А. С. На самом деле, США одновременно делают и новое наступательное оружие. Они не могут этого не делать. Говорю это в порядке констатации факта. СССР тоже создает новые наступательные средства. Я стараюсь говорить об этом безоценочно. Обе стороны делают наступательное оружие, и обе стороны намерены приступить к космической обороне.

Н. Б. Но Советский Союз имеет оборонительные системы?

А. С. Типа СОИ? Не знаю. Я же вообще на 20 лет отстал. Я знаю, что была система обороны вокруг Москвы. Она была разрешена договором между СССР и США, даже с указанием числа ракет. И вторая была система, разрешенная договором. Было две разрешенных региональных системы обороны. Но это все-таки не космическая оборона. А что у нас делается по космической обороне, я не знаю, да и знал бы – не сказал. Американцы много пишут, что в СССР занимаются этими работами, но конкретных сведений нет. Так вот, мой первый тезис – что СОИ не является эффективной космической защитой. Теперь вы мне говорите, что есть точка зрения, будто это – важное направление в развитии военной технологии, что космос – это перспективная область. В реальной обстановке современного мира, обстановке недоверия, когда мы не знаем, что будет через двадцать лет, государства, думающие о своей безопасности, всегда ведут разного рода работы. Это я пони-

маю. Хотя остается открытым вопрос, стоит ли вкладывать в это столько сил, рекламировать эту идею или же заниматься ею вполсилы, на всякий случай. В свете того, что работы уже начатые все равно будут как-то вестись и полностью отказ от этих работ не является реалистичным, вопрос идет о масштабах, о темпах, о том, не стоит ли ограничиться лабораторными опытами вместо того, чтобы ставить эту идею во главу угла каких-то национальных программ. Но при этом я думаю – и это мой второй центральный тезис, – что неправильно и неправомерно ставить соглашение по СОИ в качестве ультимативного условия соглашения по другим вопросам разоружения. Горбачев в Рейкьявике выдвинул принцип пакетной сделки. Вообще, советская дипломатия сформулировала как некий принцип, что отказ от СОИ – это непременно условие успеха других переговоров по разоружению. Я считаю неправильным сам принцип пакетной сделки. Неправильно обуславливать остальные вопросы соглашением о СОИ. В этом я иду вразрез с советской дипломатией. Я думаю, что с обеих сторон нужна гибкость, взаимопонимание, больше доверия. Путь перед нами трудный, недоверия много, и оснований для недоверия много. Одна из причин – недостаточная открытость советского общества, другая – региональные конфликты, и среди этих региональных проблем я на первое место ставлю Афганистан. Я считаю, что нужно быстро думать о выводе советских войск из Афганистана.

Н. Б. Вы считаете, что Афганистан должен быть нейтральным?

А. С. Безусловно.

Н. Б. Такова и европейская позиция.

А. С. Конечно, нужно обеспечить там такие условия, чтобы избежать кровопролития и физического уничтожения всех тех, кто сотрудничал с советскими властями.

Н. Б. Но, по-моему, наибольшее доверие вызвали бы перемены во внутренней политике Советского Союза.

А. С. Я думаю, что одинаково важны перемены и во внешней, и во внутренней политике, но мне лично, разумеется, наиболее близки проблемы внутренние, совокупность демократических принципов, права человека.

Н. Б. У вас есть какая-то надежда на выезд или просто поездку за границу?

А. С. Видите ли, это очень сложный вопрос.

Н. Б. *Вы хотите жить в Советском Союзе?*

А. С. В настоящее время я хочу жить в Советском Союзе, поэтому сосредоточимся на вопросе о возможной поездке. Хотя я принципиально согласился на эмиграцию, сейчас я об этом не думаю. Но поездка за границу была бы для меня чрезвычайно важна. Я имел бы контакты с зарубежными учеными, повидал бы детей, внуков. Моя поездка была бы и важным общественным явлением как прецедент в сторону большей открытости общества, поездка независимого человека. Были бы какие-то контакты, которые здесь невозможны. Но я перед советскими властями такого вопроса не ставлю. Я думаю, что, если созрела решимость властей разрешить мне такую поездку, они сами мне об этом скажут. Я уже высказывал пожелание совершить поездку в разных моих интервью. Это было бы полезно для укрепления атмосферы международного доверия. Почему я говорю о себе, а не о ком-то другом? Во-первых, себя, свою позицию лучше понимаешь, а во-вторых, ввиду моего положения в мире, с меня, может быть, легче начать. Если же власти по-прежнему считают, что мне по причинам секретности выехать нельзя, то они мне такого предложения не сделают.

Н. Б. *А этот аргумент о секретности как-то обоснован?*

А. С. Иногда мне кажется, что это просто отговорка, иногда – что это серьезно. Я не знаю. Я же не имел отношения к секретности последние лет двадцать – восемнадцать, если быть точным. Власти прекрасно знают, что я не шпион. Я, конечно, не буду говорить о секретах. Да они могут следить за мной, в конце концов. Но это их дело. Мое дело сказать, что я считаю такую поездку полезной, а там пусть они думают о секретности или о политических аспектах.

Н. Б. *Конечно, Запад был бы счастлив вас приветствовать. Я думаю, что ученые очень хорошо бы вас приняли.*

А. С. Я тоже на это надеюсь, и для меня это было бы очень полезно.

Н. Б. *Я попробую через Европейский парламент сделать интервью с вами посредством спутника. Можно устроить собрание, со 100 – 200 участниками, на котором будет выступать человек, находящийся за тысячи километров от собравшихся.*

А. С. Я знаю об этом. Собственно, я уже участвовал в подобного рода мероприятиях. Не откажусь и в будущем.

Н. Б. Как вы знаете, в Европейском парламенте участвуют представители 12 стран, и он оказывает определенное влияние на европейскую политику. Несколько месяцев тому назад у нас выступал, например, Орлов.

А. С. Я буду очень рад выступить в Европейском парламенте. Но позвольте мне сказать еще несколько слов. Вопрос о моих поездках я оставляю на усмотрение наших властей, по этому поводу никакой кампании на Западе не нужно. Но я прошу помощи Запада в вопросах прав человека. Без этого сегодня не обойтись.

ВНИМАНИЮ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ИЗДАНИЙ ЗАРУБЕЖЬЯ!

В последнее время участились случаи перепечатки в русскоязычных изданиях Зарубежья материалов «Континента» без всякой ссылки на источник.

В связи с этим, редакция считает своим долгом предупредить столь бесцеремонных публикаторов, что отныне мы закрепляем за собой право пресекать подобную практику в соответствии с существующими в каждой отдельной стране законами.

Право требовать морального или судебного удовлетворения на местах предоставляется нами нашим официальным представителям, имена которых обозначены на второй странице обложки журнала.

Напоминаем также, что «Континент» разрешает всем русскоязычным изданиям Зарубежья безвозмездные перепечатки из «Континента» только с условием обязательной ссылки на источник.

РЕДАКЦИЯ

Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»

На один год – сорок нем. марок; на шесть месяцев –
двадцать нем. марок.

Цена одного номера – двенадцать нем. марок.

Пересылка за счет подписчика.

Подписка может быть оформлена в генеральном
представительстве «Континента» по адресу:

A. Neimanis · Buchvertrieb
8000 München 40 · Bauerstraße 28 · Germany

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй
странице обложки) или у представителей «Ассоциа-
ции друзей «Континента»:

США: Вост. побережье – Э. Штейн (E. Sztein),
594 Chestnut Ridge Road
Orange, CT. 06477, USA

Генеральное представительство
«КОНТИНЕНТА»
A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany

КОНТИНЕНТ

Годовая подписка
(4 номера)

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера),
начиная с №.....

Имя:

Адрес:

.....

.....

Оплату произвожу:

приложенным чеком ☐ почтовым переводом ☐
через банк ☐

Платеж и заполненный талон просим направлять:

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB

Bauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630

Postscheckkonto: München 147391-804





Читайте в следующем номере «Континента»

Проза:

**М. Зайчик, М. Федотов,
И. Шенфельд**

Поэзия:

**В. Атон, А. Верник,
Странник**

Публицистика:

**И. Косинский, А. Орлова,
Б. Парамонов**



В. Овчинников. «Дон Кихот»

К статье Николь Ламот (стр. 326)